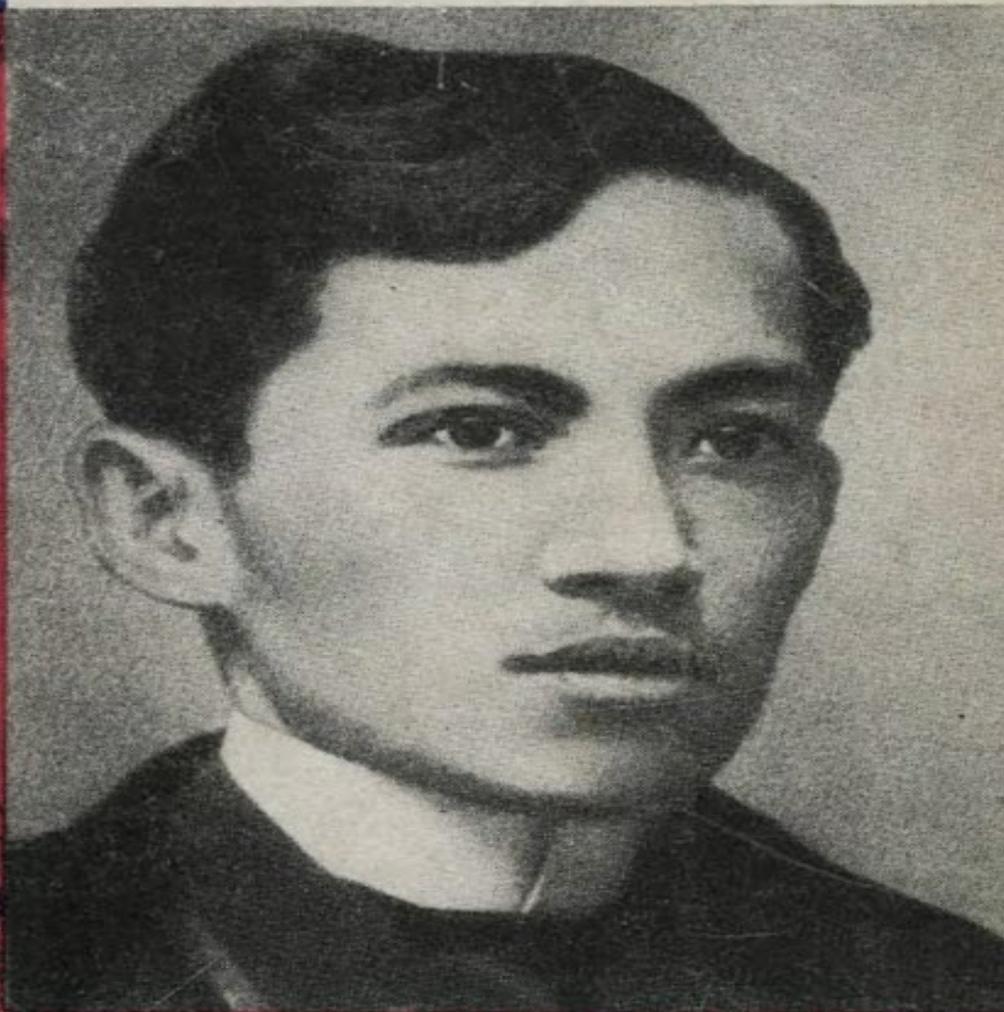


ХОСЕ РИСАЛЬ



Изгорь
Подберезский



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Annotation

Книга посвящена жизни и деятельности Хосе Рисаля — выдающегося филиппинского ученого, писателя, художника и скульптора, деятеля национально-освободительного движения второй половины XIX века. И в настоящее время филиппинский народ ежегодно отмечает 30 декабря (день казни Рисаля) как «день Рисаля», глубоко чтя его память.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал *mefysto*

- [Игорь Подберезский](#)
 -
 -
 - [ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ](#)
 - [ДЕТСТВО](#)
 - [ГОДЫ УЧЕБЫ](#)
 - [В ИСПАНИИ](#)
 - [В ЕВРОПЕ](#)
 - [НА РОДИНЕ](#)
 - [ГОДЫ СКИТАНИЙ. РОМАН-ПРОГНОЗ «МЯТЕЖ»](#)
 - [ОТ ГОНКОНГА ДО ДАПИТАНА](#)
 - [«ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАЙ»](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -



- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [INFO](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)

- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)



ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 3

(654)

Игорь Подберезский

ХОСЕ РИСАЛЬ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

© Издательство «Молодая гвардия», 1985 г.



J. Rizal

ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

...16 марта 1521 года измученные моряки экспедиции Фернана Магеллана увидели на западе гористую землю. Это был остров Самар, входящий в Висайский архипелаг, расположенный в центральной части Филиппинских островов. Рифы и мели помешали высадке, суда свернули к югу, и 17 марта первая группа испанцев высадилась на необитаемом островке Сулуан. На другой день, 18 марта, произошла первая встреча испанцев с филиппинцами: привлеченные огнями костров, на Сулуан прибыли филиппинские рыбаки. Магеллан оделил их зеркалами, расческами и колокольчиками, специально припасенными для такого случая. По филиппинским понятиям, взять и ничего не дать взамен — значит признать себя подчиненной стороной, и изголодавшиеся спутники Магеллана получили рыбу, пальмовое вино и бананы. Эти дары и два ручейка родника пресной воды были спасением, и островок нарекли Ла агуада де буэнос сеньалес — Питьевая вода доброго предзнаменования; а все открытые земли — островами Святого Лазаря. Подлечив больных, экспедиция через неделю двинулась дальше и 28 марта высадилась на острове Лимасава, где была отслужена первая на Филиппинах месса, и эта дата отмечается как начало христианизации архипелага. Там же Магеллан и местный вождь заключили кровный союз: смешали свою кровь в пальмовом вине и выпили его. После мессы Магеллан продемонстрировал мощь огнестрельного оружия, а на закате дня на холме водрузил первый на Филиппинах крест, и открытые земли были торжественно объявлены владением испанского короля.

Затем экспедиция отправилась дальше, и 7 апреля достигла острова Себу. Опять последовали встреча, демонстрация оружия, водружение креста, заключение кровного союза с вождем Хумабоном. Магеллан убедил его, что, приняв крещение, тот сможет рассчитывать на помощь европейцев в распространении своей власти. Хумабон согласился принять крещение и был наречен Карлосом. Хумабон-Карлос тут же потребовал, чтобы новые союзники помогли ему подчинить вождя Лáпу-Лáпу, жившего на соседнем острове Мактан и, по филиппинскому обычаю, вечно враждовавшего с Себу. Новому подданному испанского короля следовало помочь, чтобы убедить всех в непобедимости европейского оружия.

Рано утром 27 апреля 60 испанцев во главе с Магелланом и столько же себуанцев высадились на Мактане. Их встретили полторы тысячи воинов,

вооруженных копьями, щитами и луками. Еще на подходе к берегу испанцы дали залп из мушкетов, но расстояние было слишком велико и никто из мактанцев не пострадал. Оправившись от потрясения, вызванного грохотом выстрелов, они бросились на врага. Следующие залпы поразили немало мактанцев, но уже не смогли сдержать напор полуторатысячпой массы воинов. Раненный в ногу стрелой, Магеллан приказал отступить, и испанцы, сломав строй, беспорядочно бросились к шлюпкам. Магеллан с семью испанцами еще почти час бились на берегу, прикрывая отступление. «Признав в нем командира, — пишет спутник Магеллана, — многие из них бросились на него, дважды сбили с него шлем, но он стоял твердо, как подобает славному рыцарю, а с ним и еще некоторые. Так мы бились почти час, не отступая ни на шаг. Некий индеец бросил в лицо капитану бамбуковое копье, но капитан тут же пронзил его пикой, каковую оставил в тело индейца. Тогда он схватился за рукоять меча и хотел извлечь его, но вытащил только до половины, потому что тут же был ранен в руку бамбуковым копьем. Узрев это, туземцы бросились на него. Один из них ранил его в ногу широким кинжалом. Капитан упал лицом вниз, а они тут же окружили его и обрушили на него удары копий и кинжалов, и убили наше зеркало, наш светоч, нашего подлинного вождя...» Так описывает гибель Магеллана хронист экспедиции итальянец Пигафетта. ореол непобедимости испанцев был развеян, Хумабон-Карлос решил, что выгодней захватить корабли пришельцев, и 1 мая напал на них. Погибли еще 27 человек. Остатки экспедиции спешно покинули филиппинские воды.

Потоками крови отмечена первая встреча испанцев с филиппинцами, потоки крови были пролиты и позднее. Благодарное человечество сохранило память о подвиге Магеллана. Чтут его и филиппинцы — на месте гибели великого путешественника, принесшего на острова христианство, они воздвигли памятник. Но для них он был и жестоким конкистадором, первым поработителем, а потому неподалеку сооружен другой монумент — в честь вождя Лапу-Лапу, первого борца с поработителями. В камне увековечены два смертельных врага, и уже одно это свидетельствует о том, что в отношении филиппинцев к своей истории все далеко не просто.

Последовали еще три экспедиции на Филиппины, все три неудачные. Во время третьей из них, под командованием Руй Лобеса де Вильялбоса, острова Святого Лазаря были переименованы в Филиппины (в честь наследного принца Филиппа, будущего испанского короля Филиппа II), и название это сохранилось по сей день. Только в 1565 году испанцам

удалось наконец закрепиться на островах.

Что же искали конкистадоры на далеком архипелаге? В XVI веке Испания была могущественнейшим государством. То было время, когда, по словам К. Маркса, ее влияние «безраздельно господствовало в Европе, когда пылкое воображение иберийцев ослепляли блестящие видения Эльдорадо, рыцарских подвигов и всемирной монархии»^[1]. В ходе семивековой реконквисты — отвоевания у арабов захваченных ими испанских земель — сложился дух воинствующего католицизма, провозглашавшего, что весь мир должен быть приведен к покорности папе и обращен в католичество: завоевание и обращение полагалось одним и тем же богоугодным делом, одно оправдывалось другим. Испанцы считали себя избранным народом, призванным утвердить власть креста над всей землей.

Это свое призвание они воспринимали как зев бога, а когда люди убеждены, что их ведет бог, их трудно остановить. Никто в Испании не возражал против завоеваний, и лишь немногие осуждали крайности, которыми эти завоевания сопровождались. К числу последних принадлежал Бартоломе де лас Касас, который так говорил о своих соотечественниках — конкистадорах: «Более жестоких и безбожных скотов, более заклятых врагов рода человеческого еще не видала земля». Но и он не сомневался в праве Испании на захваты.

А они осуществлялись во имя «бога, короля и золота», и для многих на первом месте стояло золото. Эпоха Великих географических открытий была эпохой первоначального накопления капитала. Конкистадоры устремлялись на поиски новых земель в надежде найти там золото, но сама потребность в нем вызывалась развитием товарно-денежных отношений, требовавших все больше средств обмена. И золото не задерживалось в Испании — оно устремлялось туда, где капиталистические отношения, капиталистическое производство были более развитыми — в страны Нижней Европы, в Англию. Как горько заметил испанский историк, Испания служила лишь «мостом, через который проходили сокровища Америки, чтобы обогатить другие страны».

Далекie острова, отделенные от Испании двумя океанами (куда ни плыть — на запад или на восток), были небогаты. Жадные авантюристы искали золото или пряности, но ни того, ни другого не было там в скольконибудь значительных количествах. Их не устраивали прибыли, извлекаемые из труда филиппинцев. Конкистадоры на Филиппинах считали себя обделенными по сравнению с более удачливыми конкистадорами в Новом Свете. И они грабили, убивали непокорных. А

монахи отпускали грехи. Служители культа хлынули на Филиппины целыми полчищами. Для умонастроения первых испанских поселенцев на Филиппинах показателен мемориал, который они в 1581 году, то есть через 16 лет после захвата островов, направили Филиппу II. В нем говорилось: «Мы служили во время завоевания и умиротворения этих островов. Мы служим и сейчас — кто 10 лет, кто 12, а кто и 15. Единственная субсидия, которую мы получили, была дана нам для снаряжения чиновниками казначейства вашего величества. Скоро она была истрачена на умиротворение туземцев, и нам пришлось грабить их и облагать разными повинностями, чтобы выжить, тем самым отягощая нашу совесть».

Главным представителем метрополии в колонии стал монах. «Когда мы говорим о Филиппинах, — писал впоследствии Хосе Рисаль, — необходимо прежде всего сказать о монахе, потому что монах везде — начиная от колониального аппарата и кончая хижинной бедняком». Не случайно Филиппины считали не просто колонией, а своеобразным теократическим образованием.

Четыре ордена — августинцы, францисканцы, иезуиты и доминиканцы (позднее появились августинцы-реколеты) — фактически поделили между собой архипелаг и скоро превратились в крупнейших феодальных эксплуататоров. Даже те из них, которым их собственный устав предписывал обет бедности, скоро обзавелись земельными владениями. Испанские монахи, как говорили в то время, «самый отсталый и реакционный продукт самой отсталой из старых наций в Европе», и в XIX веке господствовали на островах. Заметим, что в провинциях, в которых в 1896 году вспыхнула национально-освободительная антииспанская революция, 42 процента земель принадлежали орденам, и монах был самой ненавистной фигурой в глазах филиппинцев.

Собственно, по церковному праву монахи не должны были печься о душах обращенных в христианство филиппинцев — на «черное духовенство» (монахов) возлагалась лишь задача обращения, а затем забота о прихожанах переходила к «белому духовенству» (священникам). Однако вплоть до конца испанского колониального господства именно монахи возглавляли приходы. Для укрепления своей власти они ловко изобретали идеологические обоснования. В самом начале испанского владычества некий иезуит писал: «Их неразумие мешает им понять всю глубину нашей святой веры. Они плохо выполняют свои христианские обязанности, и их надо удерживать в вере страхом сурового наказания и управлять ими как детьми». А в самом конце испанского владычества последний испанский архиепископ Манилы заявлял, что филиппинцы «абсолютно не имеют

характера», что у них «недостаточно умственных способностей, чтобы переваривать сколько-нибудь абстрактный вопрос», что «благоразумие и предусмотрительность им неведомы», что, «как только они покидают ученое общество, они тут же забывают все, что выучили», и даже что «в их любви к детям более звериного, нежели человеческого». Для испанцев филиппинцы были простой принадлежностью фауны архипелага, которые годились лишь для тяжелой работы.

Филиппинцы распадались на несколько крупных народностей и множество мелких племен. Северный и самый крупный остров архипелага Лусон заселяли тагалы (Хосе Рисаль был тагалом), илоканцы, биколанцы и другие. В центральной части архипелага обитали висаянцы, на юге жили приверженцы ислама, которых испанцы так и не покорили. Испанцы объединили архипелаг: прежде разрозненные барангаи оказались связанными в единое целое, хотя единство это было насильственным, навязанным извне. Тем не менее некоторые филиппинские культуроведы утверждают, что испанцы создали филиппинскую нацию. Рассуждают они примерно так: до прихода испанцев единой филиппинско!! нации не было, к моменту их ухода она уже была, следовательно, создали ее испанцы. Один из современных филиппинских теоретиков пишет: «В сущности, Испания создала нас как нацию, как исторический народ. Филиппины были порождены Испанией и являются ее творением. Между доиспанскими племенами, знавшими только свои тотемы и табу, и нынешней филиппинской нацией такое же расстояние, как между первобытной протоплазмой и человеческим существом». Не отрицая значения испанского влияния, следует со всей определенностью сказать, что национальное самосознание филиппинцев не было сформировано испанцами; напротив, оно сложилось вопреки их воле и в борьбе с ними.

Борьба эта обычно облекалась в религиозные формы. Вначале она имела ярко выраженное антихристианское направление, а вскоре приняла формы христианского сектантства. В 1663 году на острове Панай некий Тапар объявил себя богом-отцом, одного из своих помощников назначил Иисусом Христом, другого — святым духом, свою приближенную — девой Марией, прочих сторонников — папами, кардиналами, епископами. За такое кощунство «святая троица» была скормлена крокодилам (старинная, еще доиспанская казнь на Филиппинах), а дева Мария обезглавлена. Событиями такого рода полна история Филиппин. Монахи видели в них только внешнюю, религиозную форму и рассматривали эти антииспанские выступления как проявления фанатичного суеверия, одержимости демонами. Они не считали их опасными для своего господства —

«туземные войска», набранные за пределами района восстания, обычно легко подавляли все мятежи.

Опасны были не сами выступления, опасна была их регулярность. Собственно, это была растянутая на века жакерия, крестьянская война, упорство которой свидетельствовало не о религиозных, а о классовых причинах ее.

Сразу же отметим, что Хосе Рисаль — личность сложная и противоречивая — не понимал роли народных выступлений в формировании филиппинской нации и оценивал их невысоко. Видимо, сказывалась его принадлежность к образованной части местной буржуазии. «Мелкие восстания, происходившие на Филиппинах, — писал он, — были делом рук нескольких фанатиков или недовольных военных, которые для достижения своих целей должны были обманывать, лгать и использовать подчиненных. Ни одно из восстаний не имело народного характера, не боролось за человечность и справедливость. Опп не оставили неизгладимой памяти в народе, наоборот, народ, залечив раны и видя, что его обманули, радовался поражению тех, кто нарушил его покой».

Решающую роль Рисаль отводил просвещению, знаниям, носителями которых выступала местная правящая верхушка. Генетически она была связана с доиспанской родовой знатью, вождями и «благородными», которым испанцы доверили низшее звено аппарата колониального угнетения: баранга́й (деревню) и муниципалитет (округ). Провинциальные органы управления заполнялись уже испанцами, они же, естественно, составляли высшие органы колониальной власти в Маниле. Местную верхушку называли принсипалией («главными»), к ней относились все, кто платил не менее 50 песо налога. Принсипалия самим своим существованием была обязана испанцам и участвовала в ограблении тружеников, но и ей, в свою очередь, приходилось страдать от произвола испанцев. В среде принсипалии зародилась местная буржуазия. Выразителем антииспанских настроений приприсипалии (здесь ее классовые интересы до известной степени совпадали с общенародными) стала образованная часть верхушки, которую называли «иллюстра́дос» — «просвещенные».

По своей культурной ориентации они были испанофилами, Испанию они называли не иначе как «мадре Эспанья», то есть «мать-Испания». Но, сталкиваясь с расовыми предрассудками и беззаконием, они не могли не тяготиться своим приниженным положением, тем более что, усвоив испанскую культуру, считали себя ничуть не хуже испанцев. Испания — это не только тупые колониальные чиновники и жадные монахи.

Существовала еще испанская народная культура, богатейший эпос и фольклор, живопись и архитектура, литература, драмы Кальдерона и Лопе да Вега и, конечно, бессмертный роман Сервантеса. Знакомство с замечательной культурой Испании обогатило духовный мир филиппинцев. Испанские легенды о Сиде Воителе, Карле Великом вошли в филиппинский фольклор. Испанская народная музыка, несколько филиппинизированная, стала достоянием филиппинских масс, на праздниках филиппинские крестьяне поют песни, похожие на песни далекой Андалусии, пляшут фанданго и хоту и справедливо считают эти песни и танцы своими.

Илюстрадос самоуверенно полагали себя высшими носителями этой культуры, которую они без достаточных к тому оснований считали уже неотличимой от испанской. Но было бы принципиально неверным не замечать их прогрессивной роли. Они вступили в борьбу против испанского гнета, на первых порах — против монашеского засилья. В этой борьбе участвовали и немногочисленные тогда представители филиппинского духовенства, которые требовали секуляризации приходов, то есть передачи их местным священникам. Ордены всячески противились этому, ссылаясь на неспособность филиппинского духовенства к отправлению религиозных обрядов.

Симпатии филиппинцев — как простых тружеников, так и илюстрадос — были на стороне филиппинского духовенства. В середине XIX века возникло антимонашеское движение, которое не являлось чисто религиозным: в основе его лежал протест против национального угнетения и земельный вопрос, ибо ордены были главными представителями аппарата колониального угнетения и крупнейшими земельными собственниками. Выдающаяся роль в этом движении принадлежала священникам Хосе Бургосу (1837–1872), Хасинто Саморе (1835–1872) и Мариано Гомесу (1799–1872). Их призывы к секуляризации приходов и к ассимиляции Филиппин с Испанией (то есть к уравниванию филиппинцев в правах с испанцами) вызвали ненависть монахов, которые жаждали расправы с ними.

Повод для расправы представился в связи с восстанием 20 января 1872 года в городе Кавите, недалеко от Манилы. Там находился арсенал, и на рабочих арсенала распространили ряд повинностей, от которых ранее они были освобождены. Рабочие подняли восстание, к ним примкнули солдаты филиппинского артиллерийского полка. Мятеж был быстро подавлен: некоторых расстреляли на месте, 149 человек (преимущественно илюстрадос) сослали в отдаленные районы Филиппинского архипелага и

на Марианские острова. Оттуда часть ссыльных сумела бежать в Гонконг, Лондон, Мадрид и другие города, где возникли центры так называемого «движения пропаганды».

Гомес Бургос и Самора не имели к этим событиям никакого отношения. Единственной уликой против них была записка Саморы — он не был чужд земных утех и любил карточную игру, о которой однажды уведомил своих партнеров такими словами: «Большая встреча. Будьте непременно. Друзья придут с порохом и пулями (т. е. деньгами. — *И. П.*)». И это все. Привычка выражаться иносказательно стоила жизни Саморе и его друзьям — записка была сочтена доказательством причастности к восстанию в Кавите. Уже 22 января в 10 утра Гомес, Бургос и Самора были арестованы, а в 10 часов вечера приговорены к гарроте (удушению железным ошейником). Казнь состоялась 17 февраля 1872 года при стечении 40 тысяч народа. Престарелый Гомес лишился перед казнью чувств и не понимал, что с ним происходит. Бургос вырывался из рук палачей и уверял, что он невиновен («И Иисус был невиновен», — отвечивал монах, сопровождавший осужденных на казнь). И только Самора встретил смерть достойно: он благословил опустившихся перед ним на колени филиппинцев и взошел на эшафот с высоко поднятой головой.

В дальнейшем казненные вошли в историю Филиппин как «три мученика» под объединенным именем Гомбурса.

Такова была обстановка на Филиппинах, когда Рисаль вступил в сознательную жизнь. Царил террор, лучшие сыны Филиппин томились в тюрьмах, влачили жалкое существование в изгнании. Одно упоминание «трех мучеников» было основанием для высылки без суда и следствия. В удушливой атмосфере властвовал невежественный монах, чиновник думал только о наживе. А терпеливый филиппинский крестьянин брел по колено в грязи за своим буйволом-карабао («Еще один карабао позади карабао», — презрительно говорили испанцы) и пока безропотно отдавал большую часть урожая. На первый взгляд все было незыблемым, миропорядок неколебим: бог на небе, король в Мадриде, генерал-губернатор в Маниле, монах в асьенде (поместье), а крестьянин в поле. Каждому свое место.

Но внутренние социально-экономические процессы и влияние достижений европейской мысли уже вплотную подвели страну к грандиозным переменам, которые первым осознал Рисаль и необходимость которых он довел до сознания всех филиппинцев. И в этом его величайшая заслуга перед своим народом и перед всем человечеством.

ДЕТСТВО

*Только лишь в детстве, согретом
солнечным нежным теплом,
в сердце вскипала моем песня —
и был я поэтом.^[2]*

Хосе Рисаль.

Музе моей вы велите...

На календаре 1861 год. Неумолимое время отсчитывает вторую половину XIX века. Некогда огромная испанская колониальная империя сжалась в размерах. От былых обширных земель осталось всего два заокеанских владения — Куба и Филиппины, «земля Колумба» и «земля Магеллана», как их называют в Испании. Желто-красный испанский флаг (цвет крови и золота, говорят в бывших испанских колониях) уже не развевается гордо над всеми континентами. За триста лет до того император Карл V высокомерно утверждал, что «бог говорит по-испански». Теперь, кажется, бог предпочитает изъясняться по-английски: проклятые протестанты со времени гибели Великой армады утвердили свое владычество над морями. В оставшихся колониях беспокойно, особенно на Кубе, где не стихают вооруженные выступления. Случаются они и на Филиппинах, но там бунты не столь значительны и подавить их не так уж трудно. Колониальные власти настораживает и то, что появляются вольнодумцы, отвергающие божественное право Испании на безраздельное господство, пытающиеся уравниваться в правах с чистокровными испанцами, — вещь неслыханная и дотоле небывалая.

На календаре 1861 год. Уже ведутся работы по строительству Суэцкого канала. Далекая колония вот-вот станет ближе. Пароходы будут быстрее доставлять вести из Испании, колония получит возможность приобщаться к духовной жизни метрополии. Молодые люди из лучших семей Филиппин едут учиться в Мадрид, Барселону, Париж, Лондон, Гейдельберг. Пришлось сначала на время, а потом и постоянно открыть для международной торговли Манилу и другие филиппинские порты. Опасным духом потянуло из Европы, и, хуже всего, на Филиппинах находятся люди, жадно ловящие

новые идеи.

На календаре 1861 год, а колониальные власти пытаются сохранить средневековые порядки. Монахи шныряют по всем приходам, выискивают — и находят — крамолу, бросают людей в тюрьмы, ссылают на отдаленные острова. Уже пять лет работает Постоянная цензурная комиссия, призванная уберечь простодушных филиппинцев от соблазнов. Уже запрещен «Робинзон Крузо», даже «Дон Кихот» Сервантеса допущен с большими купюрами. Современных авторов, кроме богословов, не допускают вовсе.

Внешне все пока спокойно и даже сонно — сонно в Маниле, сонно и в расположенном неподалеку городке Каламба. Он привольно раскинулся между прекрасным озером Лагуна де Бай и высокой горой Макилинг. Из озера вытекает река, и по ней за 10 часов можно доплыть до Манилы. Раньше редко кто отправлялся в такое путешествие — незачем, да и дорого. Но две-три тысячи обитателей Каламбы живут уже не только рыбной ловлей и выращиванием риса. В далекой Европе растет спрос на сахар, цены на него хорошие, а сахарный тростник дает отличные урожаи. Своей земли у каламбеньос — жителей Каламбы — нет; она принадлежит ордену доминиканцев. Почтенные отцы сдают ее в аренду, взимая ежегодную плату — канон, размер которого устанавливают сами. Богатые арендаторы пересдают землю в субаренду и имеют немалый доход от этого.

На календаре 1861 год. 19 июня в доме зажиточного каламбеньос Франсиско Меркадо родился сын. Крестили младенца в день святого Иосифа, а потому нарекли Хосе. Чтобы обеспечить покровительство еще одного святого, ему дали также имя Протасио. Набожной матери хотелось бы дать сыну побольше святых заступников, но нельзя: на три имени и более имеют право только испанцы. Простые филиппинцы — только на одно. С фамилиями несколько свободнее. Их филиппинцы обрели всего за 12 лет до того, раньше они обходились именами, прозвищами да кличками. Но в 1849 году испанцы повелели всем филиппинцам обзавестись фамилиями, что должно было облегчить сбор податей, и предложили большой список их. Принсипалии, у которой и раньше иногда бывали фамилии, разрешалось иметь сдвоенную фамилию — отца и матери, а самым выдающимся личностям — счетверенную: сдвоенную отцовскую и сдвоенную материнскую. У матери Хосе сдвоенная фамилия — Алопсо-Реалондо. У отца, чей род не так славен, только одна — Меркадо, что значит «торговец» (указание на род занятий его предков). Но Меркадо на Филиппинах бесчисленное множество, а потому Франсиско Меркадо разрешили в порядке исключения добавить еще одну — Рисаль (от

испанского слова «*gisial*» — «отава», «трава, подросшая после покоса»). Но Рисалем он именуется только в устном общении, по всем документам значится просто Меркадо. Полное имя героя нашей книги — Хосе Протасио Рисаль-Меркадо-Алонсо-Реалондо, но в историю он вошел как Хосе Рисаль.

Принадлежность родителей Рисаля к принсипалии удостоверяется не только сдвоенной фамилией: отец имеет право на обращение «дон», а мать — «донья», и это право ревниво оберегается. Но так их именуют только нижестоящие крестьяне, которым Меркадо сдают землю в субаренду, для испанцев же они остаются «индейцами».

Дон Франсиско Меркадо ведет свой род от китайца, в 1690 году переселившегося на Филиппины, женившегося на христианке и принявшего крещение. Потомки этого переселенца быстро ассимилировались и занялись торговлей. Отец и дед дона Франсиско дослужились до высшего доступного филиппинцам чина *гобернадорсильо* («маленького губернатора») и носили трость с серебряным набалдашником — символ власти. Дон Франсиско первым в семье оставив торговлю. Он был младшим сыном и мог рассчитывать только на себя, ибо его доля в наследстве была незначительной. Он перебрался в Каламбу, и скоро природная смекалка и честность в делах обеспечили ему успех. Через несколько лет он стал самым преуспевающим дельцом Каламбы. Дон Франсиско построил двухэтажный каменный дом (таких в Каламбе всего четыре) рядом с городской площадью, на которой стоят церковь и здание муниципальной администрации. Это тоже верный признак благосостояния, ибо на Филиппинах о статусе человека можно судить по месту жительства — чем ближе к центру, тем он выше.

Дон Франсиско не совсем обычный филиппинец. Он сдержан и молчалив, и если считает, что говорить не о чем, может молчать целыми днями. Он прежде всего человек дела и детей воспитывает не столько поучениями сколько личным примером. Не терпит неаккуратности, семья знает, это, и все ведут себя чинно и благопристойно: встают в одно и то же время, минута в минуту собираются за обеденным столом (любая небрежность в одежде недопустима), беспрекословно выполняют распоряжения старших. Нарушение раз и навсегда заведенного порядка карается неодобрительным взглядом дона Франсиско, а это страшнее, чем ругань или рукоприкладство, на которые, надо сказать, филиппинцы не скупятся для наставления малолетних.

Дон Франсиско уважаемый член принсипалии, но не илюстрада. Его образование ограничивается несколькими классами школы, откуда он

вынес кое-какое знание латыни. Зато его жена, донья Теодора, — блестящая представительница этого недавно появившегося на Филиппинах слоя образованных людей. Ее предки тоже были гоберпадорсильо, а родители дали ей лучшее по тем временам образование. Она окончила колледж святой Розы в Маниле, великолепно говорит по-испански^[3], знает испанскую литературу, и — что совсем необычно для того времени — неплохо разбирается в математике. Впоследствии ее великий сын так писал о ней: «Моя мать — женщина высокой культуры. Она знает литературу и говорит по-испански лучше, чем я. Она даже правила мои стихотворения и давала мне мудрые советы, когда я изучал риторику. Она математик и прочла много книг». Поэтому воспитание детей ложится прежде всего на нее.

А детей у них много, и все в Каламбе видят в этом верный признак благоволения высших сил. Ибо, по филиппинским понятиям, счастье означает прежде всего высокий статус, здоровье и многодетность. (В понятие счастья филиппинцы не включают богатство — оно есть производное от трех основных компонентов.) Всего детей одиннадцать — девять дочерей и два сына. Хосе — седьмой ребенок. У него пять старших сестер — Сатурнина, Нарсиса; Олимпия, Люсия и Мария, старший брат Пасиано и четыре младших сестры — Консепсьон (умерла в младенчестве), Хосефа, Тринидад и Соледад. И это очень хорошо для Хосе (или, как зовут его в семье, Пепе): о нем есть кому позаботиться и сам он может проявить заботу о других, то есть выработать то качество, которое превыше всего ценится филиппинцами, — тесная солидарность в своей группе^[4]

Филиппинцы знают, что лишь родственный коллектив, семья есть защита и убежище от всех невзгод, прочие же установления — государственная власть, закон, перед которым якобы все равны, и т. п. — принесены чужеземцами и служат только им. Выживание гарантирует не безличный закон, а круг лиц, которых филиппинец считает своим, прежде всего семья. Чем она больше, тем лучше — тем больше у человека защитников. И неважно, если в семье много девочек: на Филиппинах, как и во всем малайском мире, статус женщины очень высок и дочери не менее желанны, чем сыновья^[5].

Семья — единое целое, она всегда готова прийти на помощь любому своему члену, сколь бы незначительное место он ни занимал, «Боль в мизинце ощущается всем телом», — гласит филиппинская пословица, что означает: семья за всех в ответе, в ней нет и не может быть члена, судьба

которого была бы безразлична другим. Но это единое целое строится строго иерархически. Непререкаемым авторитетом пользуются родители, чье слово — закон, чья воля — то же самое, что воля высших сил. Ибо филиппинцы ценят родителей не за то, что они их воспитали, поили, кормили и учили (об этом они, правда, тоже не забывают), а прежде всего за то, что они дали сыну или дочери жизнь, «Не будь их, и тебя бы не было», — говорят филиппинцы, требуя почтения к родителям. Родители — податели жизни, самого высшего блага, и взамен им следует платить любовью, уважением, преданностью. Иначе ты неблагодарный человек, а с такой репутацией не проживешь: филиппинцы могут простить многое, но никогда не прощают неблагодарности.

Столь же обязательно повинование старшим братьям и сестрам. Считается, что, родившись раньше, они как бы освободили место индивиду («Не родись они раньше, и ты бы не родился»), а потому рассматриваются как косвенные податели жизни, за что их следует чтить.

Все это Пепе твердо усваивает в семье, и много позднее, приобщившись к европейской культуре, не отступит от филиппинских обычаев: по-прежнему чтит родителей, старших сестер и брата, но и сам по праву требует почтения от младших (письма к старшим он заканчивает традиционной формулой: «Ваш слуга целует вашу руку», но и младшие сестры не должны ее опускать в своих письмах к обожаемому Пепе — этого он не прощал).

Семья дона Франсиско и доньи Теодоры, по филиппинским представлениям, была счастливейшей семьей. Крестьяне уважают своих патронов, платят им подношениями, лояльностью и преданностью. Даже испанцы ставят их в пример. Но...

Уж слишком независимы эти Меркадо. Донья Теодора блестяще знает испанский язык, дети тоже говорят по-испански. В доме библиотека в тысячу томов — много, слишком много для благонравных филиппинцев. Глава семьи чересчур вольно, чуть ли не на равных разговаривает с монахами, лейтенантом гражданской гвардии. Старший сын учится в Маниле — а к чему индейцу учеба? Такие или примерно такие мысли возникают у монахов-доминиканцев и колониальных чиновников. Неплохо бы указать зарвавшемуся семейству его место. И когда случай представляется, они не упускают его.

Детские годы Пепе текут счастливо и безмятежно. Он подробно описал свои первые впечатления, относящиеся к тому времени, когда он был так мал, что, спускаясь по лестнице, становился на каждую ступеньку обеими ножками, крепко держась ручонками за перила, а когда пол

натирали банановыми листьями, то и дело падал. «Я так ясно помню меланхолические вечера, проводимые на террасе нашего дома, словно это было вчера; они полны грустной поэзии, запечатлевшейся в моей душе... У меня была айя (няня. — *И. П.*), очень меня любившая, и она, чтобы заставить меня съесть ужин (в лунные вечера мы ужинали на террасе), пугала страшной ведьмой-асуван или ужасным духом предков».

Образцы народной поэзии, в которых причудливо мешаются филиппинские и испанские мотивы, Пепе впитывает в самом юном возрасте. Но не только айя занимает маленького Пепе рассказами. Любящая донья Теодора старается научить Пепито испанскому языку и добронравию, читая ему книги. «Как-то, рассердившись на меня за плохое чтение — я не знал испанского и не понимал смысла прочитанного, — она отобрала у меня книжку. Выбрав меня за то, что я украсил страницы своими рисунками, она начала читать вслух, требуя, чтобы я повторял за ней... Я слушал с детским восхищением, удивляясь, как легко у нее получаются звучные фразы, которые мне никак не давались. Но скоро я устал от звуков, которые для меня ничего не значили, перестал следить за ее чтением и стал смотреть на огонек свечи, вокруг которого плясали мотыльки, потом начал зевать. Мапочка, заметив, что я проявляю мало интереса, сказала:

— Тогда я прочитаю тебе очень интересную историю, слушай внимательно.

При слове «история» я широко раскрыл глаза... Я и не подозревал, что в этой старой книге, которую я читал не понимая, могут быть истории, да к тому же интересные. Мама начала читать про старого и молодого мотылька, переводя каждое предложение на тагальский язык. Услышав первые же строки, я с удвоенным вниманием стал следить за мотыльками, плясавшими вокруг свечи. История, которую читала мама, была самой подходящей к случаю. Мама комментировала наставления старого мотылька молодому так, словно он обращался прямо ко мне... Мама кончила читать, а я все не мог прийти в себя, все мое внимание, мысли и чувства были поглощены печальной судьбой мотылька, полного мечтаний и сгоревшего в огне.

— Вот видишь, — сказала мама, укладывая меня спать. — Если ты будешь непослушным, как этот мотылек, ты тоже сгоришь.

...Я долго не мог уснуть. Огонь и мне казался таким прекрасным, таким привлекательным, Я понял, почему мотыльки плясали вокруг него. И советы и наставления лишь смутно звучали у меня в ушах. Меня просто захватила гибель молодого мотылька, но в глубине сердца я не осуждал его.

Ведь огонь так прекрасен!»

Мысли о судьбах человеческих — пока еще детские — часто занимают его.

...Маленький Пепе сидит в лодке на берегу озера, болтая ногами в воде. Озеро большое, другого берега не видно. Мальчик еще ни разу не выезжал из Каламбы и размышляет, а как живут люди на другом берегу? Счастливы ли они? Углубившись в эти мысли, он роняет шлепанец в воду, и тот медленно удаляется от незадачливого философа. Плавать он еще не умеет. В одном шлепанце идти домой глупо, выговора не избежать. Но выслушивать упреки что за один шлепанец, что за два — какая разница? А что будет делать человек на другом берегу, найдя один шлепанец? К чему он ему? Вот если два — другое дело. И юный мыслитель снимает с ноги уцелевший шлепанец и пускает его вдогонку первому, а сам покорно бредет домой получать порцию заслуженных упреков. (Впоследствии он тщательно зафиксировал в дневнике ход своих рассуждений.)

Много времени он проводит в саду за домом. Отец построил там миниатюрную хижину — точь-в-точь такую, в каких живут простые крестьяне, только высотой всего полтора метра. Там он сидит часами, играет с сестрами, собирает растения, раскладывает их и запоминает названия, спрашивает, как называются плоды, птицы, жуки. Филиппинская природа входит в его душу. Величественная гора Макилинг привлекает его. В ясную погоду кажется, что она поднимается прямо за домом, в непогоду окутывается пеленой облаков. Ему хочется подняться на гору, но нельзя: ее охраняет фея Мария Макилинг, а она наказывает непослушных детей.

Маленькая хижина из пальмы нипы не только место игр и детских мечтаний. Уже в пять лет Пепе проявляет склонность к ваянию, и хижина превращается в подобие мастерской — Пепе целыми часами сосредоточенно лепит из глины. Однажды сестры застают его в хижине увлеченно работающим над скульптурным портретом, которому он явно старается придать свои черты.

— Это кто? — спрашивают сестры.

— Это великий человек, — важно отвечает скульптор. Поднимается смех, сестры вышучивают юного ваятеля, который стоит насупившись. Но смех сестер незлобив — их просто забавляет серьезность маленького брата. Насмеявшись от души, они уходят. Ваятель стоит на пороге хижины и кричит им вслед:

— Смейтесь, смейтесь! А только смотрите, как бы не начали ставить мне такие памятники, когда я умру!

Добродушное вышучивание, редкие выговоры (вызванные, как пишет

сам Рисаль, «моим упрямством») — вот и все детские огорчения. Даже домашний учитель, нанятый для обучения маленького Пепе латыни, не очень досаждал ему. В 1868 году, семи лет от роду, Пепе вместе с отцом впервые едет в Манилу и видит, «как живут люди по ту сторону озера». Нет, они не выглядят слишком счастливыми — к удивлению юного философа, они такие же, как в Каламбе, разве что чуть более шумные.

В доме поселяется один из его многочисленных дядюшек, ярый поклонник нового увлечения той эпохи — спорта. Пепе слаб физически и, что особенно угнетает его, мал ростом. Дядюшка берет племянника под постоянную опеку: заставляет делать по утрам гимнастику, совершает с ним длительные прогулки, обучает плаванию и верховой езде. Любовь к спорту дядюшка — видимо, умелый педагог — прививает Рисалю так глубоко, что тот с увлечением занимается им всю жизнь. Он крепнет, обретает уверенность в себе.

Но уже приближается пора детских страданий. Нетребовательный старик латинист умер, надо думать о том, где продолжить образование. Решено отправить Пепе к тетке в Биньян, благо это недалеко, всего полтора часа пути. Для любого филиппинца разлука с семьей, особенно первая, страшное испытание, и Пепе не исключение. (Глава в дневнике, посвященная учебе в Биньяне, горестно названа «Жизнь без родителей. Мои страдания».) Биньян рядом с Каламбой, да и жить не у чужих людей, но все же не в родном доме. Пепе уезжает с тяжелым сердцем, о чем свидетельствует запись в воспоминаниях: «В воскресенье я попрощался с семьей, с родителями и сестрами, и брат повез меня в Биньян. В глазах у меня стояли слезы. Мне уже девять лет, и я старался скрыть их».

Учитель в Биньяне — старый самодур, знающий наизусть средневековую латинскую грамматику, верит в одно средство воспитания — порку. Годы спустя Рисаль вспоминает: «У меня были учителя, которые передали мне все свои знания. Их педагогическое кредо сводилось к нехитрым правилам: «Пожалеешь розог — испортишь ребенка», «Дети рождаются испорченными» и т. д. Побоями они заставляли нас заучивать наизусть целые книги, написанные на ненавистном языке, на этом же языке они вдалбливали в нас молитвы и заставляли читать их часами (а нам так хотелось спать!) перед изображениями святых, которым, должно быть, надоедало созерцать наши заплаканные личики».

В семье Рисаля вообще обходятся без рукоприкладства: разве что мать, старшие сестры и брат сделают выговор, сам же дон Франсиско не снисходит и до этого, а ограничивается неодобрительным взглядом. В Биньяне все по-другому. «Не буду, — пишет Рисаль, — тратить время на

воспоминания о бесчисленных побоях, которые я получал. Редко выпадал день, когда мне не случилось вынести пять-шесть ударов».

Но не только учителя мучают Рисаля. Он, как и всякий филиппинец, необычайно чувствителен к мнению других и крайне обидчив. Несмотря на малый рост, он не уступает обидчикам, и первая драка происходит в первый же день пребывания в Биньяне. Рисаль так описывает ее:

«Учитель спросил меня:

— Ты знаешь испанский?

— Немного, сеньор.

— А латынь?

— Немного, сеньор.

Эти ответы рассмешили Педро, сына учителя и самого задиристого мальчика в классе, и он начал издеваться надо мной. Он был выше меня ростом и старше на несколько лет. Мы подрались, и я, уж не знаю как, победил... Этим я снискал некоторую славу у одноклассников — наверняка из-за малого роста...»

Драться Пепе не любит, но от драк не уклоняется, этого требует сильно развитое у него чувство собственного достоинства. Самолюбивому мальчику, только что покинувшему родительский дом, где все баловали его, приходится нелегко. Ночами на жесткой циновке он нередко глотает слезы обиды, а днем как левенок бросается в бой, из которого не всегда выходит победителем.

Откуда такая обидчивость? — Она вообще свойственна всем филиппинцам. Они, как уже говорилось, живут интересами «малой группы», которая тесно сплочена и мнение которой для них превыше всего. «Малая группа» наделяет человека определенным статусом и требует его защиты всеми доступными средствами. Любое, насмешливое или критическое замечание воспринимается как покушение на статус, на «я», и вызывает бурную реакцию. Социализация филиппинца, то есть его приобщение к принятым в обществе нормам поведения, начинается в раннем детстве, когда воспитывается уязвимость к мнению других, столь необходимая для функционирования традиционного социального механизма. Средством воспитания такой чувствительности служит поддразнивание. Оно играет важную роль в процессе создания у личности восприимчивости к мнению других, причем восприимчивость эта (на взгляд со стороны — обостренная) сохраняется и у взрослых. Поддразнивание ставит ребенка на место, полагающееся ему по общепринятым нормам поведения, а когда повторением «дразнилки» это место закрепляется в его сознании, он всякую насмешку воспринимает как

попытку лишить его этого места — значит, надо действовать, чтобы отстоять его.

Приобретенный в детстве навык у взрослых оборачивается болезненной реакцией на критику и вообще на любой недружественный отзыв, причем не только о себе, но и о своей «малой группе». Возможная «площадь поражения» таким образом увеличивается. Обидчивость, созданная поддразниванием, обеспечивает привязанность индивида к «своим». В этом отношении Рисаль — типичный филиппинец.

Время от времени Пепе посещает родной город. «О, сколь долгим мне казался путь домой и сколь кратким обратный! Когда я различал вдали крышу нашего дома, тайная радость переполняла мое сердце... И как же я выискивал предлоги, чтобы задержаться подольше, — еще один день дома казался мне днем на небесах, и как я плакал — молча, тайком, — когда к дому подъезжал экипаж, чтобы увезти меня. Все казалось мне погруженным в грусть».

Страдания, вызванные разлукой с семьей, все же не мешают занятиям ваянием, живописью, поэзией. В них он ищет утешения от невзгод. В дневнике отмечено увлечение рисованием: «Я так увлекся этим искусством, что вместе с одноклассником по имени Хосе Гевара стал «модным художником» класса». Что до стихов, то в этом искусстве его наставляла донья Теодора. Первые стихотворения Пепе сочиняет «по поводу» — по случаю, дней рождения, крестин и других семейных торжеств. В 1869 году восьмилетний поэт пишет стихотворение «Моим сверстникам», посвященное обоснованию равенства родного тагальского языка с латынью, английским и даже «языком ангелов»:

*Наш язык с любым сравниться б мог
ангельским звучаньем: и с латынью,
и с английской речью. Мудрый бог
подарил его нам как святыню.*

Свидетельствует ли это стихотворение о необычайно раннем пробуждении поэтического дарования? И да и нет. В принципе в стихотворчестве для филиппинцев не заключается ничего необычного. Их художественная культура находилась на той ступени развития, когда она была достоянием каждого, когда еще только зарождалась профессиональная литература и поэтическое произведение считалось скорее проявлением жизнедеятельности коллектива, а не отдельной

личности. Говоря словами русского ученого Ф. И. Буслаева, то была эпоха, когда «поэтическое воодушевление принадлежало всем и каждому, как пословица, как юридическое изречение. Поэтом был целый народ...».

Другое дело — содержание стихотворения. Иллюстратос стремились доказать свою неотличимость от испанцев, добиться равенства с ними «на испанских условиях», то есть на почве испанской культуры. И вот впервые заявлено, что филиппинцам вовсе не обязательно во всем тянуться за испанцами: у них есть свой язык (вспомним, что ранее в дневнике Рисаль говорит об испанском языке как о «ненавистном») не хуже любого другого, а значит, есть и культура, которой можно гордиться.

...А пока «биньянские страдания» продолжаются. Родители видят, как мучается Пепе, известен им и невысокий уровень знаний биньянских педагогов, а потому они решают забрать его домой. 17 декабря 1870 года Пепе окончательно возвращается к Каламбу. «Невозможно описать мою радость, когда на берегу я увидел поджидавшего меня слугу с экипажем. Я спрыгнул на берег, и вот я уже дома, среди любящей семьи... Хижина красиво убрана к рождеству, сестры не отпускают меня. На этом кончаются мои воспоминания о тех печальных днях, когда я вкушал горький хлеб вне дома».

Но мальчику надо продолжать учебу. Решено устроить его в местную школу в Каламбе. Несколько недель Пепе аккуратно посещает занятия, но однажды остается дома и за обедом сидит молча, насупившись.

— Почему ты сегодня не в школе? — спрашивает сестра.

— Я больше не пойду туда, — отвечает Пепе, не поднимая глаз.

Дон Франсиско вопросительно вскидывает брови.

— Мне там нечего делать, — отвечает Пепе на немой вопрос. — Я уже все выучил.

Тут обычная сдержанность покидает дона Франсиско, и он раздраженно бросает:

— Когда я был в твоём возрасте, я никогда не позволял себе говорить так самонадеянно.

Это небывалый случай — сам дон Франсиско делает сыну выговор. Но Пепе упорно молчит, уткнувшись в тарелку. Он не смеет перечить отцу, но он упрям и от своего не отступает. Вконец рассердившись, дон Франсиско призывает учителя, но тот со вздохом подтверждает: да, Пепе уже знает все, что знает он сам.

Снова встает вопрос о том, где учиться дальше. Собирается большой семейный совет, на котором главное слово принадлежит Пасиано. Он старше Хосе на 11 лет и уже учится в Маниле. Родители не знают, что

Пасиано вступил в Комитет реформаторов в Маниле. Цель комитета — секуляризация церковных приходов и «ассимиляция с Испанией», то есть распространение на Филиппины испанских законов, уравнивание филиппинцев в правах с испанцами. Комитет связан с Генеральной хунтой реформ, созданной в Мадриде после испанской революции 1868 года. Но если хунта в Мадриде действует открыто, то комитет в Маниле — организация полулегальная. В комитете активную роль играет Хосе Бургос; монахи давно уже следят за ним. Пасиано тоже попал в поле их зрения, и он сам об этом знает. Он учится в колледже Сан Хосе. Хорошо бы устроить туда и младшего брата — родственники должны держаться друг друга. Так считают родители. Но Пасиано понимает, что это навлечет подозрение и на младшего брата. Сказать об этом открыто Пасиано не может, а потому с жаром рекламирует другое учебное заведение — муниципальный Атенео, которым управляют иезуиты.

Дон Франсиско недоумевают, но по обыкновению молчит. Материнское сердце доньи Теодоры чувствует, что здесь что-то не так. Она боится за младшего сына, любимца семьи. Она плачет, но не может же она лишить образования сына, который так прекрасно рисует, лепит, пишет такие замечательные стихи! Пусть едет. Пасиано по секрету сообщает младшему брату, что в Атенео ему лучше назваться не Меркадо — под этой фамилией известен он сам, — а Рисалем. Пепе настораживается, но ни о чем не спрашивает. Он готов ехать и ждет, что будет дальше.

А дальше происходят ужасные события. В июне, как раз когда Пепе должен ехать в Атенео, донью Теодору неожиданно арестовывают. Алькальд приказывает доставить ее в провинциальный центр, город Санта-Крус. До него 30 километров, обычно туда едут на лодке, но донью Теодору ведут пешком под палящим солнцем в сопровождении конвоиров — пусть все видят, какая судьба ждет строптивых. А Меркадо строптивы: мало того что они позволяют себе на равных держаться с испанцами, мало того что подозрительно много читают, их старший отпрыск, Пасиано, связался с Бургосом. Пасиано учится в доминиканском колледже, земли Меркадо тоже принадлежат доминиканцам, так что они прекрасно осведомлены обо всем и наносят подлый удар.

Действуют они через светские власти. Альферес (младший офицер гражданской гвардии) во время наездов в Каламбу всегда останавливается в доме Меркадо, лучшем доме города. Дон Франсиско предпочитает не ссориться с властями и предоставляет ему кров, угощение и корм лошадям. Но не считает это своей обязанностью, это проявление доброй воли. И когда в доме как-то случилась нехватка фуража, он отказывается задать

корм лошади альфереса. Альферес расвирепел и поклялся отомстить.

...Двоюродный брат доньи Теодоры, Хосе Альберто, отправился в путешествие по Европе. Во время его отсутствия супруга не была ему верна — это нередко случалось на Филиппинах, где половая мораль еще сохранила многие черты, свойственные доиспанскому барангаю. Вернувшись, обманутый муж не пожелал иметь дела с неверной женой, но набожная донья Теодора, строго соблюдавшая все предписания католической морали, уговорила его попытаться образумить беглянку. Донью Теодору уважали все, и можно было надеяться, что ее увещевания образумят неверную жену. Ее поселили в доме Меркадо, и донья Теодора принялась терпеливо вразумлять родственницу. Но эта вздорная женщина, узнав о гневе альфереса, пожаловалась ему, что донья Теодора собирается отравить ее. Альферес тут же донес обо всем алькальду (мэру. — *И. П.*), добавив свое мнение об «этой семейке»; алькальд снесся с доминиканцами, и те дали совет проучить непокорных Меркадо. Альферес, до того считавшийся другом семьи, сам сопровождает донью Теодору, не разрешая ей ни покупать еду, ни отдыхать по дороге, ни даже пользоваться зонтиком. «Они заставили ее признаться, — записывает в дневнике Рисаль, — обещая тут же выпустить ее... Какая мать не пожертвует собой ради детей? Моя мать, запуганная и обманутая (потому что ей сказали, что, если она не признается, ее осудят), не выдержала нажима и проявила слабость». Дело передают в Манилу, оно вполне могло кончиться трагически, как вдруг алькальда одолевают угрызения совести, он во всеуслышание объявляет, что дело подстроено, и публично просит у доньи Теодоры прощения. Но до того прошло два с половиной года, которые донья Теодора провела в тюрьме.

Маленького Хосе, не просто любившего, но горячо обожавшего мать, это событие просто потрясает. Видимо, уже тогда появляются первые сомнения в способности испанцев понять филиппинцев, пробуждается ненависть к монахам. Ни для кого не секрет, что за всем этим гнусным делом стоят отцы-доминиканцы, — сам Рисаль в дневнике называет альфереса и алькальда «прислужниками монахов». Там же он записывает: «Не буду говорить тебе (читателю. — *И. П.*) о нашем негодовании и глубокой скорби. С тех пор, хотя я был еще ребенком, я перестал доверять проявлениям дружбы и людям вообще». Тут некоторое преувеличение — Рисаль даст немало доказательств своей доверчивости. Но, несомненно, ему нанесена глубокая душевная травма.

Личное несчастье усугубляется общественным. Через полгода после ареста доньи Теодоры происходят кровавые события в Кавите. Казнены

Гомес, Бургос и Самора. Пасиано едва избегает преследований, но вынужден оставить учебу — он возвращается в Каламбу и занимается хозяйством, помогая отцу. Дон Франсиско, не желающий обострять отношения с властями, запрещает домашним даже упоминать имена «трех мучеников». Но их знают все, их судьба волнует каждого филиппинца — и юного Рисаля тоже. Впоследствии он писал: «Без 1872 года Рисаль был бы сейчас иезуитом... Хотя я был еще ребенком, эти несправедливости и жестокости потрясли мое воображение, и я поклялся посвятить себя мести за этих жертв; эта идея владела мной, когда я учился, ее можно видеть во всех моих работах, во всем написанном мною».

В июне 1872 года, на год позже, чем намечалось, через четыре месяца после казни Гомеса, Бургоса и Саморы, Пасиано везет одиннадцатилетнего Хосе в Манилу. Сам он оставил мечту о получении образования и теперь все надежды возлагает на младшего брата — это ему предстоит посвятить себя «филиппинскому делу». У него есть способности, есть трудолюбие. А Пасиано будет работать, будет содержать семью, будет помогать Пепе.

ГОДЫ УЧЕБЫ

Я многим обязан этому ордену, почти всем.

Хосе Рисаль. Воспоминания

Так пишет он 2 мая 1882 года о наставниках-иезуитах, которые впоследствии объявили его своим заклятым врагом. Иезуиты появились на Филиппинах в числе первых — еще в 1581 году — и не менее активно, чем другие ордены, участвовали и в обращении населения в христианство, и в грабеже колонии. Этот орден всегда отличался большими амбициями — чувство христианского смирения иезуитам неведомо. Амбиции не раз заставляли их вступать в спор со светскими властями и даже с испанской короной. В середине XVIII века иезуиты даже попытались создать в Парагвае теократическое иезуитское государство, которое должно было жить «по божьим» (фактически — по иезуитским) законам», а не по законам испанской монархии. Испанские короли были набожны, но не настолько, чтобы поступиться своей властью. В 1767 году указом Карла II иезуиты были изгнаны из Испании и всех ее колоний как враги короны.

Прощение им было даровано только в середине XIX века, и в 1859 году — за два года до рождения Рисаля — они вернулись на Филиппинский архипелаг. Их приходы давно уже раздали другим орденам, которые вовсе не желали возвращать иезуитам доходные места в развитых районах страны, а потому иезуиты получили приходы на отдаленных островах, в частности на острове Минданао, где еще надо было вести миссионерскую работу. До того эти приходы принадлежали августинцам-реколетами, потребовавшим компенсации в прилежащих к Маниле приходах. Их давлению уступили и передали им те немногие приходы, которыми управляли филиппинские священники. Все это способствовало резкому усилению антимонашеских настроений, но они не распространялись на иезуитов, ибо их считали непричастными к творившимся несправедливостям.

Иезуиты вообще ловко оставались в стороне от всех перипетий борьбы между монахами и филиппинцами и даже выдавали себя за сторонников последних. Они не упускали (и не упускают по сей день) случая показать другим орденам их тупость и неспособность, ревниво оберегают свою славу самого передового отряда католицизма, не чуждого науке и

прогрессивным идеям. Обжегшись в Парагвае, они поняли, что контроль над умами дает не меньше власти, чем контроль над приходами, и сосредоточили основные усилия в сфере образования. На Филиппинах, в частности, они захватили здесь командные позиции, которые удерживают и поныне. Их учебные заведения не без основания считаются самыми лучшими, методы преподавания — самыми передовыми.

Рисаль попал в руки иезуитов в самом невинном возрасте и на себе испытал воздействие их педагогической доктрины, их знаменитого *ratio studiorum*. В основу доктрины была положена философия Фомы Аквинского, который считал, что многие христианские истины (бытие бога, бессмертие души, сотворение мира и др.) могут и должны быть доказаны рациональным путем. Отсюда выводилась необходимость прививать ученикам навыки логического мышления, умения опровергать путем рассуждений несостоятельность безбожия, ересей, других вероисповеданий. Но «умение рассуждать» — опасный инструмент, который может обратиться и против католицизма. Случалось, что именно ученики иезуитов становились самыми опасными врагами церкви вообще и ордена в особенности, — достаточно вспомнить Вольтера, по стопам которого впоследствии пошел и Рисаль. Примечательно, однако, что иезуиты, которым никак нельзя отказать в сообразительности, все же не меняют своего *ratio studiorum*, видимо, потому, что потери такого рода, сколь бы чувствительны они ни были, с лихвой окупаются когортами верных церкви и ордену выпускников иезуитских учебных заведений.

Таким заведением на Филиппинах был Атенео, дававший среднее образование. Только что реабилитированный орден не имел старых служителей — все иезуиты были молоды, самому старшему не было и тридцати лет, что способствовало сближению наставников с учащимися.

А к подбору этих последних подходят очень строго. Рисаль не производит, на отцов-наставников благоприятного впечатления: мал ростом, слаб здоровьем, да и его испанский оставляет желать лучшего. Повздыхав, отец-ректор все же соглашается зачислить Пепе на пятигодичный курс обучения: кто знает, может быть, и из этого не очень крепкого мальчика выйдет верный служитель церкви... В журнал вносится запись: имя — Хосе, фамилия — Рисаль. Так впервые герой нашей книги становится по совету Пасиано Рисалем. «После печальной катастрофы 1872 года, — пишет позднее Рисаль, — Пасиано пришлось оставить университет, так как он считался либералом и монахи не любили его, потому что он жил у Бургоса. Чтобы обойти возможные препятствия, он посоветовал мне воспользоваться нашей второй фамилией — Рисаль. Так

что я единственный Рисаль... Из-за этого мне казалось, что я незаконнорожденный!» При ориентации всей жизни филиппинцев на семейный коллектив незаконнорожденность воспринимается как величайшее несчастье, ибо одиночка, незаконнорожденный — пария, изгой, не имеющий ни защиты, ни права на нее. Поэтому Рисаль так остро переживает свою «единственность», она воспринимается им как ущербность.

Чутье не обмануло отца-ректора — довольно скоро мальчик показывает удивительные дарования. Выявлению их способствует сама постановка обучения. «Следует вам знать, — пишет Рисаль в «Воспоминаниях», — что в иезуитских коллегиях, чтобы поощрить учеников к соревнованию, класс делится на две империи, римскую и карфагенскую или греческую, постоянно соперничающие друг с другом, в которых высшие посты занимают в зависимости от успехов... Меня поместили в самом конце — я едва знал испанский, но все же уже понимал его». В конце первой же четверти Рисаль провозглашается «императором».

Хотя царил дух соревнования, хотя учеников приучают самостоятельно мыслить, все же зубрежки тоже немало. Она, конечно, сковывает ум, втискивает познание в узкие рамки, но она же дисциплинирует ум, не дает мысли растекаться безбрежно. Некоторая схоластическая скованность ощущается в творениях Рисаля, но в то же время они выгодно отличаются от писаний многих его соотечественников (в том числе и современных) своей стройностью, аргументированностью: он никогда не забывает исходных посылок и четко проводит свою мысль, не теряя ее по дороге.

Не все и не всегда идет гладко в учебе. Иезуитов при всей их изворотливости не следует представлять как собрание необычайно проницательных и хитроумных людей. Попадались среди них и просто тупицы, и люди грубые, не скрывавшие своего презрения к «жалким индио». Один из них, отец Вилаклара, позволяет себе, как пишет Рисаль, «несколько гадких слов в мой адрес», а это при его чувствительности сразу же сказывается на учебе: «Я перестал стараться и занял лишь второе место».

Жизнь в Атенео течет размеренно: месса рано утром, уроки, перерыв на завтрак, опять уроки, обед, приготовление уроков, ужин, молитва, сон. У Пепе своя комната в общежитии, но туда разрешается входить только один раз днем после обеда и после молитвы — для сна. Остальное время ученики проводят в обществе друг друга и под неусыпным надзором наставников, от которых ничего не скроешь: они замечают любое

проявление неудовольствия, самое незначительное отклонение от правил. И тут же «влезает в душу»: не оскорбляют, не ругают, уж тем более не секут, но подробно, не жалея времени, объясняют, как должен вести себя добрый католик, особенно будущий иезуит. На юные души это действует неотразимо, на Рисаля тоже, о чем свидетельствуют его записи: «Я горд сообщить тебе, читатель, что как человек, как ученик и как христианин я достойно закончил этот год».

Судя по записям и по позднейшим воспоминаниям, Рисаль считает время учебы у иезуитов самым счастливым временем своей жизни. Этому способствует и увлечение поэзией, которому Рисаль отдается беззаветно. Он уже написал стихотворение «Моим сверстникам». Оно было создано по всем правилам тагальского стихосложения. Теперь, учась в Атенео, он сознательно отказывается от канонов народно-поэтического творчества и пробует свои силы в поэзии на испанском языке, по строгим канонам сложной и непривычной для него испанской поэтики. Но образная система народной поэзии уже проникла в его душу, оказала влияние на его поэтическое «я», и устранить это влияние невозможно. Тем не менее Рисаль ставит перед собой именно такую задачу.

У него, как и у многих других илюстрада, появляется стремление стать неотличимым от чистокровных испанцев, доказать, что филиппинцы ни в чем им не уступают. Здесь еще нет и речи о равноправии двух культур — испанской и филиппинской, о праве последней на существование. Задачу видят не в том, чтобы развивать исконную поэтическую традицию, а в том, чтобы сравняться с колонизатором на его «литературной территории». Такое умонастроение было достаточно типичным: для поднимающейся интеллигенции колониальных стран. Лишь много лет спустя Рисаль — первым на Филиппинах — поймет: задача состоит не в том, чтобы доказать свою неотличимость от колонизаторов, а в том, чтобы утвердить свою самостоятельность, самобытность.

А пока талантливый ученик иезуитов пробует свои силы в испанской поэзии. Это вовсе не просто: мало научиться рифмовать стихи, соблюдать размер по испанским правилам, надо проникнуть в «душу» испанской поэзии, освоить богатейшую литературную традицию, понять ее поэтическую прелесть и научиться выражать эту прелесть самому.

В этом Рисалю помогает опытный наставник — иезуит Франсиско де Паула Санчес, хотя ему всего 26 лет^[6]. Рисаль отзывается о нем с неизменным уважением: «Наш наставник был образцом честного и сердечного отношения к делу, и больше всего его радовали успехи учеников. Благодаря его рвению я, едва лепетавший самые простые фразы

на испанском, через короткое время уже успешно писал на нем». Санчес особенно поощряет увлечение Рисаля поэзией, искусно направляя его перо.

Однако Санчес остается достойным иезуитом и определяет тематику стихотворных упражнений Рисаля, исходя из потребностей религиозного воспитания. Поэтому первые стихотворные опыты Рисаля относятся к жанру, который издавна сложился в Испании и назывался «ангелическая поэзия», то есть поэзия на религиозные темы: прославление Христа, девы Марии, святых католической церкви.

Но «хороший католик — непременно хороший испанец, а хороший испанец — непременно хороший католик», наставляет его падре Санчес. Раз ты хороший католик, докажи, что ты и хороший испанец. И Рисаль послушно прославляет в стихах величие Испании, эпоху Реконквисты, открытие Америки, подвиг Магеллана... Этому последнему Рисаль посвящает стихотворение «Отплытие. Гимн флоту Магеллана» и пишет о нем и обо всех испанцах восторженно: «Нашей Испании *Возлюбленные дети*, Храбрые солдаты *Отчего дома!* *Увенчайте славой* Нашу Испанию *В плавании* В неведомых морях!» Обратим внимание на неоднократно встречающиеся слова «Наша Испания» — Рисаль считает ее своей страной, гордится причастностью к великому свершению — первому кругосветному путешествию, причем это гордость за причастность не к «открываемым» (филиппинцам), а к «открывателям» (испанцам).

Конечно, отроческие и юношеские стихотворения Рисаля еще грешат ученичеством, в них сказывается некоторая натянутость, вычурность, искусственность: он старательно копирует античные и испанские образцы. Но кое-где в них уже проступают окрепшие позднее особенности его стиля: нежность, изящество, тщательность отделки, убедительность и жизненность. Переход на испанский язык не означал окончательного разрыва с родной традицией: Рисаль закладывает основы испаноязычной филиппинской поэзии. Филиппинская подоснова еще не вполне проявляется в отроческих и юношеских стихах, но ведь и сам он пока еще не вполне сложился как поэт.

Франсиско де Паула Санчес поощряет увлечение Рисаля поэзией. Но не все отцы-иезуиты столь дальновидны. «Падре Вилаклара, — пишет Рисаль, — потребовал, чтобы я покинул общество муз и окончательно распростился с ними... Но в свободное время я продолжал говорить на прекрасном языке Олимпа и совершенствовал его под руководством отца Санчеса. Общество муз столь приятно, что, вкусив его сладость, я не мог себе представить, как юное сердце может покинуть его. «Что из того, — говорил я себе, — что бедность — непременно спутница муз? Есть ли что-

нибудь прекраснее поэзии и страшнее сердец, окаменевших в прозаической повседневности?» Вот как я думал тогда!»

Правда, не одна поэзия увлекает Рисаля. «Бесстрастная, суровая философия, проникающая в суть вещей, — пишет Рисаль, — тоже привлекала меня — неповторимо прекрасная, играющая чудесами природы, дышащая величием и нежностью». И еще физика, «приподнимающая вуаль, покрывающую столь многое, открыла мне величественную сцену, на которой идет божественная драма жизни». Заметим, что о «бесстрастной и суровой философии» и физике Рисаль пишет как поэт.

И по всем дисциплинам первые места, отличные оценки. «В конце семестра я получил еще пять медалей благодаря усердию моих наставников и своему собственному», — вскользь отмечает Рисаль.

Но успехи в учебе не могут отвлечь юного Рисаля от горестных мыслей: его мать все еще в тюрьме, и чудовищная несправедливость болью отдается в сердце. Всякий раз, отправляясь домой на каникулы, он навещает ее в скорбном узилище. В одно из таких посещений, пишет он, «я, как новый Иосиф, истолковав ее сон, предсказал, что ее освободят через три месяца, и предсказание это сбылось». Это первое упоминание о склонности Рисаля к пророчествам, которыми он, надо сказать, злоупотребляет в дневниках, письмах, статьях и даже в художественных произведениях.

Будучи натурой несколько экзальтированной (но едва ли в большей степени, чем большинство его соотечественников), Рисаль любит приоткрывать завесу будущего и склонен верить в свой пророческий дар. Предсказания Рисаля, записывать которые он великий охотник, привели бы в восхищение любого парапсихолога. Можно отметить предсказания измены невесты и особенно обстоятельств собственной смерти, сбывшиеся с поразительной точностью. Но если взять его пророчества в целом, то сбывшихся среди них окажется не так много. Ни о каком пророческом даре Рисаля говорить не приходится, можно лишь говорить о психологической склонности к пророчеству, которая кое-что объясняет в его поведении.

Мать Рисаля выпущена на свободу — но не потому, что власти восстановили поправленную справедливость, а потому, что алькальда вдруг одолели угрызения совести. Пепе не может не задать себе вопрос: а если бы этого не произошло, что тогда? Мать так и осталась бы в тюрьме? Пока он еще верит, что семейная трагедия — отклонение от нормы, но в душе уже зарождаются сомнения, по крайней мере, ему ясно, что благополучие филиппинцев целиком в руках испанцев.

В двенадцать лет такие мысли не могут занимать неотступно. Преуспев под опытным руководством Франсиско де Паулы Санчеса в испанском языке, Рисаль только теперь открывает для себя сокровища европейской литературы и все каникулы проводит в семейной библиотеке. Судя по «Воспоминаниям», наибольшее впечатление производит на него «Граф Монте-Кристо» («Вообразите себе двенадцатилетнего мальчика, читающего «Графа Монте-Кристо», наслаждающегося насыщенным диалогом и восхищающегося его красотами, следящего за мезьтв героя!»). Запоем поглощаются и другие книги Дюма, в особенности «Три мушкетера». Поклонники героев Дюма в Атенео образуют тесный кружок «мушкетеров», девиз которых — «один за всех и все за одного». Там были свои Атос, Портос и Арамис, были другие персонажи бессмертного романа Дюма. Интересно, что Пепе отводится роль капитана де Тревиля (годы спустя друзья все еще будут величать его «де Тревилем»). Его слово — закон для «мушкетеров», его авторитет непререкаем, а обширные знания и чувство справедливости автоматически ставят его во главе тесной группы друзей. Ему поверяют сердечные тайны, первые стихи, просят совета по всем вопросам. Так было в годы учебы, так будет и позднее, когда Рисаль встанет во главе борьбы за «филиппинское дело» Сам он отнюдь не стремится быть первым, он совершенно лишен тщеславия, но как раз поэтому соратники всегда и во всем признают в нем вождя.

Все события тех лет — учебу, увлечение поэзией и европейской литературой, страдания, вызванные арестом матери, руководство «мушкетерами» и т. д. — Рисаль воспринимает как положено доброму католику и, оценивая свое отношение к любому факту, задается вопросом: «По-христиански ли это?» Умелая иезуитская постановка воспитания сделала из юного Рисаля верного сына католической церкви. Сомневаться в искренности его религиозных чувств не приходится. О своем последнем дне в Атенео он пишет так: «Я не спал до утра, а когда стало светать, я оделся и горячо молился в часовне. Я вручил свою жизнь деве, чтобы она оберегала меня, когда я вступлю в мир». На заботу наставников Рисаль отвечает пылкой привязанностью. Но тем решительнее будет уже недалекий разрыв с католицизмом.

Летом 1877 года, как и за пять лет до того, собирается семейный совет для обсуждения вопроса: где должен учиться Пепе? Донья Теодора, уже освобожденная из заключения, категорически против продолжения учебы.

— Не посылай его больше в Манилу, — говорит она мужу. — Он знает достаточно, если узнает больше — ему не сносить головы.

Дон Франсиско по обыкновению молчит, но на сей раз его молчание не

означает согласия. Зато Пасиано с жаром доказывает, что Пепе просто необходимо учиться, — ведь он так талантлив, он может многое сделать для Филиппин... Мнение мужчин на этот раз берет верх. И снова Пасиано, некогда отвозивший младшего брата в Биньян, а потом в Атенео, везет его в Манилу...

Сам Пасиано расстался с надеждой завершить образование. Мстительные монахи, не простившие ему связи с Бургосом, неизменно проваливают его на всех экзаменах, хотя, по единодушному отзыву современников, Пасиано по способностям превосходит всех своих сокурсников. Монахи не хотят видеть его в Маниле, где еще остаются члены Комитета реформаторов, — пусть себе прозябает на сахарных плантациях Каламбы под бдительным надзором все тех же отцов-доминиканцев. Пасиано смиряется с судьбой, но не отказывается от своих взглядов. Возможно, братья заключают соглашение о своеобразном «разделении труда»: Хосе достаются учеба и борьба за дело Филиппин, Пасиано — ведение хозяйства и забота о родителях, священнойшая обязанность для всякого филиппинца^[7]. Несомненно одно — Пасиано принимает свою судьбу не без горечи, спустя несколько лет он напишет младшему брату: «Приходится жить мечтами, потому что действительность убивает. Я говорю это потому, что сам когда-то тешил себя иллюзиями, а теперь занимаюсь хозяйством, а не теми прекрасными вещами, о которых мечтал». Пасиано и позднее будет разделять взгляды Хосе, но далеко не всегда и не раз упрекнет младшего брата в неблагодарности, и каждый упрек болью отзовется в сердце Хосе.

Итак, Хосе принят в университет святого Фомы. Преподавание здесь поставлено из рук вон плохо. Доминиканцы не обладают ни дальновидностью иезуитов, ни их изворотливостью. Их орден владеет обширными поместьями, дающими немалые доходы, и все их усилия направлены на увеличение этих доходов, а не на привлечение симпатий филиппинцев, они для них — объект феодальной эксплуатации, и чем меньше они образованны, тем лучше для благочестивых отцов. Давние соперники иезуитов, они придерживаются прямо противоположных взглядов на преподавание. Да и трудно преподавать в тропической влажной духоте, куда проще лежать в гамаке и, ничего не делая, получать долю выращенного арендаторами урожая...

А если уж приходится преподавать, то без охоты, без интереса и уж, конечно, без всяких опасных новшеств. В университете святого Фомы господствует мертвящая зубрежка, всякое проявление самостоятельной мысли наталкивается на открытую враждебность. Контраст с постановкой

дела у иезуитов разителен.

Хуже всего то, что профессора — весьма невежественные — грубо обращаются со студентами-индио: считают их людьми второго сорта. А между тем филиппинцы весьма чувствительны: традиционное осмысление ценности человека в зависимости от статуса, занимаемого им в родственном коллективе, делает их легко уязвимыми ко всякого рода критическим замечаниям. Обиду, грубое слово они переживают куда болезненнее, чем даже побои (тут берет верх просто грубая сила). Но какое дело до филиппинской души измученным жарой доминиканцам? Они дают волю языку («болван», «балбес», «скотина» — их любимые словечки), а поняв уязвимость филиппинцев, стараются задеть их побольнее... Неудивительно, что позднее, во время национально-освободительной революции 1896 года, всем испанцам — а монахам в особенности — на себе придется испытать ненависть филиппинцев.

Рисалья, любимца и надежду иезуитов, доминиканцы, их давние соперники, встречают неприязненно. Он сполна получает свою долю оскорблений. И, как всякий филиппинец, не забывает их. Учиться в таких условиях не по нему. Он не чувствует никакой тяги к занятиям, даже не удосуживается приобрести учебники. Его выручают природные способности, и он успешно сдает положенные экзамены, хотя и не всегда на «отлично». Иезуиты со свойственной им цепкостью не забывают любимого ученика, часто пишут ему: «Во имя бога, не забывай братство^[8], не пренебрегай причастием, оно — лучшее средство от гибели, надежное оружие против тысяч соблазнов, которые уготовит тебе ловец душ. Если бы ты знал, как часто мы вспоминаем тебя!»

И Рисаль не забывает. Сердцем он со своими любимыми наставниками — и не только сердцем. Небрежное отношение к занятиям оставляет ему много свободного времени, и он посвящает его тому, что считает своим главным призванием, — поэзии. В Атенео активно действуют кружки поклонников муз и наук под пышными названиями: «Академия испанской литературы» и «Академия философско-естественных наук». Члены кружков без ложной скромности именуют себя «академиками». Рисаль — «академик-секретарь» и ведет «акты академии». Сам ректор Атенео выступает перед «академиками», и, естественно, основное внимание уделяется религиозным вопросам. «Отец Пабло Рамон, — гласят «акты академии», написанные рукой Рисалья, — говорил о философии от древнейших времен до наших дней. Он говорил о тайне откровения. Он показывал, как бог направляет и просвещает человека, чтобы сделать его более совершенным».

Но особенно Рисаль отдыхает душой на заседании «Академии испанской литературы» и выносит на суд «академиков» свои стихотворения. На первых порах это произведения на темы испанской истории. Но в 1879 году Рисаль представляет стихотворение «Образованием славится родина». О религии здесь он не говорит ни слова и поет вдохновенный гимн образованию, которое ценно само по себе, оно «поднимает родину на высоту», оно есть «само дыхание жизни», оно «смягчает варварские нации *И из дикарей делает чемпионов*», оно — *благотворный бальзам, и если оно проникнет повсюду, увидят правители и господ* благородный народ».

Здесь Рисаль впервые высказывает мысль, что только образование, просвещение (а не религия, как подобало бы сказать верному ученику иезуитов) несет освобождение народу. Мысль эта в конечном счете восходит к просветителям и сводится к вере в силу Разума, свет которого надо донести до всех, и тогда наступит всеобщее благоденствие. Только образование, считает Рисаль, возвышает людей, обеспечивает господство законности, уничтожает произвол. Будучи типичным иллюстратором, Рисаль твердо верит, что стремление к прогрессу — неотъемлемое «естественное право» индивидов и народов, а сущность и источник общественного прогресса для него сводятся к просвещению, к совершенствованию личности. Здесь он выступает как провозвестник новой морали, буржуазной по своему классовому характеру. Отсюда его позднейшие требования реформ в сфере образования, преувеличение роли просвещения. Естественно, взгляды эти ограничены и не свидетельствуют о понимании подлинных движущих сил истории. Но они были присущи не только Рисалю и не только филиппинской интеллигенции — в то время их пропагандируют во многих странах Востока.

Нельзя не заметить, что в стихотворении Рисаль все еще разделяет убеждение в отсталости и даже дикости филиппинцев, — это явно они отнесены к «дикарям» и к «варварским нациям», это им предстоит подняться «на высоту» при помощи образования. И все это только для того, чтобы «правители и господа» (то есть испанцы) увидели, что и они достойны человеческого обращения. Здесь еще нет понимания отдельности исторических судеб Испании и Филиппин. Мысль о том, что филиппинцы не испанцы, при всей ее сегодняшней очевидности в свое время прозвучит как откровение. Впервые ее выскажет именно Рисаль, в чем его великая заслуга, но выскажет он ее вопреки мнению некоторых рисалеведов не в этом стихотворении.

Рисаль как поэт чувствует в себе такие силы, что в том же году решает

не ограничиваться узким кружком любителей поэзии в Атенео, а отдать свои творения на суд широкой читающей публики. В Маниле существует «Лицей искусства и литературы» — общество, объединяющее любителей музыки, живописи, скульптуры и изящной словесности. Тон в нем задают испанцы, но иногда к участию в конкурсах допускаются «туземцы и метисы». Рисаль, одержимый идеей доказать равенство филиппинцев с испанцами, представляет на конкурс стихотворение «Филиппинской молодежи». Стихотворение представлено под девизом «Расти, о робкий цветок!» и подписано: «туземец». Это первое стихотворение Рисаля, вошедшее в золотой фонд испаноязычной филиппинской поэзии. Его достоинства высоко оценивает жюри конкурса, присудившее первую премию — серебряное перо — «туземцу». Стихотворение обращено к молодежи, призванной принести идеи разума родине:

*Пусть вдохновенье тебя осенит,
Девственный ум твой пробудит.
Верю я — все это будет.
Подвиг твой родина не позабудет!*

Рисаль призывает молодежь искать славу в искусствах: поэзии, музыке, ваянии — и тем возвысить Филиппины. Причем это возвышение все еще мыслится им в рамках испанского культурного мира: успехи в деле просвещения нужны исключительно для того, чтобы добиться почетного места в этом мире, ибо он — тот мегасоциум, в котором, по мысли Рисаля, должны обретаться Филиппины.

Итак, Испания — все еще «мать-Испания». Но если это так, чему тогда уподобить Филиппины? Только ее дочери, юной девушке. Начиная с этого стихотворения родная страна в филиппинской поэзии уподобляется прекрасной невесте. Не родина-мать, как во многих странах, но родина — юная и прекрасная невеста — вот образ, введенный в филиппинскую поэзию Рисалем и сохранившийся в ней до сих пор. Испания давно уже не воспринимается как любящая мать (этому способствовали позднейшие работы самого Рисаля), но возникший в сопоставлении с ней образ «прекрасных Филиппин», «нежной невесты» так и закрепился в художественной традиции Филиппин. Родина, страна, нация — для филиппинцев эти понятия сложились совсем недавно, при жизни Рисаля, это он наполнил их сохранившимся до наших дней содержанием; в них еще чувствуется юность, свежесть: отсюда постоянное в филиппинской поэзии

(и даже в политическом лексиконе) уподобление родины возлюбленной, честь которой надо защищать, как защищают честь невесты.

Следует остановиться на значении слова «родина» (*patria*) в словоупотреблении Рисаля. На первый взгляд оно относится исключительно к Филиппинам, но дело тут гораздо сложнее. В испанском языке слово *patria* имеет два значения: родина в широком смысле, как родная страна (для ее обозначения испанцы пользуются также словосочетанием *patria grande* — «большая родина»), и родина как место рождения — деревня, город, какое-то ограниченное пространство не больше провинции (ее испанцы обозначают словосочетанием *patria chica* — «малая родина»)^[9]. Для андалусца, галисийца, каталонца Андалусия, Галисия, Каталония — малая родина, вся Испания — большая родина. Так и Рисаль все еще считает Филиппины своей малой родиной, большой родиной для него по-прежнему остается Испания.

Но и это большой шаг вперед: ведь испанцы, и прежде всего монахи, вообще отказывались видеть в «индейцах» людей. Призыв Рисаля к молодежи услышан, стихотворение сразу выдвигает его в число известных в Маниле лиц. И естественно, настораживает доминиканцев: при всей их косности они отлично понимают, что юный поэт зовет молодежь вперед, непростительно умалчивая о религии. Словом, он дает ответ на вопрос: «Что делать дальше?», вставший после казни Гомеса, Бургоса и Саморы, и ответ гласит: «Учиться и учить других, служить Филиппинам». Это уже программа действий, пусть пока нечетко сформулированная (ибо неясно, во имя чего служить), и в ходе осуществления этой программы откроются новые горизонты, будут получены более радикальные решения.

Примечательно, что все стихотворения этого периода насквозь риторичны, они представляют собой пламенный призыв, который должен увлечь, а не просто создать определенное душевное настроение, как в «спокойной», элегической лирике. Можно даже сказать, что они — ритмизированная и рифмованная ораторская речь; они стоят где-то на грани собственно поэзии и ораторского искусства — грани, которая в филиппинской культурной традиции далеко не так ощутима, как в европейской (хотя в античности эта грань тоже была выражена нечетко). Цель поэзии Рисаля — не успокаивать сердца, но побуждать к действию.

Усиленные занятия поэзией оставляют мало времени для учебы. Не только поэзия отвлекает Рисаля от учебы, но и дела сердечные. К этому времени относятся его записи о первой любви. Тут надо иметь в виду, что высшее филиппинское общество, к которому принадлежит семейство Меркадо, строгостью нравов чуть ли не превосходит викторианскую

Англию. Но всякая строгость такого рода имеет свою оборотную сторону. На Филиппинах строгость нравов причудливо сочетается с традиционной доиспанской половой моралью. С одной стороны, законные, основанные на церковном браке отношения мужа и жены полагаются священными. Брак — дело весьма серьезное, он нерасторжим. Его заключению предшествует длительный период ухаживания, причем девушка нигде не может появиться без дуэньи и уж никоим образом не может остаться с избранником сердца наедине. Такой кодекс поведения сложился под влиянием испанских понятий о чести и идеале рыцарской любви^[10].

Рисаль пишет воспоминания только о своем первом увлечении — в будущем он уже не будет доверять бумаге свои чувства... У одного из «мушкетеров», Мариано Катигбака, есть сестра, которая учится вместе с сестрой Рисаля, Олимпией. Естественно, «капитан де Тревиль» и его верный «мушкетер» по воскресеньям вместе посещают «Колехио де ла Конкордиа», где живут в пансионате девушки. Взаимное влечение Хосе и Сегунды Катигбак, судя по записям Рисаля, возникает сразу же. Но жесткие требования света, к которому принадлежат молодые люди, позволяют им только обмениваться взглядами да внешне незначительными словами, получающими необычайную смысловую нагрузку, понятную только влюбленным. При первой встрече Хосе лишь вздыхает, краснеет и бледнеет, а его избранница украдкой бросает на него взоры. «Она не была красивейшей из женщин, — пишет Рисаль, — но я не встречал более очаровательной и привлекательной. Меня попросили нарисовать ее портрет, я отнекивался, ибо был смущен. В конце концов меня уговорили, и я изобразил ее. Потом я сел играть в шахматы, но играл невнимательно и проиграл — то ли оттого, что она отвлекала меня, то ли от смущения. Она то и дело поглядывала на меня, и я всякий раз краснел. Потом заговорили о романах, о литературе, и здесь я сумел поддержать разговор, не роняя себя в ее глазах».

Встречи продолжают каждое воскресенье — Рисаль и Мариано Катигбак исправно появляются в Ла Конкордии, но всегда на людях. Апофеоз чувств здесь выражается в том, что Сегунда Катигбак преподносит Рисалю сделанную ею бумажную розу, но все должно выглядеть пристойно, а потому точно такую же розу она преподносит и брату. В обществе даже такие невинные на первый взгляд поступки легко расшифровываются: «Тем временем распространились слухи и сплетни о нашей любви как о деле несомненном. Везде я только и слышал разговоры о нашей любви, и, сказать правду, мы любили друг друга, хотя так и не объяснились, — но мы понимали взгляды...» Однажды дело чуть не

доходит до объяснения: Рисаль заболевает и по выздоровлении первым делом навещает Сегунду. И здесь — в неизменном присутствии теток — между ними происходит такой разговор:

«— Вы были больны? — спросила она меня своим мелодичным голосом.

— Да, — ответил я, — но теперь я здоров благодаря вашей...

— О, — перебила она меня, — вчера я молилась за вас, я боялась за вас!

— Спасибо, — ответил я. — Но тогда я снова хочу заболеть — ведь только так вы можете вспомнить обо мне. Более того, даже смерть мне желанна.

— Но почему?! — воскликнула она. — Разве вы хотите умереть? Мне очень жаль...

И мы умолкли».

Родители Сегунды не возражают против брака дочери с Рисалем. Меркадо — через Олимпию — тоже в курсе дела и тоже считают Сегунду вполне подходящей партией для сына. Но теперь нужно определенное выражение намерений, и обе семьи ждут, когда Хосе объяснится. Сегунда отправляется на каникулы, путь ее лежит через Каламбу. Рисаль приезжает домой за день до ее отъезда из Манилы. Сестры и мать дружелюбно вышучивают его и желают успеха в таком серьезном деле. Он должен сделать официальное предложение, должен испросить согласие родителей Сегунды. Никто не видит никаких препятствий — дело фактически решено. Приходит известие, что семейство Катигбак проследует не через Каламбу, а через Биньян. Рисаль седлает лошадь и галопом мчится в Биньян. А там происходит неожиданное — дело кончается ничем, Рисаль так и не произносит ожидаемых слов. Вот как он сам описывает встречу с семейством Катигбак:

«Вдруг я услышал шум и поднял голову. Я увидел коляски и лошадей в облаке пыли. Сердце мое бешено забилося, я, должно быть, побледнел. Потом вернулся к своей лошади и стал ждать.

В первой коляске ехал отец С. и еще один сеньор. Ее отец пригласил меня в свой город, я поблагодарил. О, как бы я хотел поехать с ним! В следующем экипаже ехала С., ее сестра и другие девушки из Ла Конкордии. Улыбаясь, она поклонилась мне и помахала платочком, а я только снял шляпу и ничего не сказал. Увы! Такео мной всегда бывает в решительные минуты жизни. Язык мой, всегда болтливый, немеет, когда сердце разрывается от чувств... Я вскочил в седло, и в это время подъехал третий экипаж — в нем сидел мой друг («мушкетер» Мариано Катигбак. — *И. П.*).

Экипаж остановился, и он тоже пригласил меня в свой город. Я уже натянул поводья и собрался следовать за ними — у меня была хорошая лошадь. Но в критические минуты жизни я всегда поступал вопреки своим подлинным интересам, меня всегда влекли разные цели и мучили сомнения. Я пришпорил лошадь и свернул на другую дорогу, восклицая: «Вот как это кончилось!» И сколько правды было в этих словах! Кончилась моя юношеская доверчивая любовь!» Таков конец любви шестнадцатилетнего Рисаля к четырнадцатилетней Сегунде Катигбак, описанной им в двадцать лет. В «Воспоминаниях» еще чувствуется некоторая поза, восклицательность и декламативность, стремление писать о любви и о своих чувствах «как положено». Но есть уже и серьезная попытка взглянуть на себя со стороны. И отчетливое понимание собственного «влечения к разным целям», стремления «поступать вопреки своим подлинным интересам». Рисаль точно и откровенно описывает особенности своего психического склада, противоречивость своего характера, борение в самом себе противоположных тенденций, импульсивное стремление поступать вопреки собственному благу. Так это было в шестнадцать лет, так это будет и в зрелом возрасте.

Эпизод на пыльной дороге из Биньяна в Липу — далеко не единственный в его жизни. Но больше ни разу он не оставит записи о своих чувствах — в дальнейшем судить о них придется на основании свидетельств современников.

Не был этот эпизод и самым запомнившимся ему. Другие события скоро вытеснят память о Сегунде Катигбак, события мрачные и нерадостные, заставившие его по-иному взглянуть на окружающее. Уже во время описанного выше визита в отчий дом мать не узнала его, потому что начала слепнуть, — годы заключения не прошли для доньи Теодоры даром. Но не только это угнетает Рисаля. Кроме того, то монахи-доминиканцы, чьи земли арендуют Меркадо, произвольно повысили на одну треть арендную плату — канон, что больно ударило по благосостоянию семьи. Как ни высоко их положение, как ни велико уважение соотечественников — все это не дает гарантии от произвола испанцев, особенно монахов, они могут по своей прихоти довести до разорения самого богатого филиппинца.

Самолюбивый и чувствительный к мнению других, юноша необычайно обостренно воспринимает все, что может задеть его. Его авторитет непререкаем для однокурсников, признающих в нем «капитана де Тревиля», его уважают все жители Каламбы как достойного отпрыска почтенного семейства, ценят (по крайней мере, всем своим поведением дают понять, что ценят) наставники-иезуиты, высоко отзывающиеся о его

поэтическом даре. Из такого отношения к нему складывается образ самого себя как человека, имеющего право на уважение других. И вдруг в один миг вся эта картина оказывается разрушенной.

Во время каникул в отчем доме Рисаль часто совершает экскурсии по окрестностям, осуществляет мечту детства — поднимается на гору Макилинг. И вот, возвращаясь уже затемно из этого похода, усталый Рисаль идет домой, погруженный в собственные думы, полный сознания, что день прошел даром. Из этих дум его выводит грубый оклик: «Стой!» Его догоняет лейтенант гражданской гвардии, с которым он только что разминулся и, не заметив его в неверном свете луны, не остановился и не снял шляпу. А между тем все «индейцы» при встрече с испанцем, занимающим официальный пост, обязаны отдать ему поклон. Лейтенант разъярен, в руках у него плеть, и он пускает ее в ход. Легкая рубашка тут же рвется, свистящие удары плети рассекают кожу на спине. От вопросов Рисаля «в чем дело?» лейтенант свирепеет еще больше и наконец, устав, ведет юношу в тюрьму, так и не снисходя до объяснений. Избитый, окровавленный Рисаль проводит ночь в тюрьме — без пищи, без воды, без всякой медицинской помощи. Наутро выясняется, что пленник — из почтенного семейства, и его отпускают, но и тут не снисходят ни до объяснений, ни до извинений — просто открывают дверь и жестом велют убираться.

Оскорбленный до глубины души юноша тут же едет в Манилу и требует встречи с генерал-губернатором. Во дворце его холодно выслушивают и тоже велют убираться, но на сей раз присовокупив несколько слов: «Забудь об этой истории и не смей никому болтать, не то живо отправишься на самый отдаленный остров». Но такое забыть нельзя, и десять лет спустя Рисаль напишет: «Я стал жертвой зверского нападения, а когда потребовал справедливости — ибо верил в нее — мне ответили угрозами».

Для романтически настроенного молодого человека такого удара достаточно, чтобы поколебать любую веру. Но судьба словно не довольствуется этим и преподносит Рисалю еще один урок. В 1880 году празднуется 333-летие со дня рождения Сервантеса, и лицей объявляет конкурс на лучшее произведение об авторе бессмертного «Дон Кихота». В конкурсе участвуют не только «метисы и туземцы» (как то было в 1879 году, когда Рисаль получил серебряное перо), но и креолы, то есть испанцы, родившиеся на Филиппинах, и даже пенинсуларес — «испанцы с полуострова», то есть родившиеся в Испании. Рисаль представляет на конкурс пьесу «Совет богов».

Содержание ее таково: обитатели Олимпа собрались под председательством Юпитера, чтобы решить, кто из поэтов достоин награды «за изящество слога и прославление добродетелей» (спор олимпийских богов о земных делах — характерный прием поэзии XVIII века, его не чуждался и Гете). Юнона, супруга Юпитера, предложила Гомера, Венера — Вергилия. Между богинями вспыхнула ссора, и тогда Минерва предложила Сервантеса. Последовала дискуссия, в результате которой было решено взвесить достоинства творений всех трех поэтов на весах Правосудия. Оказалось, что достоинства «Илиады», «Энеиды» и «Дон Кихота» равны.

Это юношеское произведение Рисаля можно было бы отнести к многочисленным писаниям, которые, по меткому выражению, только увеличивают «терзания господина нашего Дон Кихота». Но остановиться на нем необходимо, так как Рисаль излагает здесь свои взгляды на литературу, а прием, ему оказанный, повлиял на судьбу самого Рисаля.

Бессмертный роман Сервантеса может служить классическим примером того, как меняется восприятие героя в зависимости от времени, общественных условий, от особенностей национальной психологии читателей. Насмешка автора над своим героем несомненна (хотя есть и симпатия к нему), и в XVII–XVIII веках Дон Кихот считался отрицательным персонажем. Но в XIX веке — под воздействием романтизма — его стали воспринимать как олицетворение извечной коллизии между высокими стремлениями человека и прозаической повседневностью, между прекрасным идеалом и черствой действительностью. И такое романтическое восприятие не в силах поколебать самые неопровержимые доводы филологической науки, что, несомненно, свидетельствует о гениальности писателя, создавшего столь емкий образ.

На Филиппинах, как и во многих других странах Востока, литературе отводится «учительная роль». Ее первоочередная задача — исправление нравов, как говорят на Востоке, «выпрямление искривленного». Всякое литературное произведение, всякое сказание, всякое историческое предание ценно не столько своим эстетическим воздействием, сколько в первую очередь поучением о том, как надо жить. Для Рисаля, как и для всех филиппинцев, характерен акцент на дидактическом, морализирующем начале. Отсюда — ригоризм и дидактика, которые отчетливо проявляются в творчестве самого Рисаля и, естественно, усматриваются в творчестве других писателей, в том числе и Сервантеса.

Правда, комическая стихия романа не остается вне поля зрения Рисаля. Однако она для него не главное, скорее он воспринимает ее как

недостаток и старается как-то оправдать Сервантеса. («Он высмеивает рыцарство, но только потому, что оно уже не соответствовало его веку».) В Сервантесе Рисаль видит прежде всего «учителя жизни», своими произведениями рассеявшего «безумие» (под ним, очевидно, имеется в виду протестантство: в эти годы Рисаль еще был правоверным католиком и о расколе западной церкви пишет даже с некоторым ужасом: оно «направляется дьяволом»).

Пьеса с самого начала не рассчитана на постановку — она относится к жанру, который в Испании назывался «ученой драмой» и был чрезвычайно популярен в испанских университетах. Его цель — показать ученость автора, проявляющуюся в знании античного пантеона и мифологии, в торжественности и пышности стиля. Рисаль немало грешит этим в те годы, но торжественность и пышность считаются неотъемлемыми качествами «высокой» (то есть, по понятиям того времени, «подлинной») поэзии.

Прихотливость и вычурность стиля чрезвычайно импонируют судьям, и они единодушно присуждают автору «Совета богов» первую награду — золотое кольцо, на печатке которого выгравировано изображение Сервантеса. Напомним, однако, что на сей раз в конкурсе участвуют и чистокровные испанцы. Объявляется решение жюри, и в зале, как положено, раздаются аплодисменты. Рисаль встает, поднимается на сцену, чтобы получить награду. И все видят, что победитель — какой-то «индио». Годы спустя он с горечью вспоминает об этом событии: «Я участвовал под девизом в литературном конкурсе и, к несчастью, вышел победителем; я уже слышал бурю искренних аплодисментов, но, когда я встал, аплодисменты стихли, вместо них поднялись издевательские выкрики, оскорбления...»

Несомненно, что весь этот ряд позорных событий: жадность монахов, произвольно поднявших канон, избивание офицером гражданской гвардии и отказ в восстановлении справедливости, издеательства при получении награды — заставляет Рисаля по-иному взглянуть на роль испанцев на Филиппинах. Первоначальная вера в благотворность испанского господства на архипелаге не может не расшатываться, не может не встать вопрос: а что, если эти события суть не отклонения от нормы, а сама норма? Пока это лишь сомнения.

Но семя, брошенное в землю, уже ожидало своего часа. Жизнь продолжала свой бег. Надо выбирать специальность — это обязаны сделать все студенты второго курса. Выбор невелик: учиться теологии под руководством невежественных доминиканцев Хосе не хочет, остается право и медицина. Пасиано против юриспруденции: «Те, кто у нас выбирает

юридическую карьеру, — пишет он младшему брату, — берут гонорары за защиту той или иной стороны независимо от того, права она или нет, а это неизбежно приводит к столкновению с совестью; в то же время у нас мало медиков и людей искусства — здесь они процветают и живут мирно, что немаловажно в этом мире». Но искусство — не профессия, им на Филиппинах не проживешь, значит, остается медицина. К выбору именно медицины толкают и семейные обстоятельства: мать слепнет, надо ей помочь, надо стать глазным врачом. Это не выбор по влечению души (в письме к другу Рисаль пишет в это время: «Представь себе, я среди трупов и костей... а ведь я этого не переношу!»), но семейный долг, как всегда, превыше всего. И если Рисаль становится впоследствии блестящим офтальмологом, пользующимся мировой известностью, то это скорее проявление разносторонности его натуры, нежели осуществление призвания.

Изучение медицины требует серьезных занятий, и Рисаль погружается в учебники. На поэзию совсем не остается времени, тем более что он снова увлечен. Собственно, после Сегунды Катигбак сердце Рисаля несвободно. Сразу же после разрыва с нею он, как об этом свидетельствует дневник, познал плотскую любовь. По филиппинским понятиям, как уже говорилось, это вполне естественно — визиты к доступным женщинам просто не заслуживают упоминания, и в них нет ничего предосудительного. Подлинными чувствами, находящими отражение на страницах «Воспоминаний», считаются платонические увлечения многочисленными, как пишет сам Рисаль, «Долорес, Урсулами, Висентами и Маргаритами» из лучших семейств Манилы.

С ними он встречается перед входом в университет — напротив него находится церковь Санто Доминго, куда эти девицы приезжают в своих каретах, и если повезет, можно увидеть изящную ножку, когда юные красавицы, приподняв юбки, выходят из экипажей. Можно как бы нечаянно встретиться с ними в модных магазинах и незаметно обменяться записочками. Если представят семейству, можно зайти в гости и чинно играть в карты, пожимая под столом все ту же очаровательную ножку, а уходя, задержаться за углом дома под зарешеченным окном и обменяться там вздохами и несколькими фразами. По воскресеньям свет Манилы выезжает на набережную Малекбн: кареты неторопливо движутся по кругу, иногда останавливаются, знакомых молодых людей приглашают подняться в карету, и тогда — под неусыпным взором дуэньи — можно повздыхать рядом с возлюбленной, словно невзначай коснуться ее руки...

Таких увлечений у Рисаля много. Но в начале 1880 года зарождается

его любовь к двоюродной сестре Леонор Ривере, и «Урсулы, Висенты и Маргариты» исчезают со страниц дневника. Хосе 19 лет, Леонор — 14. В тропиках женщины созревают рано, и Леонор уже считается «на выданье». Родственные связи не препятствуют влюбленным. Напротив, в филиппинском обществе, ориентированном на семейный коллектив, браки между родственниками, в том числе и между двоюродными братьями и сестрами (кроскузенные браки), поощряются. Ибо брат в семейный коллектив человека со стороны небезопасно (неизвестно, приживется ли новичок, не нарушит ли традиций семьи), тогда как при браке двоюродных брата и сестры все происходит в «своем кругу» и, что немаловажно для богатых людей, состояние не уходит из семьи в виде доли или приданого. Поэтому Антонио и Елизавета Ривера, равно как Франсиско и Теодора Меркадо, всячески поощряют отношения юных влюбленных — разумеется, при должном соблюдении жестких требований филиппинского высшего общества.

Любовь к Леонор Ривере Рисаль пронесет через всю жизнь, она вдохновит его на создание замечательных произведений. Но документальных свидетельств их отношений очень мало. Долгие годы между ними шла оживленная переписка, в 1891 году они по взаимному согласию уничтожили письма друг к другу. Сохранились только два ее письма и одно письмо слепнущей матери Рисаля, написанное рукой Леонор.

Влюбленные пользуются нехитрым шифром, в котором одна буква заменяет другую (им же Рисаль иногда пишет дневник), имя Леонор в зашифрованном виде передается как Таимис — так Хосе называет свою возлюбленную, так и она подписывает свои послания^[11].

Дон Антонио Ривера, отец Леонор, в восторге от будущего зятя. Человек образованный, придерживающийся передовых взглядов, он отлично понимает, что Рисаль может сыграть немаловажную роль в деле достижения Филиппинами высокого статуса в рамках испанского мира. Порукой тому его блестящие литературные произведения. Недаром Хосе так ценят отцы-иезуиты, возлагают на него большие надежды. Донья Елизавета Ривера тоже ничего не имеет против брака дочери с Хосе, но она более сдержанна: главное, чтобы он обеспечил счастье дочери, пока все вроде бы говорит за то, что он будет хорошим мужем Леонор. Но она настороженно относится к разговорам о будущей деятельности Хосе, которые ведет дон Антонио. А дон Антонио все чаще заводит речь о том, что на Филиппинах Рисалю негде развернуться. Разве отпрыски богатых семейств не едут учиться в Испанию, чтобы получить европейское

образование? А разве Хосе не подает большие надежды? И неужели такие состоятельные семьи, как Меркадо и Ривера, не смогут содержать Хосе во время учебы? Все это так, но Меркадо смотрят по-иному. У них только два сына; если Хосе уедет, останется один. А если что-нибудь случится — кто будет заботиться о них в старости, кто устроит судьбу дочерей? Нет, Хосе не следует никуда ехать, ему надо закончить курс, начать практиковать и остаться жить на Филиппинах, покая старость родителей.

Хосе, Пасиано и дон Антонио думают по-другому. Хосе испытывает явное отвращение к учебе в университете и не скрывает этого, говорит, что там он ничему не научится. Пасиано и дон Антонио не могут не признать его правоты. Дело не только в учебе. Случай с вручением награды за «Совет богов» ясно показывает, что на Филиппинах Хосе не добиться признания как литератору, и за два года он не написал почти ни строчки. А между тем все прогрессивно мыслящие филиппинцы понимают, что наступает время, когда надо отстаивать «филиппинское дело», надо доказать, что филиппинцы достойны уважения и должны быть уравнены в правах с испанцами. Доказать это можно только литературной и публицистической деятельностью, и кто сделает это лучше, чем Хосе? Если задача состоит в том, чтобы «убедить испанцев», то ведь ясно, что убеждать их надо в самой Испании, там, где находится центр власти. Пасиано и дон Антонио считают, что Хосе надо ехать в Испанию и там отстаивать «филиппинское дело». Но им известно, что дон Франсиско и донья Теодора никогда не согласятся на отъезд младшего сына. И тогда дядя и два племянника решают обойтись без согласия родителей.

В многочисленных биографиях Рисаля утверждается, что его деятельность вызвала подозрения и он был вынужден тайно покинуть Филиппины, чтобы избежать преследования властей. Знакомство с документами не дает оснований для такого вывода. Подозрения, безусловно, были, поскольку всякий умный филиппинец считался потенциальным врагом колониального режима. Не надо забывать, что Рисаль — любимец и надежда иезуитов, а им не впервой вступать в конфликт со светскими властями и другими орденами, они не дали бы в обиду Рисаля, о чем заявляют неоднократно. Отцы-иезуиты проиграют больше, если бросят Рисаля на произвол судьбы. Источники свидетельствуют, что Рисаль совершенно открыто прощается со своими знакомыми, запасается рекомендательными письмами.

И все же Рисаль действительно уезжает тайно, но тайно только от родителей. Как мы уже не раз говорили, средоточием всей жизни филиппинцев является семья, сохранение и поддержание единства которой

есть первейший долг каждого. Закон в семье — воля родителей, особенно отца. Однако, как и в любой другой ячейке человеческого общества, неукоснительное выполнение жестко сформулированных требований неизбежно приводило бы к срывам. Нормированное отклонение от нормы, вслух осуждаемое, но молчаливо признаваемое право на послушание существует и в филиппинской семье. Обычно оно проявляется при заключении брака: если нет согласия родителей, молодой человек или девушка бегут из дома и тайно венчаются. Допустимо и послушание «в одиночку». Рисаль совершает именно это действие. По всем правилам филиппинского общежития ослушника надо простить, чтобы не пострадало единство семьи — высшая филиппинская ценность. Как уже говорилось, дон Франсиско — не совсем обычный филиппинец. Правда, он тяжело переживает разлуку с младшим сыном, Пасиано в первом же письме сообщит Пепе: «Родители очень опечалены, особенно отец, — он совсем перестал разговаривать, плачет по ночам... Опасаясь, что его замкнутость перейдет в болезнь, я рассказал ему все (т. е. о своем участии в отъезде Хосе. — *И. П.*)». Тем не менее дон Франсиско остается непреклонным и лишь пять лет спустя велит передать сыну, что тот прощен. Однако окончательного прощения он так и не дает: примечательно, что во всем эпистолярном наследии Рисаля нет ни одного письма донна Франсиско к сыну. Но все это не мешает Рисалю горячо любить отца.

Итак, дядя, дон Антонио, обещает Хосе выправить паспорт и оплатить проезд, а Пасиано, к тому времени взявший на себя ведение хозяйства, обязуется ежемесячно высылать младшему брату вспомоществование. Среди лиц, с которыми Рисаль беседует перед отъездом, Теодоро Басйлио Моран, с которым его знакомит дядя. Моран выступает как представитель иллюстрадос и будущий издатель двуязычной — на тагальском и испанском языках — газеты «Диарионг Тагалог» («Тагальская газета»). Деньги на издание дает принсипалия, редактором тагальской части газеты должен стать Марсело дель Пилар, пока еще неизвестный Рисалю иллюстрадо из города Малолос. Моран прекрасно осведомлен о литературных успехах Рисаля и предлагает ему сотрудничество в газете. Рисаль обязуется каждые две недели присылать статьи и обзоры испанской жизни. Это, по мнению всех, будет его вкладом в борьбу за достойное место Филиппин в испанском мире; в качестве корреспондента «Диарионг Тагалог» Рисаль вправе считать себя представителем филиппинцев в Испании.

Решение принято — Хосе будет отстаивать интересы филиппинцев в Испании. Владелец серебряного пера и золотого кольца с изображением

Сервантеса считает себя прежде всего литератором. Он знает, что сказать, знает, от чьего имени он выступает: он уже не певец Испании — он говорит от имени Филиппин, хотя сами Филиппины все еще мыслятся как часть испанского мира. Но уже намечаются пути, которые с неизбежностью приведут к переоценке всей системы отношений между колонией и метрополией.

...В начале мая 1882 года филиппинский юноша глубоко опечален предстоящим отъездом, разлукой с родителями. На страницы дневника ложатся строки: «Первое мая, понедельник. Брат разбудил меня в пять часов, чтобы успеть все приготовить к отъезду. Я встал и механически уложил свои вещи. Брат дал мне 356 песо — их я беру с собой. Я велел слуге заложить экипаж, чтобы ехать в Биньян. Потом я оделся, и пока ждал завтрака, экипаж подали. Родители уже встали, сестры — нет. Я выпил чашку кофе. Брат с печалью во взоре смотрел на меня; родители ничего не подозревали. Наконец, я поцеловал им руки. Я готов был разрыдаться! Я заторопился вниз, глухо пробормотал «до свиданья» самым дорогим мне людям — родителям, брату, дому... Вставало солнце». Следующий день Хосе проводит в Маниле, в обществе дяди, дона Антонио, который передает ему паспорт и билет на пароход «Сальвадора». Третьего мая друзья провожают его на борт парохода. Он умоляет их не уходить, побыть с ним еще немного, но им надо идти. «Они ушли. Я смотрел им вслед и не мог оторвать от них взгляд, пока они не свернули на Малекон. Тысячу и один раз они махали мне платками; глазами я хотел остановить их. Друзья, моя вторая семья, вы, столько сделавшие для меня, — чем я могу отплатить вам? Вы говорили мне: «Будь мужчиной!» Что ж, я мужчина, и как раз поэтому я плачу. Я плачу, потому что покидаю родную страну, все, что люблю... Слезы застилают мне глаза, но проклятое чувство собственного достоинства сдерживает их... Я беру карандаш и стараюсь набросать на бумаге манильский берег. Рука рисует произвольно, повинувшись велению сердца. Понемногу здания уменьшаются, их очертания сливаются, но зато светотень становится контрастнее. Это моя родина, моя дорогая родина. Я оставляю там любовь и славу, родителей, которые обожают меня, заботливых сестер, брата, который опекает сестер и меня, друзей. О! Как много любящих сердец! И все же я покидаю их! Найду ли я их по возвращении? Я устремляюсь за суетной идеей, может быть, за пустой иллюзией».

В ИСПАНИИ

Мы, находящиеся на чужой земле, посвятим первые слова нашей стране, укутанной дождями и туманами, прекрасной и поэтичной, которую ее сыны обожают тем больше, чем дальше они от нее.

Хосе Рисаль. Любовь к родине

Страдающий от морской болезни, романтически настроенный молодой человек плывет в Испанию. Возвышенный настрой мыслей изливается на страницы дневника: «Ночью я смотрел на море. О! Какая страшная угроза таится в его ужасном одиночестве! Кажется, что оно недовольно и ждет жертвы. Какой страшный конец ждет всякого, оставшегося наедине с его волнами среди этого безбрежного пространства! Кажется, что оно — огромное чудовище, наделенное бесконечной жизнью, проявляющейся в вечном движении, огромная пасть, жуткая пропасть!» В этих словах отчетливо сказывается характерная для Рисаля-романтика устремленность к роковым глубинам бытия. Но она не мешает делать ему весьма трезвые наблюдения.

...Манила лежит в стороне от оживленных трасс. Чтобы попасть на главные морские пути, надо сделать пересадку в Сингапуре или Гонконге. Туда раз в неделю отходят из Манилы грязные пароходики, «Сальвадора», на котором плывет Рисаль, — один из них; со скверной кухней, грубой командой и такими же грубыми пассажирами. Эти последние в большинстве своем испанцы, сколотившие в колонии состояние и теперь возвращающиеся на родину, в Испанию. Они изощряются в оплевывании Филиппин: «Послушать их, — пишет Рисаль, — так Испания — рай, где всякий дурак гений, талант и сама мудрость, тогда как на Филиппинах не найдешь даже полезного атома, потому что там бог утратил свою провиденциальную мудрость». И это говорят люди, которые были там «ради золота, а ради него они готовы на все». Правда, не все испанцы таковы. Есть среди пассажиров три-четыре человека, которые высказывают весьма дельные мысли: «Они много говорили о властях на Филиппинах. От них я услышал, что в моей стране все испанцы — и монахи, и светские лица — заняты только одним: стремлением высосать кровь из бедных «индио». Исключения возможны, но, как они говорят, их очень мало. Отсюда все зло,

а нелады между испанцами происходят только из-за дележа добычи». Рисаль внимательно слушает этих трезво рассуждающих испанцев, проводит с ними все время на верхней палубе.

Мыслями он по-прежнему на Филиппинах: «Снова вспоминаю семью, родину. Увижу ли я их снова? Все тот же вопрос. Если я не увижу больше родителей, если мое образование будет стоить их любви, то как я расплачусь за это?» Время идет, боль разлуки постепенно стихает, новые впечатления овладевают им. Но нет-нет да и вернутся грустные мысли: то он вспомнит Леонор, то ему приснится, что что-то случилось с семьей, и он тут же детально записывает сон и принимает решение при первой же высадке на берег послать телеграмму домой, но тут же отговаривает себя: «Ведь я же несуетерен!»

Телеграмму он так и не посылает, но в Сингапуре сразу же отправляется в протестантскую церковь, где слушает проповедь, — поступок явно предосудительный для правоверного католика. Потом в Коломбо он зайдет в буддийский храм, в Суэце — в мечеть. Заходить в культовые здания других религий — это, как пишет сам Рисаль, «почти, почти греховно», а участвовать в чужих богослужениях и давать подаяние в буддийском храме явно греховно.

В Сингапуре Рисаль пересаживается на французский пароход и только тут «сталкивается с Европой» — комфорт и сервис не идут ни в какое сравнение с тем, что он видел на грязной «Сальвадоре». И Рисаль (не будем забывать — всего лишь удивленный провинциал) восторженно описывает чистоту и порядок, обслуживание и вежливость стюардов. Он сходится с другими пассажирами, пробует свои силы во французском языке (на первых порах с весьма посредственным успехом), в каждом порту совершает длительные экскурсии: посещает музеи, но прежде всего — культовые сооружения: сравнивает, оценивает и, видимо, приходит к выводу, что каждая религия имеет свой резон, а если так, то ни одна из них не может претендовать на окончательную истину.

Его огорчает, что почти никто из пассажиров даже не знает, где, собственно, находятся Филиппины и что это за страна. «На меня обращают внимание на улице, — пишет он семье, — и принимают то за китайца, то за японца, то за американского индейца и т. д. — за кого угодно, только не за филиппинца. О, наша бедная страна! Никто и не слышал о тебе!» В строках дневниковых записей звучит некоторое раздражение, но он тут же сдерживает себя: что ж, надо, чтобы о Филиппинах узнали. Он сам намерен потрудиться для этого, он опишет свои путевые впечатления в статье для «Диарионг Тагалог». Уже в пути он начинает набрасывать основные

положения будущей статьи.

В Порт-Саиде Рисаль впервые слышит запретную для филиппинцев «Марсельезу» и записывает в дневнике: «Это гимн бодрый и в то же время торжественный, грозный и печальный. По просьбе публики его исполнили дважды». После остановки в Неаполе корабль прибывает в Марсель — конечный пункт морского путешествия. И конечно, здесь Рисаль прежде всего совершает экскурсию в замок Иф, где томился знаменитый герой Дюма. Сдружившиеся пассажиры поселились в одном отеле, и настает минута расставания. Рисаль, всегда близко сходящийся с людьми, тяжело переживает разлуку с попутчиками: «Я колебался: увидеться с ними или нет — боялся, что выдам свои чувства. Но моя привязанность к ним взяла верх, и я подождал их в холле... Одной привязанностью меньше, одной болью больше». Так будет всегда: вопреки своим собственным словам о недоверии к людям чувствительный Рисаль легко сходится с людьми и тяжело расстается с ними. Он вызывает общее доверие и симпатию, легко заводит друзей. Его искусство общения с людьми признают все — и друзья и враги.

Остается последний отрезок путешествия — поездом из Марселя в Барселону. И уже начинаются денежные затруднения. Рисаль любит комфорт и потому всегда останавливается в лучших отелях, ездит только первым классом. Неудивительно, что по приезде в Марсель у него остается только 29 песо из данных братом 356. За 12 песо он покупает билет (несмотря на угрожающее финансовое положение, опять первый класс), оплачивает провоз багажа и в Барселону прибывает с 15 песо в кармане.

После Италии и Франции Испания не производит на Рисаля благоприятного впечатления. «Не знаю, может быть, это из-за ностальгии», — заканчивает он последнюю дневниковую запись о путешествии. И та же мысль в первом же письме к Пасиано: «Мое первое впечатление от Барселоны очень невыгодное. После Неаполя и Марселя я нахожу этот город бедным и вульгарным. Улицы грязные, дома убогой архитектуры — короче, я все вижу в неблагоприятном свете, за исключением женщин, — они красивее женщин Марселя». Хуже всего то, что он не может найти соотечественников: «Я особенно опечалился, когда не нашел ни одного из тех, к кому у меня были рекомендации. Я не встретил ни одного соотечественника, и в связи с большими расходами по путешествию, а также из-за многочисленных случаев жульничества, от которых я пострадал по своей неопытности, у меня осталось всего 12 песо».

Выручают отцы-иезуиты — Рисаль предъявляет им рекомендательные письма от их филиппинских коллег, и они тут же ссужают его деньгами и

указывают жилью «по средствам». Хосе перебирается по указанному адресу и приходит в ужас: «Как только я взглянул на дом — убогий, сырой, мрачный, без всякой вентиляции (он расположен возле улицы Сан Северо, в глухом и грязном тупике), на кирпичный пол в моей комнате, на плетеные стулья, на жесткую кровать (зеркала нет), на ржавый таз, склепанный из четырех кусков железа, — я почувствовал глубокую печаль, я вспомнил наш дом, в тысячу раз лучший, чем этот». Нет родственников, нет друзей, нет просто земляков. Только через три-четыре дня ему удастся отыскать соотечественников (он подолгу дежурит возле их домов), и сразу становится легче: он перебирается к ним, и они делятся с ним всем, что имеют. Рисаль несколько осваивается и начинает присматриваться к окружающему.

Что представляла собой Испания в 1882 году? В XIX веке она пережила пять революций. Первая — 1808–1814 годов — была связана с нашествием Наполеона. Он, как и многие люди его времени, считал Испанию «безжизненным трупом», одряхлевшей и неспособной к дальнейшему существованию монархией. Но, как писал К. Маркс, он «был весьма неприятно поражен, убедившись, что если испанское государство мертво, то испанское общество полно жизни, и в каждой его части бьют через край силы сопротивления»^[12]. В ходе первой испанской революции в 1812 году была принята кадисская конституция, отменившая сеньориальные права, запретившая инквизицию и т. д. В 1814 году Фердинанд VII объявил эту конституцию недействительной.

В 1820–1823 годах в Испании произошла вторая революция. Восстали войска, поднялся народ, Фердинанд VII был вынужден признать конституцию 1812 года. Были созданы кортесы, на этот раз — с представителями от колоний. Филиппины представляли три делегата, в октябре 1822 года принесли присягу. Все трое не были филиппинцами. Осенью 1823 года Фердинанд VII восстановил феодально-абсолютистский режим при поддержке французских интервентов, действовавших по указанию Священного союза. В 1833 году Фердинанд VII умер. Наследницей престола стала его дочь, малолетняя Изабелла II, регентшей при ней — ее мать Мария Кристина. Но права на трон предъявил и дон Карлос, брат Фердинанда VII, что положило начало многолетним карлистским войнам.

В 1833–1843 годах произошла третья буржуазная революция. Буржуазия добилась установления конституционной монархии: Мария Кристина была изгнана из страны. С июля 1834 года заседали кортесы, в состав которых вошли два представителя Филиппин, один из них был

родственником Рисаля по материнской линии, чем Рисаль немало гордился и что делало его в глазах соотечественников претендентом на кресло в кортесах. 16 апреля 1837 года кортесы приняли закон, согласно которому конституция не должна была применяться в колониях на том основании, что условия там слишком специфичны, а потому «способствовать их счастью» (именно так сказано в законе) должны были назначенные чиновники — генерал-губернаторы и их аппарат.

В 1854 году, во время четвертой буржуазной революции, к власти пришли либералы, и феодальные основы испанской монархии снова зашатались: были распроданы церковные земли, конфискованы владения дон Карлоса. Однако утраченные в 1837 году права колоний не были восстановлены.

Пятая и последняя в XIX веке испанская буржуазная революция произошла в 1868–1874 годах. Изабеллу II изгнали из страны, корону передали Амадео Савойскому, который в 1873 году отрекся от престола. В июне 1873 года республиканцы сформировали правительство во главе с Пи-и-Маргалем, о котором позднее тепло отзывался Рисаль. Но в декабре 1874 года произошла реставрация Бурбонов, на престол взшел Альфонсо XII, правивший вплоть до своей кончины в 1885 году.

В пятой испанской революции активно участвовал рабочий класс Испании. Уже в 1868 году была создана испанская секция I Интернационала. Но вскоре рабочее движение Испании попало под влияние бакунистов, что заметно снизило революционный потенциал испанского рабочего класса.

Бурные события, потрясавшие Испанию с 1808 года, привели к власти помещичье-буржуазный блок. В 1876 году, за шесть лет до приезда Рисаля в Испанию, произошло окончательное оформление механизма власти этого блока. Сложилась система псевдопарламентаризма: консерваторы во главе с Антонио Кановасом (1828–1897) и либералы во главе с Прайседесом Матео Сагастой (1827–1903) попеременно формировали кабинет, но обе партии по праву считались «династическими». Республиканцы — Кастелар, Сальмера, Пи-и-Маргаль — находились в постоянной оппозиции. Механизм псевдопарламентаризма внешне действовал довольно гладко: регулярно происходила смена премьеров (Кановас — Сагаста), существовала известная свобода печати, был слышен голос оппозиции. Но суть — власть помещичье-буржуазного блока — оставалась неизменной.

Пятая буржуазная революция в Испании тоже не дала Филиппинам представительства в кортесах. Ее бурные события отразились на далеком

архипелаге косвенным образом: через назначение генерал-губернаторов, политическое лицо которых определялось силами, стоявшими у власти в Испании.

К моменту приезда Рисаля в Испанию там существовала довольно многочисленная филиппинская эмиграция. Ее классовый состав был однороден: все эмигранты были выходцами из помещичье-буржуазных кругов. Встречались среди них люди обедневшие, встречались и очень состоятельные. Но их классовая психология была одинаковой, все они выражали интересы поднимавшейся филиппинской буржуазии, которые в то время до известной степени совпадали и с общенациональными интересами.

Эмигранты, искренне желавшие блага своей стране, полагали, что будущее Филиппин — в неразрывной связи с Испанией. Их целью была ассимиляция — полное включение Филиппин в состав Испании. Для достижения этой цели они требовали, во-первых, распространить на Филиппины действие испанских законов, во-вторых, дать Филиппинам представительство в кортесах и, в-третьих, отменить цензуру и допустить на Филиппинах такую же свободу печати, которая существовала в самой Испании. Испанские власти, помещичье-буржуазный блок в принципе не опасался этих требований: ведь эмигранты не выступали за отделение от Испании, а только к сепаратизму власти относились настороженно после потери почти всех колоний. Просьбы эмигрантов снисходительно выслушивались, сменявшие друг друга у власти консерваторы и либералы обещали «подумать», но ровно ничего не делали. Республиканцы-оппозиционеры относились к требованиям эмигрантов более сочувственно, но практически ограничивались предоставлением эмигрантам страниц своих газет. Были у филиппинцев и искренние друзья в Испании, но они смотрели на них как на ущемленных в правах испанцев, а не как на представителей другого народа.

Но была в Испании сила, которая яростно противилась ассимиляции. Это — католическая церковь, монашеские ордены, которые являлись главным феодальным эксплуататором на архипелаге. Всякую попытку распространить на Филиппины испанские законы ордены и церковь в целом рассматривали как «начало конца» власти церкви над Филиппинами. Церковные мракобесы и обскурантисты, чья власть уже пошатнулась в самой Испании, судорожно цеплялись за свои привилегии на островах, утверждая, что только они в состоянии удержать Филиппины под властью короны. Поэтому главная схватка намечалась между филиппинскими эмигрантами и церковниками, противившимися реформам.

Сама борьба за реформы известна в истории Филиппин как движение пропаганды. Оно зародилось в начале 80-х годов и продолжалось вплоть до начала антииспанской национально-освободительной революции 1896–1898 годов.

Впервые требования реформ четко сформулировал китайский метис Грегорио Сансианко (1852–1897), который вместе с братом Рисаля Пасиано входил в группу студенческой молодежи, сплотившейся вокруг Бургоса. После событий 1872 года Сансианко уехал в Испанию, окончил Центральный университет, а затем получил степень доктора гражданского и канонического права. В 1881 году он издал в Мадриде книгу «Прогресс Филиппин», которая до появления работ Рисаля служила своего рода библией филиппинских реформаторов. Ее высоко ценил и Рисаль.

В сущности, книга Сансианко представляла собой экономический трактат: автор исследовал препятствия, мешающие экономическому развитию Филиппин, и пришел к выводу, что таковыми являются низкий уровень образования, неразвитость средств сообщения, коррупция властей и засилье монахов. Критические положения книги были выдержаны в весьма умеренных тонах и не вызвали возражений в самой Испании, но зато сразу же насторожили монахов, и книга была немедленно запрещена на архипелаге.

Исходная посылка всех рассуждений Сансианко заключалась в признании того, что Филиппинские острова суть неотъемлемая часть Испании. А раз так, то филиппинцы — испанские граждане, а потому уплата трибуто (подушного налога) только «индейцами» и метисами (испанцы были освобождены от него) есть величайшая несправедливость. На пятнадцать следующих лет эти положения стали теоретической основой движения пропаганды. Нельзя не отметить, что в них не было ничего, что могло бы вызвать возражения властей. Официальная политическая доктрина Испании исходила из той же посылки: после потери латиноамериканских владений само слово «колония» было изъято из официального языка, и оставшиеся владения эвфемистически называли «заморскими провинциями» (чиновники, по привычке употреблявшие слово «колония», получали суровые выговоры).

Вскоре после выхода в свет книги Сансианко 15 июня 1881 года министр заморских территорий Фернандо де Леон-и-Кастильо опубликовал декрет об отмене табачной монополии^[13], чего с такой настойчивостью требовал Сансианко. Весть об этом была восторженно встречена филиппинцами — в отмене монополии они увидели первый шаг на пути осуществления реформ. По обычаю того времени в честь де Леона был дан

банкет, на котором произносились неоправданно восторженные речи. Самая яркая речь принадлежит Грасиано Лопес Хаена (1856–1896), одной из колоритнейших фигур филиппинской колонии в Мадриде. Как и Рисаль, он начал изучать медицину в университете святого Фомы в Маниле, однако курса не кончил, в 1880 году уехал в Испанию. Он пробовал продолжить учебу, но бурный темперамент мешал ему сосредоточиться на занятиях, и он окунулся в политическую деятельность. Лопес Хаена считался лучшим оратором филиппинской колонии: мог говорить о чем угодно сколько угодно, причем без всякой подготовки. По свидетельству современника, «его страстные слова, которые текли как лава, звучали очень убедительно по той причине, что слушателям не оставалось времени на раздумье: они обычно вызывали взрыв энтузиазма».

Взгляды Рисаля с самого начала пришли в противоречие с господствовавшими среди эмигрантов идеями: хотя он тоже выступал за ассимиляцию, но считал недостойными заверения в верности Испании, особенно если эти заверения, как нередко случалось, сопровождались полупрезрительными, а то и вовсе презрительными замечаниями в адрес Филиппин.

...У Рисаля совсем другой взгляд на вещи. Молодой человек с 15 песо в кармане отнюдь не чувствует потребности завоевать «место под солнцем» (как то делают многочисленные герои литературы второй половины XIX века, приезжающие в столицу и «покоряющие» ее). У него другая задача — служение Филиппинам, именно к этому он призвал еще в стихотворении «Филиппинской молодежи». Целостность его натуры не допускает расхождения между словом и делом, Рисаль не считает, что поэзия нечто не связанное с жизнью, что в стихах можно требовать одного, а жить совсем по-другому.

Первые слова Рисаля в эмиграции обращены не к испанцам, а к соотечественникам. Выполняя наказ Теодоро Басилио Морана, он шлет ему статью «Любовь к родине». Ею Рисаль начинает свою публицистическую деятельность. Любовь к родине, пишет Рисаль, сильнейшее чувство, ему подвластны все народы во все времена: «От цивилизованного европейца, свободного и гордящегося своей историей, до африканца, которого насильно уводят из джунглей и продают за ничтожную сумму, от древних народов, чьи тени все еще витают над величественными руинами, до современных, полных энергии и жизни, — все, все поклонялись и поклоняются идолу, называемому родиной». Для филиппинцев, только еще вырабатывающих свое национальное самосознание, эта мысль — любить именно свою родину, несмотря на ее нынешнее жалкое положение, —

звучит ново и необычно. Впервые в истории общественной мысли Филиппин сказано, что забитость, отсталость и бедность не являются препятствием для любви к родине.

20 августа 1882 года статья появляется в «Диарионг Тагалог», сотрудник газеты Марсело дель Пилар переводит ее и на тагальский язык. Редактор пишет Рисалю: «Ваша статья вызвала поток многочисленных поздравлений; даже беспристрастные лица, чьи достоинства общепризнаны, утверждают, что она может сойти за одну из статей Кастелара!» В статье привлекает все: и необычность темы, и несколько помпезный стиль, столь соответствующий художественным вкусам филиппинцев. Моран требует слать как можно больше статей, Рисаль старается выполнить заказ, и во втором номере газеты появляется статья «Путешествия», набросанная, видимо, еще во время плавания. К сожалению, газета тут же закрывается — эпидемия холеры и пронесшийся тайфун почти разорили Морана, и он отказывается от издания. А у Рисаля уже готовы статьи «Сомнения», «Образование», он пишет эссе «О чувстве прекрасного», но, узнав о закрытии «Диарионг Тагалог», прекращает работу над ним.

Статьи эти, хотя и не увидели свет, многое проясняют в умонастроении Рисаля. Первая из них — философские размышления. Рисаль различает скептицизм как позу и скептицизм как направление ума, причем замечает, что «позы все-таки больше». А между тем человек «должен прозревать непреходящее за видимостью и шумом». Но что оно такое, это непреходящее? Для Рисаля, терзаемого сомнениями католика, это уже не религия: «Религиозные убеждения угасают и агонизируют в нашем сердце, ибо мы находим в них лицемерие вместо добродетели, низменные и корыстные интересы вместо бесхитростности и простоты». Но пока Рисаль не призывает к окончательному отказу от религии: «Будем же отделять зерно от плевел, будем же отделять лживого служителя от великого принципа, который он представляет». Что же делать? Ответ Рисаля пока еще не очень внятен: «Так пойдем же вдоль слабого луча света, проникающего во мрак наших темниц, чтобы отыскать его источник. Будем же обожествлять идею, суть, неизменную истину». За этой платоновской образностью трудно усмотреть выход из тупика: задача ставится в абстрактно-умозрительном плане.

Серия написанных в Барселоне статей представляет собой серьезную заявку на лидерство в общественной мысли Филиппин. Но надо прямо сказать, что заявка эта не удовлетворяется: попытка «с ходу» вывести филиппинцев из тупика, возникшего после 1872 года, не удается. Причин

тому несколько. Прежде всего Рисаль сразу же после выхода в свет второй статьи лишается печатного органа. Далее, весь барселонский цикл носит несколько отвлеченный характер, он мало связан с нуждами общественной борьбы: Рисаль еще только нащупывает тему, которая могла бы сплотить всех филиппинцев. Он обращается к соотечественникам, живущим на самих Филиппинах, но судьба «Диарионг Тагалог» показывает ему, что центр борьбы должен временно переместиться в Испанию, где сосредоточены лучшие интеллектуальные силы страны, их-то и надо сплотить прежде всего, тем более что условия этой борьбы на полуострове куда благоприятнее, чем на архипелаге.

Барселонский цикл создается лихорадочно, второпях — Рисаль пользуется передышкой перед началом учебного года. Денег нет — присылаемого Пасиано едва хватает на еду и на самое скромное жилье. Да и филиппинская колония в Барселоне невелика, общаться, в сущности, не с кем, некого спланировать для борьбы за «филиппинское дело». И через три месяца после приезда в Испанию Рисаль перебирается в Мадрид, близко узнает тех, кого раньше знал только по статьям да по слухам, с головой погружается в жизнь филиппинской колонии. А в ней далеко не все благополучно. Рисаль не устраивают не только взгляды филиппинских эмигрантов (особенно пренебрежительное отношение некоторых из них к Филиппинам) — сам образ их жизни претит ему.

...Грасиано Лопес Хаена уже два года живет в Испании, стал ярким республиканцем, выступает на всех митингах, печатает статьи в испанских газетах, но только на испанские темы, доказывает, что лишь «пронунсиаменто» — захват власти путем переворота — может восстановить республику в Испании, а потому не чужд и нелегальной деятельности. Что до Филиппин, то они интересуют его куда меньше. Конечно, считает он, Филиппины должны стать неразрывной частью будущей испанской республики, но республиканизм должен прийти туда только из Испании, а потому там не нужна никакая революционная деятельность. Живет Грасиано неизвестно чем: случайными заработками в испанских газетах, а больше займами у соотечественников, которые никогда не возвращает. Манильский комитет реформ вскоре назначает ему небольшую ежемесячную субсидию, и Грасиано начинает активно заниматься «филиппинским делом», но тут же теряет к нему интерес, как только субсидия прекращается. Рисаль неодобрительно относится к его беспорядочному образу жизни, но высоко ценит его таланты.

...Дон Педро Патерно — человек большой культуры, но слишком активно старается проникнуть в «высший свет» Мадрида. Он богат,

разъезжает в карете с каким-то непонятным гербом (позднее, в 1897 году, он будет требовать от испанской короны герцогского титула). К соотечественникам относится высокомерно, но лебезит перед последним испанским журналистом — лишь бы тот напечатал в своей газетенке отчет о последнем приеме в доме-дворце дона Педро. А в это время его соотечественники (Рисаль в их числе) живут впроголодь. Пренебрежение к землякам для филиппинца непростительно. Рисаль не ссорится с доном Педро, но и не стремится сблизиться с ним — он довольно сухо отзывается об эрудиции Патерно.

Вообще многие эмигранты ведут себя, мягко говоря, не вполне достойно. Дело тут не только в их личных качествах. Филиппинцы во всем ориентируются на родственный коллектив, на свой клан, который защищает их от невзгод, но взамен требует весьма жестко регламентированного поведения, обязательного соблюдения определенных норм. Необходимость поступать так, а не иначе диктуется извне и не всегда переходит во внутреннюю убежденность. И с исчезновением этого внешнего источника личность, случается, остается без путеводной нити, перестает четко отличать дозволенное от недозволенного. Именно это и происходит со многими филиппинскими эмигрантами в Мадриде, лишившимися связи со своей средой и предоставленными самим себе. И нужна сильная личность, чей авторитет признали бы все, чтобы наставить на путь истины потерявших ориентиры филиппинцев.

Они встречаются обычно на улице Лобо, где в пансионате живут несколько эмигрантов — Грасиано Лопес Хаена, поэт Ласерна, братья Пако и Хосе Эскивель, публицист Эваристо Агирре, одноклассник Рисаля по Атенео Хулио Льоренте и другие. Бывает здесь и Педро Патерно, заглядывает Грегорио Сансианко. Старожилы оживленно беседуют. На первых порах Рисаль только прислушивается к пересудам, не принимая в них участия.

«— Сеньоры! Вы знаете, какую штуку выкинул Карлито? Он заказал в ресторане обед на 10 песо, вкусно покушал и удрал не заплатив!

— Молодец! Настоящий индио!

— Что значит «настоящий индио»? Такие поступки недостойны кабальеро, он бросает тень на всех филиппинцев!

— Плевать! А почему испанцы называют нас «грязными китайцами»? Так им и надо!

— Сеньоры, сеньоры! Грасиано опять проигрался в пух и прах! Надо собрать по одному песо с каждого — ему нечего есть, а кроме того, долг чести, сеньоры!

— Что значит «долг чести»? Пусть не играет!

— А как еще он может добыть деньги?

— Сеньоры! Сногшибательная новость! Теперь на сюртуках добавили еще две пуговицы!»

Такие речи не по сердцу Рисалю. Он втягивается в разговор, резко обрывает пустую болтовню (особенно почему-то его задевают бессмысленные разговоры о числе пуговиц, и впоследствии трижды, в двух статьях и романе, он вернется к этим злополучным пуговицам). Его авторитет, который на Филиппинах безоговорочно признавали «мушкетеры», скоро устанавливается и здесь. Кстати, кое-кто из «мушкетеров» тоже в Мадриде — они по-прежнему с пиететом относятся к своему «капитану». Но теперь Рисаль совсем другой, пора мальчишеских проделок и забав прошла. Он требует прежде всего достойного поведения. Не в силах противостоять влиянию его личности, филиппинцы волею-неволей покоряются. Пусть не всегда охотно, часто против желания, но покоряются. Такое повиновение, надо сказать, обычно не очень прочно: как правило, оно кончается, как только признанный лидер уходит и прямой контакт с ним исчезает. Но пока все ему повинуются. Суровые проповеди и отповеди Рисалья снискали ему славу ригориста, и «капитан де Тревиль» получает новое прозвище — «эль папа» (то есть «папа римский»).

«Папа» терпеть не может разболтанности и чрезвычайно щепетилен в вопросах чести. «Достоинство филиппинцев, их честь — прежде всего! Испанцы называют нас «грязными китайцами»? Пусть! Мы согласны на это имя. Они называют нас «индио»? Пусть! Нидерландских повстанцев в XVI веке называли «гезами» — нищими, и те с гордостью носили это имя. Будем же и мы с честью носить имя «индио», но будем «индиос бравос» — храбрыми индейцами. И если испанец оскорбит честь филиппинца, то пусть знает, что ему не миновать вызова на дуэль». Сам он по-прежнему занимается фехтованием и стрельбой и, демонстрируя друзьям свое искусство, почти не целясь, выписывает на стене свое имя пулями из дуэльного пистолета. Скоро «всему Мадриду» становится известно, что филиппинцев лучше не трогать — они спуска не дают. Рисаль, с его обостренным чувством чести, не раз посылает вызовы недоброжелателям — мнимым и действительным.

Итак, в делах чести уступать нельзя. Но не это главное, невелика заслуга — прослыть бретером и забиякой. Главное — служить родине, бороться за права филиппинцев, за представительство в кортесах, за просвещение народа, а для этого надо прежде всего учиться самим. И Рисаль, всегда более требовательный к себе, чем к другим, показывает

соотечественникам пример.

...Каждое утро он аккуратно появляется в Центральном университете, не пропускает ни одного занятия. Как и в Маниле, он записывается на два курса — медицины, а также философии и литературы (не считая школы фехтования, не считая занятий живописью в академии Сан Фернандо). Курс медицины требует все еще неприятных для него визитов в «анатомичку» (скоро он привыкает к виду трупов), философию и литературу читают совсем в другом корпусе, и Хосе спешит с одной лекции на другую. Как и все студенты-медики Центрального университета, он проходит практику в больнице Сан Карлос, где курирует палату больных раком, педантично записывает все, что говорит консультирующий больных профессор, ведет истории болезней. Это сухие профессиональные записи, составленные по всей форме, но и в них время от времени прорывается живой голос: «Больных привозят к нам только тогда, когда они безнадежны. Да и среди врачей бывают звери, люди с грязной совестью». Позже он начинает специализироваться по офтальмологии и вместо фибром и сарком описывает глаукомы и катаракты. И все же его успехи в медицине не так впечатляющи, как в философии и литературе. Рисаль изучает французский, немецкий, английский, итальянский и арабский языки, но знания живых языков ему кажется мало, он изучает также иврит и древнеегипетский и старательно рисует иероглифы... И конечно, обязательные в то время латынь и греческий.

Занятия целиком поглощают Рисаля. он расписывает каждую минуту и почти не участвует в жизни университета. А жизнь эта полна бурными событиями. Вспыхивают студенческие беспорядки: несколько студентов ранены в столкновениях с полицией. В письме к родителям Рисаль подробно описывает эти события, хотя сам не принимает в них активного участия. Тем не менее «лейтенант полиции и переодетый полицейский хотели схватить меня и Вентуру (филиппинский студент-медик. — *И. П.*), но нам удалось скрыться. Сегодня полицейские так упорно присматривались ко мне, что мне трижды пришлось прятаться». Конечно, Рисаля возмущает беззаконие, но это скорее возмущение человека, радующегося, что для него все обошлось благополучно. Такая отчужденность Рисаля от политической жизни Испании объясняется его глубокой увлеченностью делами филиппинскими. Он приехал в Испанию для борьбы за «филиппинское дело» и потому уклоняется от борьбы, которая ему представляется как внутреннее дело Испании.

Методы борьбы за «филиппинское дело» он вырабатывает в ходе изучения философии. Он жадно впитывает новые идеи, которые

определяют духовную жизнь Испании. Среди республиканцев и либералов господствующим учением был крауизм, особенно сильный в Центральном университете. Карл Христиан Фридрих Краузе (1781–1832) был немецким философом-кантианцем, систему которого воспринял испанский ученый Хулиан Санс де Рио, жаждавший дать бой католической схоластике. В 1857 году он возглавил кафедру философии в университете, и скоро крауизм превратился в мощную научную школу. Школа эта проповедовала «гармонический рационализм», который был скорее творением испанских философов, чем немца Краузе. «Гармонический рационализм» представлял собой разновидность объективного идеализма, но основой познания в нем объявлялось первичное «я». Познавая себя, человек обнаруживает, что состоит из тела и интеллекта, природного и духовного начала, и природа и дух сливаются лишь в боге. Все противоречия проистекают из противоречий тела и интеллекта, природы и духа. Рациональное познание должно привести к достижению гармонии и переустройству жизни.

Программа крауистов была рассчитана на длительное время. Тактика их состояла в том, чтобы, сосредоточившись в университете, воспитать несколько поколений студентов, которые, заняв впоследствии ключевые позиции в обществе, сумеют преобразовать его мирно и безболезненно.

Тактику крауистов, сводящуюся к подготовке кадров и постепенному расширению своего влияния, Рисаль пробует применить для осуществления своей задачи. Филиппинам нужны закаленные борцы, способные увлечь за собой других, способные донести до испанских властей требования филиппинцев, способные доказать испанцам, что филиппинцы достойны реформ. Эти кадры надо где-то выковывать. Но где? Ответ на этот вопрос приходит сам собой. Через полгода после банкета в честь министра заморских территорий Фернандо де Леона, отменившего табачную монополию, воодушевленные этим актом эмигранты создают «испано-филиппинский кружок». Его возглавляет Хуан Атайде, испанский армейский офицер, родившийся на Филиппинах и служивший там. Надо сказать, что креолы, недовольные засильем «пенинсуларес» (испанцев с полуострова), нередко смыкаются с филиппинцами в требованиях реформ для колоний.

Фернандо де Леон благосклонно разрешает деятельность кружка — ведь его руководители заверяют, что он будет «честным отражением в Мадриде общественной жизни этих далеких испанских земель, которые только и мечтают о том, чтобы укрепить славу отечества (т. е. Испании. — *И. П.*)». Манифест, в котором содержится эта более чем умеренная декларация, публикуется в апреле 1882 года, а в сентябре Рисаль

перебирается из Барселоны в Мадрид. Он сразу же активно включается в работу кружка, старается вдохнуть в него новую жизнь. Об этом свидетельствуют дневниковые записи: «Опять дискуссия о политике, я молчал»... «Решили оживить кружок и создали комитет для переговоров с Атайде»... «Опять говорили о кружке, о чрезмерных претензиях некоторых лиц»... «Яростная дискуссия на улице Лобо»... «Решили реорганизовать кружок, но ничего не сделали, только договорились создать комитеты»... «С кружком плохо по тысяче причин — все много болтают, а когда доходит дело до взносов, отказываются платить». И опять: «Бурная дискуссия по «филиппинским делам». На заседаниях кружка Рисаль сначала молчит, потом начинает требовать целеустремленной деятельности, но тщетно — даже его авторитет не может предотвратить распада кружка, и уже 29 января 1883 года он пишет семье: «Наш кружок умер! Я сам предложил распустить его, хотя был самым горячим сторонником кружка».

Но деятельность кружка не проходит бесследно для филиппинской литературы. Стараясь объединить его участников, Рисаль предлагает им общее дело: написать книгу о Филиппинах. «Мое предложение относительно книги принято единогласно — правда, потом начали выдвигать возражения, которые показались мне несущественными». Решено, что книгу напишут лучшие перья филиппинской колонии, причем затронут все стороны филиппинской жизни — экономику, искусство, ремесла и т. д. Но и здесь Рисаль ждет разочарование: быстро загоревшиеся соавторы так же быстро остывают, и тогда Рисаль решает выполнить задачу в одиночку — у него возникает замысел первого филиппинского романа, который он осуществляет несколькими годами позже. Неудача этого мероприятия в кружке оборачивается выигрышем для филиппинской литературы.

Дела учебные и дела эмигрантские оставляют Рисалю мало времени. Но он по-прежнему пишет домой длинные письма, подробно рассказывая о своей жизни и занятиях. Причем допускает некоторые «промахи» — особенно в вопросах религиозных. Первыми годами пребывания в Мадриде можно датировать его окончательный разрыв с католицизмом. Произошло это как под влиянием краулистов, так и — особенно — под влиянием Вольтера^[14]. В первый же год пребывания в Мадриде Рисаль, несмотря на стесненные материальные обстоятельства, приобретает девять томов сочинений Вольтера, страницы его дневника покрываются рисунками с изображениями фернейского мудреца. Насмешливые вольтеровские интонации прорываются у Рисаля даже в письмах к его глубоко религиозной матери: «Сегодня день святого Антонио Абада: лошадей,

мулов, лошаков и прочих тварей, двуногих и четвероногих приводят к изображению святого для благословения. Все они живописно разукрашены. Понятия не имею, какая польза маленьким мулам от этих благословений — ведь у них, говорят, нет души и они не могут ни оскорбить бога, ни славить его. Этак в один прекрасный день и камни обзаведутся святым покровителем. Попробуйте и вы там цивилизоваться и подыскать патрона для буйвола-карабао». Это письмо вызывает суровую отповедь доньи Теодоры, и с тех пор Рисаль в письмах к семье становится осторожнее.

И в его публицистике появляются новые интонации, которые тоже складываются под влиянием Вольтера. Можно говорить о возникновении у Рисаля вольтеровского «я», для которого характерно сознание своей отдельности, отграниченности от мира, удел же этого последнего — страдания и муки, вызванные невежеством. А над миром возвышается мудрец и со снисходительным сочувствием, смешанным с презрением, взирает на происходящее (взгляд, восходящий еще к античности: только атараксия, отрешенность, достойна мудреца, дело которого — созерцать и постигать, а не действовать, поскольку действие есть лишь ослабленное созерцание). Такое «олимпийское» отношение явно декларируется на бумаге, но далеко не всегда выдерживается в реальной жизни — вспомним страстную борьбу Вольтера за торжество справедливости, за оправдание невинно осужденных. Рисаль связан с жизнью в не меньшей степени: декларируя отрешенность от борьбы, снисходительный нейтралитет, он на деле глубоко вовлечен в борьбу и отдает ей все силы своего ума и таланта. Отсюда некоторая двойственность его публицистики: то он презрительно отзывается обо всех перипетиях борьбы, взирая на них как бы со стороны, то выступает как активный и страстный участник этой борьбы. Следует также отметить, что появление новых «вольтеровских» интонаций не означает отказа от прежней патетики — Рисаль не раз возвращается к ней, и, случается, она в одном и том же произведении соседствует с сарказмом и иронией, что иногда оставляет впечатление непоследовательности.

Это отчетливо проявилось в серии статей, написанных в первые годы пребывания в Мадриде. Вся эта серия имеет ярко выраженную антимонашескую направленность. Рисаль как бы выполняет просьбу одного из «мушкетеров», Хосе Сесилио, который пишет «капитану де Тревилю», не зная, что тот уже стал «папой римским»: «Ты знаешь, что в нашей стране есть люди, обладающие чрезмерной властью, — это монахи, олицетворение деспотизма. Было бы хорошо, если бы ты их проучил». И Рисаль-вольтерианец выполняет заказ. Первая же статья, озаглавленная «Размышления филиппинца», начинается так: «Когда я наблюдаю за

нынешней борьбой религиозных корпораций (монашеских орденов. — И. П.) и передовых людей моей страны, когда я читаю бессмысленные публикации той и другой стороны в защиту своих идей, меня подмывает спросить себя: а не следует ли и мне принять участие в борьбе и объявить себя сторонником одной из групп, поскольку не могу же я быть безразличным к происходящему в моей стране».

Разумеется, ни у кого не возникает сомнений относительно того, на чью сторону встанет Рисаль. Но он все же делает вид, будто беспристрастно взвешивает преимущества и той и другой позиции: «Если выступить против монахов, то что я получу? В сущности, ничего. Чем больше я над этим задумываюсь, тем яснее становится, что это было бы глупо и неосторожно... Если человек в наше время начинает бороться с монашескими орденами, он рискует попасть в тюрьму или быть сосланным на отдаленный остров... Что ж, я люблю путешествовать по островам, и ссыльный здесь окажется в выигрышном положении. Не нужно паспортов, безопасность гарантируется. Попаду в тюрьму? Ну а кто от нее застрахован? Зато там бесплатное жилье, питание».

Ну а если встать на сторону либеральных филиппинцев? «Монахи говорят, что все они атеисты. Кто знает, может, и так. Говорят также, что все они попадут в ад...» Что ж, размышляет Рисаль, монахам это известно лучше, чем кому-нибудь другому: «...Они правы во всем, и я встану на их сторону против моих соотечественников. Филиппинские либералы, утверждают они, все сплошь антииспанцы, а я не хочу быть антииспанцем. Доказательством их антииспанства служит только один факт — то, что так говорят монахи». Дальше Рисаль рассуждает: а что, если филиппинцы «сделают с ними то же, что монахи сделали с еретиками в ночь святого Варфоломея во Франции?» Тогда их сторонникам придется худо, а потому «самое правильное — вообще ничего не предпринимать... Я определенно остаюсь нейтральным: добродетель всегда лежит посередине. Да, я буду нейтрален. Что мне до того, что восторжествует — порок или добродетель, если я окажусь в числе погибших? Какое мне дело до родины, человеческого достоинства, патриотизма?» Таким риторическим вопросом, который, как всем было ясно, Рисаль не мог себе задать, оканчивается статья.

Столь же едкий сарказм пронизывает статью «Вольнодумец», начинающуюся словами: «В жизни не видел существа более отвратительного, чем вольнодумец» — и повествующую об одном таком скептике — человеке достойном, но неверующем. А потому, пишет Рисаль, он всегда относился к его высказываниям с опасениями, что было нетрудно

«с моей подготовкой, ибо с нежной юности я не поддавался обманчивой видимости и выставлял веру против действительности, догму против разума».

Взяв на себя роль туповатого верующего, Рисаль тем самым подчеркивает убедительность доводов своего оппонента, который утверждает, что человек «не должен позволять чужим мнениям увлечь себя, потому что, как только он начинает вести себя в соответствии с чужими мнениями, он теряет свойства свободного человека. Совесть должна быть просвещенной и свободной от давления». Нетрудно видеть, что «чужие мнения» в данном контексте — мнения церкви, сковывающие мышление.

В конце концов оппонент Рисаля умирает и на смертном одре благословляет его союз со своей дочерью, заметив при этом не без ехидства, что не понимает скорби окружающих.

«— Как? Вы плачете? Вы, верящие в загробную жизнь? — воскликнул он. — Это я должен плакать, ибо не знаю, что станет с вамп».

В этих статьях перед нами совсем другой Рисаль, что сказывается прежде всего на стиле: вместо былой риторики и патетики — разговорные интонации, вместо возвышенности — намеренная обыденность, вместо полной серьезности и неулыбчивости — едкий сарказм. Появляется ранее несвойственная Рисалю контрастность «высоких» и «низких» материй (после серьезного разговора о боге — приглашение отобедать). Эти изменения в стиле свидетельствуют и об эволюции его мировоззрения, о более четком осознании стоящих перед филиппинцами задач.

Рисаль пишет не только для читателя, но и для себя. Здесь он немногословен — это короткие дневниковые записи, из которых интересна одна: «Первое января 1883 года. Ночь. Неясная меланхолия, неопределенное одиночество охватывают мою душу. Что-то вроде грусти, которую являет собой город после веселого празднества. Две ночи назад, 30 декабря, меня мучил страшный кошмар, я чуть не умер. Мне снилось, что я актер, умирающий на сцене, я отчетливо ощущал, что задыхаюсь, что силы оставляют меня. Потом все стало неясным, меня обволокла тьма, я ощутил смертную муку. Я хотел кричать, звать на помощь Антонио Патерно, я чувствовал, что в самом деле умираю. Я проснулся совершенно разбитым и обессиленным». Ровно через 14 лет, день в день, 30 декабря 1896 года, Рисаль встретит свою смерть на людях, а потому приведенная запись служит для филиппинцев неопровержимым доказательством его пророческого дара, и никакие доводы о том, что у Рисаля куда больше несбывшихся пророчеств, не могут поколебать этой убежденности.

Поразительна работоспособность Рисаля в Мадриде: напряженная

учеба, бурная деятельность среди эмигрантов, непрерывные литературные занятия... Сын дона Франсиско отличается необычайной для филиппинцев методичностью, у него расписана каждая минута, и такой же организованности «папа римский» требует от других. Но эта требовательность к себе и другим не означает, что он отказывает себе во всем и чуждается земных радостей. Отнюдь. Завзятый театрал, завсегдатаи кафе и салонов, блестящий поклонник прекрасного пола — такова репутация Рисаля в Мадриде. Письма от Леонор приходят регулярно («письмо Таимис дышит нежностью, а концовка просто восхитительна» — шифром записывает он в дневнике), столь же регулярно и он пишет ей. Но аскеза и воздержание — не филиппинский идеал любви. «Служение прекрасной даме», ее культу — это нечто возвышенное, от чего отказываться нельзя, но оно вовсе не запрещает «верному рыцарю» заглядываться на других. Как и в Маниле, Рисаль не бежит от земных утех, но, как и в Маниле, это нечто само собой разумеющееся и не подвергающееся сомнениям отношения с Леонор. Как и в Маниле, достойными записей оказываются платонические отношения с «прекрасной дамой» в Мадриде.

...Филиппинцы в Мадриде нередко встречаются в доме Пабло Ортига-и-Рей. Дон Пабло, либерал и антиклерикал (возможно, именно он послужил главным прототипом героя эссе «Вольнодумец»), служил на Филиппинах, а теперь занимает пост в министерстве заморских территорий, где является советником по филиппинским делам. Он с глубоким сочувствием относится к борьбе филиппинцев за реформы, полагая, что она нисколько не подрывает власть Испании (в одном из писем Рисалю он пишет: «поднять славу Филиппин — значит поднять славу Испании»). Он охотно принимает у себя филиппинцев, которые за длинную бороду зовут его «эль падре этерно» — «предвечный отец». Его сын, Рафаэль, тоже сочувствует делу филиппинцев, а его дочь, Консуэло, покоряет их сердца, в том числе и сердце Рисаля, который выступает как соперник другого эмигранта, Эдуардо де Лете. В конце концов было объявлено о помолвке Консуэло и Лете (дело чуть не дошло до его дуэли с Рисалем), но потом все расстроилось.

Дневник Консуэло представляет собой не только излияния девичьего сердца. Некоторые его страницы дают бесценные сведения о взглядах Рисаля на многие проблемы, связанные с его отношением к Испании, — в его письмах и дневниках об этом нет почти ни слова, ибо он сознательно отстраняется от участия в испанских делах (даже на такое, казалось бы, важное событие, как смерть короля Альфонсо XII в 1885 году, он откликнулся всего одной строчкой дневника: «Король умер»). Рисаль не

считает политическую борьбу в Испании своей борьбой — она интересуется его лишь постольку, поскольку могла оказать влияние на положение Филиппин. Но это не значит, что у него нет продуманной позиции по отношению к испанской монархии, — она есть, и свидетельство тому — запись Консуэло беседы ее отца с Рисалем:

«Рисаль: Союз с молодой, богатой и сильной нацией (имеется в виду Германия. — *И. П.*), я полагаю, в нынешних обстоятельствах и даже в будущем должен быть выгоден Испании, хотя может статься, этот союз окажется лишь поддержкой ослабевшей монархии...

Папа: Ослабевшей? Это как понимать? Никогда она не покоилась на более надежном основании, никогда народ так не обожал монархию — он видит в ней символ возрождения, мира, новой жизни.

Рисаль: Верно, дон Пабло, но только по форме, не по сути — она представляет собой всего лишь символ. Народ любит монархию лишь *per accidens*^[15], потому что она олицетворяет испанский мир, но не любит ее *per se*^[16]; народ все еще верит в столь желанное возрождение былого величия, но ведь есть и такие, которые только и ждут, когда кто-нибудь более решительный овладеет страной и начнет править ею.

Папа: Нет, друг Рисаль, Испания в ее нынешних условиях, с ее великим прошлым отлично может оставаться сама собою, не боясь никаких беспорядков и не опасаясь распада.

Рисаль: Но ведь сейчас самое время для нее сказать слово, что-то сделать. Нельзя же вечно быть самой собою и не меняться».

Тут необходимо уточнить, что, говоря об Испании, оба собеседника включают в это понятие и заморские территории — тогда становятся понятными слова дона Пабло о распаде, а Рисаль, говоря о требованиях перемен, имеет в виду не только собственно испанцев, но и прежде всего филиппинцев.

Роман (если только можно назвать романом платоническое ухаживание Рисаля за дочерью дона Пабло) с Консуэло заставляет Рисаля вспомнить о том, что он поэт. Поэзия в это время служит для него чем-то вроде отдохновения от тягот борьбы, в ней он изливает душу, излагает личные переживания. Примером такой поэзии для себя может служить стихотворение, посвященное Консуэло. Начинается оно словами: «К чему просить бессмысленных стихов» — и далее в семи катренах Рисаль говорит о терзаниях измученного сердца и о безнадежном будущем. Здесь присутствует и «безумие», и «мой хладный труп», и прочие атрибуты, присущие жестокому настрою стихотворения. Заканчивается оно таким

обращением к «мучительнице»:

*Прими же их, мои бедные стихи,
Вскормленные скорбью.
Ты хорошо знаешь, кому они обязаны жизнью. —
Тем из вас, кто говорит «может быть»!*

Как видим, Рисаль при случае мог написать вполне салонные стихи, пригодные для дамского альбома.

Но друзей — и в Испании и на Филиппинах — не удовлетворяют ни салонные стихи, ни публицистика и эссеистика. Они знают Рисаля как автора стихов, вызвавших большой общественный резонанс. Они требуют, чтобы поэт не забывал о служении музе, что и отразилось в названии следующего написанного им стихотворения — «Музе моей вы велите...». Это одно из лучших лирических стихотворений Рисаля. Для его лирики в целом характерна одическая направленность, декламативность, страстный призыв, проповедь. Но в Мадриде впервые в его поэзии звучит элегичность, напев, излияние чувств, исповедь. Стихотворение «Музе моей вы велите...» представляет собой первое в поэтическом творчестве Рисаля обращение к совсем иной манере, которая исключает декламативность и величавость. Это вовсе не отрицало прежнюю манеру, то было освоение новых тем, расширение и углубление поэтического мастерства, но не ценой отказа от опыта прошлого.

Причины такой перемены следует искать в личной жизни Рисаля. Оторванность от родных и близких, новое и часто враждебное окружение, а главное — тоска по Филиппинам порождают в Рисале скорбь и уныние, которые он и изливает в стихах, жалуясь, что муза оставила его и больше не вдохновляет:

*Музе моей вы велите
петь, а она не поет,
не различаю я нот,
где ты, бывшее наитье!
Струны как ветхие нити.
Льется печальный мотив —
как он бесчувствен и лжив!
Кто же повинен в обмане,
если в моей глухомани*

сам я ни мертв и ни жив?

Заканчивается стихотворение жалобами на то, что «вдохновенье мертво», находящимися в прямом противоречии со всем стихотворением, свидетельствующим как раз об обратном. Эти жалобы — довольно распространенный прием в поэзии как Запада, так и Востока, им особенно широко пользуются в периоды перелома, когда поэт не может петь по-старому и ищет новые пути.

Стихотворение сразу находит отклик в сердцах филиппинцев, друг и одноклассник Рисаль Фернандо Канон напишет позднее: «Рисаль читал свои великолепные децимы «Музе моей вы велите...», и сеньорита Консуэло Ортита, тронутая необычайной чистотой чувств, кристально чистыми ритмами, тут же переложила это ностальгическое произведение нашего мученика-поэта на филиппинский напев, и когда отзвучали последние стихи: «Петь для кого, для чего *Если ушло волшебство, Если в печальной разлуке, запахи блекнут и звуки и вдохновенье мертво?*», мы погрузились в молчаливый экстаз, и слышалось только биение филиппинских сердец».

За три года пребывания в Мадриде Рисаль создает только эти два стихотворения. Потребности борьбы за филиппинское дело поглощают его целиком, и обращение к поэзии для него чуть ли не измена главному. А главное — это борьба за реформы, сплочение эмигрантов, тут нужен не поэт, а трибун, способный повести за собой всех. И Рисаль выступает в новом качестве, как оратор, своим пламенным словом увлекающий (к сожалению, не всегда надолго и не всегда всех) соотечественников. С распадом испано-филиппинского кружка эмигранты лишились организации, но они продолжают встречаться — на улице Лобо, у «предвечного отца», реже — в доме дона Педро Патерно. А в конце года собираются на совместные трапезы, которые, как известно еще с библейских времен, сплачивают людей прочнее, чем совместная говорильня. Но трапезы эти проходят не молча: обычно филиппинская колония назначает главного оратора, призванного подвести итоги за год и наметить новые задачи. И почетная миссия проводить 1883 год возлагается на уже общепризнанного вождя эмиграции — Хосе Рисаля. Рисаль строит свою речь по всем правилам риторики, которыми овладел, еще будучи учеником иезуитов, и начинает с обращения к аудитории, которая оценивается весьма высоко, тогда как достоинства самого оратора принижаются (прием, известный еще с античности): «Ваше драгоценное

внимание не должно тратиться впустую, а то, что я вам скажу, стоит весьма немного. Однако надеюсь, что ваша благожелательность оценит мои благие намерения». Затем следуют фигуры уподобления: 1883 год — это «друг, который прощается с нами; мирный и тихий день, уходящий с наступлением ночи; прекрасная и насыщенная страница трудной книги нашего бытия». После этого, как оно и требуется по правилам филиппинского хорошего тона, Рисаль перечисляет заслуги всех присутствующих.

Красноречие вообще является существенной частью филиппинской культуры, филиппинцы любят и умеют говорить. Умение выступить, никого не задев, считается на Филиппинах драгоценным даром. При этом надо иметь в виду, что простое умолчание о ком-либо из присутствующих воспринимается как сознательное оскорбление, упоминание есть «потеря лица» для неупомянутого, а открытая критика есть уже объявление войны. Рисаль, при всей его европейской рафинированности, остается подлинным филиппинцем, он умеет и любит говорить «как положено». Иначе и быть не может: будучи поэтом, он не мог не быть оратором, поскольку в эстетическом восприятии филиппинцев грань между поэзией и красноречием ощущается далеко не так остро, как в современной европейской культурной традиции.

Воздав должное всем присутствующим и отсутствующим, Рисаль отмечает, что все филиппинцы стали серьезнее относиться к жизни. Испано-филиппинский кружок распался, но впереди великие дела: «83-й год оставил богатую память; 84-й, осмелюсь предсказать, будет великим и славным; 83-й год — это день молодежи, веселый, праздничный и улыбающийся; 84-й год — день мужания, подвигов и величия».

Рисаль заканчивает речь страстным панегириком в честь Филиппин: «...Если Филиппины спросят меня, что я делал во время паломничества, я скажу: «Я подавил в сердце своем всякую любовь, кроме любви к родине; все идеи, которые не служат ее прогрессу, я вытравил из разума; уста мои забыли все названия местных племен, чтобы не знать другого слова, кроме слова «филиппинец».

Здесь Рисаль впервые говорит о филиппинцах как о едином народе. Однако это не значит, что именно с этого момента он рассматривает филиппинцев как отдельную от испанцев нацию. Эволюцию его идей по национальному вопросу (как и по многим другим) нельзя рассматривать как непрерывное поступательное движение, он не раз возвращается вспять: несмотря на обещание «забыть названия племен», он не раз говорит о тагалах, висайцах, илоканцах и других народностях Филиппин. Лишь

позднее его взгляды приобретают некоторую стройность. Но начало положено именно в 1883 году, причем существенно, что эти же взгляды разделяет и Пасиано. Возможно, именно он дает толчок такому направлению мыслей Рисаля, когда пишет ему: «Мы гордимся тем, что мы — индио, потому что индио чувствуют и думают точно так же, как и все прочее человечество». Пасиано утверждает, что филиппинцы равны другим потому, что они «такие же». Рисаль идет дальше брата: мало выводить равенство из неотличимости, это вообще неверно, филиппинцы равны другим как раз потому, что у них есть своя культура, свои особенности, и именно это делает их равными другим.

В середине 1884 года Рисалю еще раз приходится подняться на трибуну. В жизни филиппинской колонии в Испании происходит событие, вызвавшее всеобщий энтузиазм: летом 1884 года в Мадриде проходит выставка изящных искусств, на которой объявлен конкурс работ художников «испанской национальности». Под эту категорию подпадают и филиппинцы, и, к их безмерному ликованию, золотую медаль получил их соотечественник — Луна, серебряная медаль тоже досталась филиппинцу — Идальго.

...Хуан Луна-и-Новисио всего четырьмя годами старше Рисаля, он тоже учился в Атенео, но затем поступил в навигационную школу, год плавал в азиатских водах и получил диплом штурмана. Но душа его лежала к живописи, и в 1877 году он уехал в Испанию и учился в академии Сан Фернандо — той самой, где учится и Рисаль. По окончании курса, получив высшую награду академии, Луна отправился в Рим — Мекку всех художников, где совершенствовался в своем мастерстве. Манильские городские власти, наслышавшись о его успехах, положили ему стипендию в размере 1000 песо в год. В конце 1882 года Луна начинает работу над гигантским полотном. Он изображает сцену на арене римского цирка: после боя гладиаторов служители крючьями растаскивают трупы, а убитые горем родственники пытаются отыскать останки близких людей. Картина называется «Сполариум» (место, куда стаскивали трупы в римском цирке), и написана она в традициях классицизма, но в ней прорывается и какая-то стихийная, дикая сила.

Другой филиппинский художник, Феликс Ресурексьон Идальго, выставляет картину «Христианские девы перед толпой», тоже исполненную в стиле классицизма, но совсем на иной сюжет: здесь воспеваются христианские стойкость и добродетель.

Весть о присуждении наград соотечественникам всколыхнула всю филиппинскую колонию. Лично для Рисаля их награды — блестящее

подтверждение его собственных мыслей. Ведь это он еще в 1880 году в сонете «Филиппины» (имевшем подзаголовок «В альбом филиппинским художникам») писал:

*Художники, из миртов и лилей
венец сплетите родине моей,
не уставайте славить Филиппины!*

И вот он, венец успеха! Золотая и серебряная медали у филиппинцев. И неважно, что на картинах не изображены Филиппины (потом и им найдется место в творчестве и Луны и Идальго), — важно, что их создала филиппинская кисть, что все признают филиппинский гений.

23 июня 1884 года Луна, узнавший о присуждении ему награды, приезжает в Мадрид. Братья Патерно — самые богатые из эмигрантов — устраивают в его честь грандиозный банкет (Идальго не смог прибыть вовремя). На банкете выступают два оратора: Грасиано Лопес Хаена, признанный мастер красноречия, и Хосе Рисаль, признанный вождь эмиграции. Сопоставление их речей не лишено интереса. Лопес Хаена говорит, что над Филиппинами восходит «после трехсот лет мрачной ночи яркое солнце справедливости», о чем свидетельствует, по мнению оратора, присуждение премий филиппинским художникам (вывод, мягко говоря, не вполне оправданный). Затем Лопес Хаена дает волю своему темпераменту. Мы уже говорили, что и Рисаль склонен к патетике, даже выпренности, но это только по европейским меркам. По филиппинским же масштабам он пресноват и ему далеко до Грасиано, который обрушивается на тех, кто не желает распространять испанские законы на филиппинцев.

Речь Рисаля куда сдержаннее. Он лишь мимоходом касается «близоруких пигмеев, которые, заботясь только о настоящем, не способны прозревать будущее, не взвешивают последствий; этих врачей, которые сами больны». Под пигмеями, несомненно, имеются в виду монахи. Большую часть речи Рисаль посвящает обоснованию тезиса о равенстве филиппинского и испанского народов: «Их (Луны и Идальго. — *И. П.*) слава сияет в двух противоположных точках земного шара — на Востоке и на Западе, в Испании и на Филиппинах». Здесь пока еще нет ничего такого, с чем не согласились бы все участники движения пропаганды. Их вполне устраивает и заключительный тост: «Я пью за здоровье филиппинской молодежи, прекрасной надежды моей родины (буквальная цитата из стихотворения «Филиппинской молодежи». — *И. П.*), за то, чтобы она и

впредь подражала прекрасным примерам, и тогда мать-Испания, заботливая и внимательная, скоро осуществит реформы, которые давно обдумывает».

Но в середине речи есть пассаж, значение которого понято не всеми присутствующими. «Границы Испании, — говорит Рисаль, — это не Атлантика, не Средиземное море и не Кантабрийское; было бы постыдно, если бы воды могли ограничить ее величие, ее идеи; Испания там, где ощущается ее благотворное влияние, и хотя ее флаг может исчезнуть, останется память о ней — вечная, неуничтожимая. Что значит красно-желтый клочок материи, что значат ружья и пушки там, где нет любви к мягкости, где нет обмена идеями, единства принципов, гармонии мнений?» Уже в 1884 году Рисаль предполагает возможность отделения Филиппин от Испании (хотя и не высказывается в пользу такого развития событий, предпочитая «любовь и мягкость»), но в то же время признает, что культурное единство Испании и Филиппин неуничтожимо. Речь Рисаля вызывает некоторое замешательство среди тех, кто понимает, что именно имеет в виду Рисаль. Но таких немного. Друг Рисаля, «мушкетер» Хосе Сесилио, пишет ему из Манилы по получении текста речи: «Думаю, что немногие здесь поймут всю глубину и значение твоей речи».

Необоснованным был бы вывод о том, что с этого момента Рисаль меняет свое отношение к метрополии — вполне лояльные высказывания об Испании встречаются у него и позднее. Но можно утверждать, что именно в 1884 году Рисалем обозначается возможный отход Филиппин от Испании, который со временем станет исторической необходимостью, и Рисаль первым осознает ее. Как бы то ни было, положение Рисаля, признанного вождем филиппинской эмиграции (и без того бесспорное), еще более укрепляется, возросла и его слава писателя, поскольку речь в честь художников воспринималась и как литературное произведение.

Рисаль произносит речь в разгар сессии. Деньги от Пасиано задерживаются, и в тот день поесть ему удастся только на банкете, о чем он и пишет в дневнике: «25 июня. Сдал греческий, занял первое место. Сегодня произнес речь. После экзамена был голоден, а есть нечего, денег тоже нет (эта последняя фраза зашифрована. — *И. П.*). Был голодным до самого вечера. 26 июня. Сегодня сдал всеобщую историю. Отлично. 30 июня. Сегодня сдал греческую и латинскую литературу. Первое место».

Учеба, общественная деятельность и работа над романом оставляют Рисалю мало времени для участия в движении в качестве пропагандиста. Но он искусно направляет все движение, хотя сам лишь изредка появляется на страницах испанских газет. Он требует от соотечественников активного участия в публицистической деятельности. Под его воздействием (иногда

очень резким) филиппинцы начинают громче заявлять о себе. Они по-прежнему выдвигают те же три требования: распространение на Филиппины испанских законов, представительство в кортесах и реформы на архипелаге. Печальная судьба испано-филиппинского кружка научила Рисаля многому. Он считает, что начать сейчас создавать свою организацию — значит снова погрузиться в мелочные распри из-за лидерства, так что лучше ограничиться не формальным объединением, а духовным. Что до своего печатного органа, то и без него пока можно обойтись — в Мадриде издается достаточно газет, которые охотно предоставляют свои полосы «заморским испанцам» — кубинцам, пуэрториканцам и филиппинцам.

В январе 1883 года начинает выходить газета «Лос Дос Мундос», специально посвященная жизни в «заморских территориях», как осторожно называют теперь оставшиеся колонии Испании. Цели газеты весьма умеренны: «Требовать для Кубы, Пуэрто-Рико и Филиппин равенства в правах, насколько это возможно, с другими испанскими провинциями; всеми силами действовать в интересах отечества (то есть «Большой Испании». — *И. П.*)...» В газете с самого начала сотрудничают два соратника Рисаля — Грасиано Лопес Хаена и испанский юрист с Филиппин Педро Говантес, личность, куда более умеренная, чем Грасиано. Но первую статью в «Лос Дос Мундос» публикует третий филиппинец, Томас дель Росарио (его в своей новогодней речи Рисаль отметил как «неистощимого оратора, яркого, продуктивного писателя», но эту характеристику можно отнести на счет обязательных похвал). Статья дель Росарио, в сущности, означает шаг назад. Он с самого начала заявляет, что руководствуется «неразрывными связями, сплывающими воедино эти острова (Филиппины. — *И. П.*) с родиной (Испанией. — *И. П.*), глубоким уважением, которого заслуживают религиозные корпорации (монашеские ордены. — *И. П.*), тем национальным чувством, которое бьется в сердцах обоих народов». Со «связями» Рисаль еще мог бы согласиться, а вот «уважение к религиозным корпорациям» он никак не разделяет.

Явно высказав свое неудовольствие статьей, Рисаль требует от соотечественников четче выражать интересы филиппинцев.

В 1884 году в пропагандистской кампании наступает перелом — она теряет просительный тон, голос эмигрантов начинает звучать куда тверже. Уточняется и «объект атаки» — она ведется прежде всего против монашеского засилья. «Направление главного удара» указал Рисаль серией антирелигиозных, антимонашеских статей. Грасиано сразу же подхватывает тему и уже в 1884 году пишет гораздо определеннее. Монах становится и его главным врагом: «Он живет как феодальный сюзерен, он

не знает власти выше своей собственной, он властвует как тиран и деспот, он жестоко и варварски наказывает, если его распоряжения не выполняются; словом, он настоящий касик во всех городах, удаленных от провинциального центра».

Такой резкий тон пугает «умеренных», которые оформляются в правое крыло движения пропаганды. Они по-прежнему за реформы, за представительство в кортесах, но говорят о необходимости признать цивилизаторскую миссию религиозных корпораций. Говантес даже пишет, что монахи выступают благодетелями крестьян, поскольку сдают им землю якобы на льготных условиях. По этому вопросу и происходит размежевание эмиграции на радикальное и умеренное крыло.

Впрочем, радикализм рисалистов тоже не следует преувеличивать. Сам Рисаль в это время занят романом и не принимает непосредственного участия во вспыхнувшей полемике — он направляет ее из-за кулис.

Но события на Филиппинах заставляют его еще раз взяться за перо. В апреле 1884 года на острове Самар, а летом в провинции Пангасинан вспыхивают волнения, жестоко подавленные войсками. Официальная печать Испании пытается замолчать преступления властей. Вся филиппинская колония в Мадриде требует объяснений. 4 августа 1884 года Рисаль выступает в газете «Эль Прогресо» со статьей «Флибустьерство на Филиппинах». Он предсказывает, что колониальная администрация попытается свалить всю ответственность на так называемых флибустьеров, а ими, по мнению властей, являются все, «кто не снимает шляпы, встретив испанца, какая бы ни была погода, кто, приветствуя монаха, не целует его потную руку или полу его сутаны, кто выражает недовольство обращением на «ты», кто выписывает периодику из Испании или из Европы, даже если она посвящена литературе, кто читает не только молитвенники и сказки о чудесных свойствах монашеских поясов, веревок и наплечников, кто на выборах гобернадорсильо голосует не за того, на кого указал священник, одним словом, все те, кого нормальные, цивилизованные люди считают добрыми гражданами, друзьями прогресса и просвещения, на Филиппинах считаются флибустьерами, врагами порядка, И. подобно громоотводу в грозовой день, они притягивают ненависть и несчастья».

Слово «флибустьер» вошло в оборот после восстания 1872 года — именно этим словом испанцы заклеили его участников, и применялось оно прежде всего к образованным филиппинцам. Позднее Рисаль так напишет об этом: «Слово «флибустьер» очень мало известно на Филиппинах. Население еще не знает его. Я услышал его впервые в 1872 году, когда была совершена трагическая казнь. Я до сих пор помню панику,

которую производило это слово. Наш отец запретил нам произносить его, равно как и слова «Кавите», «Бургос» и т. д. Манильские газеты и испанцы применяют это слово к тем, кого они подозревают в принадлежности к революционерам. Филиппинцы, принадлежащие к образованным классам, боятся этого слова. Оно не означает «пират», скорее оно означает «опасный патриот, который вот-вот будет повешен» или, может быть, «самонадеянный человек».

Статьи и речи Рисаля находят отклик не только в среде эмиграции. Они доходят и до далеких островов, и там тоже признают его вождем. Младший брат художника Хуана Луны, Антонио Луна, впоследствии видный деятель движения пропаганды, а еще позднее знаменитый революционный генерал, пишет: «В 1884 году нам, филиппинским студентам в возрасте от 15 до 20 лет, Рисаль казался необыкновенным человеком, который издалека, с пьедестала, воздвигнутого его собственными усилиями, указывал нам дорогу к прогрессу, мы читали все, что сходило с его пера, внимали ему со священной сосредоточенностью, усваивали его идеи, думали его мыслями, легко приходили в восторг, потому что в нас жило эхо — пусть слабое, — которое отзывалось на его голос».

Филиппинского вождя видят в Рисале не только соотечественники. Мигель Морайта, видный историк, торжественно приглашает его на чествование Джордано Бруно, жертвы инквизиции. Принять такое приглашение в католической Испании — значит недвусмысленно указать, по какую сторону баррикад находишься, значит сделать окончательный выбор. И Рисаль не колеблясь делает его. Ему импонирует афоризм Морайты: «Нам не нужна азиатская колония, нам нужна азиатская провинция» — это вполне укладывается в программу движения пропаганды. Довольно близко он сходится и с республиканцем Пи-и-Маргалем, который тоже требует превращения колоний в провинции («Мы не требуем особого режима для колоний, мы считаем их провинциями Испании и, следовательно, автономными во всем, что определяет их отношение к матери-стране»). Но ближе всего Рисаль сходится с Рафаэлем Лаброй, сенатором, представляющим Кубу в кортесах, и «автономистом» по своим убеждениям: Лабра идет дальше идеи ассимиляции и требует автономии для Кубы. Рисалю — и пока только ему одному среди всей филиппинской эмиграции — эта идея кажется чрезвычайно привлекательной, но до поры до времени он молчит. А пока Рафаэль Лабра по просьбе Рисаля неоднократно выступает в кортесах с интерпелляциями по филиппинским вопросам, доставляя немало хлопот кабинету и особенно

министерству заморских территорий.

В 1884 году Рисаль заканчивает учебу в университете и сдает экзамены на звание лиценциата медицины. Он колеблется («Я в нерешительности: чем заняться в этом году?»): с одной стороны, он хочет продолжать учебу и написать работу на докторскую степень, но это стоит денег, которых у него, как обычно, нет («Если я запишусь на докторантский курс, придется заплатить 33 песо, а для меня это слишком дорого, так как недавно я заказал зимнюю одежду»). С другой стороны, ему хочется получше изучить офтальмологию, для чего нужно попрактиковаться во Франции, а лучше всего в Германии («Я хотел бы посетить знаменитые центры офтальмологии»). Но больше всего ему хочется вернуться на родину («Я хочу вернуться как можно скорее в наш город, чтобы избавить семью от расходов»), где его ждет Леонор — она страдает и все еще болеет; как пишет конфиденгент Рисаля в Маниле Хосе Сесилио, «причина его болезни — твой отъезд без ее ведома».

Докторантский курс Рисаль так и не прослушает, требуемую работу не напишет, докторского диплома не получит. Правда, тремя годами позже он задумается о получении звания доктора заочно («Я готов уплатить за звание и пошлю свою работу — надо узнать, можно ли сделать это таким образом, без личного присутствия»), но замысел этот так и останется неосуществленным. Более того, даже диплом лиценциата он выкупит только семь лет спустя, когда решит заняться медицинской практикой.

Что касается третьей возможности, возвращения на родину, то Пасиано решительно против. Во-первых, из-за речи на банкете в честь художников, хотя сам Пасиано не видит в ней ничего криминального: «Здесь говорят, что теперь ты не сможешь вернуться, что тебе лучше оставаться там, что ты наделал врагов, потерял друзей. Эти неосновательные предположения разволновали маму, и она заболела». Во-вторых, Пасиано считает, что возвращение младшего брата не принесет радости родителям: «Мне кажется, — пишет он в письме, — никто не может гарантировать, что твое возвращение не принесет огорчения родителям, а потому, поскольку мне легче высылать тебе месячное пособие, чем сразу оплатить проезд, я думаю, что тебе лучше продолжать учебу». Мнение старшего брата высказано, по филиппинским понятиям, оно — закон, и путь к возвращению закрыт. К учебе в Мадриде Рисаль охладевает, и остается только вторая возможность — уехать в Европу, против чего Пасиано не возражает.

Но Рисаль еще на год с лишним остается в Мадриде. Главная причина — отсутствие денег: цены на сахар на мировом рынке в это время падают, и

Пасиано не может выслать даже обычное вспоможение, а занимать у друзей Рисаль стесняется, хотя практика взаимного одолжения широко распространена среди филиппинцев и сам Рисаль охотно ссужает своих друзей, особенно безалаберного Грасиано Лопес Хаену, вовсе не рассчитывая на возвращение долга. Его повышенная даже для филиппинца чувствительность не позволяет ему искать синекуру: «Откровенно говоря, — пишет он семье, — мне недостает смелости явиться в приемную министра и умолять его дать мне работу — и вам, и мне будет стыдно».

Рисаль ведет несколько рассеянный образ жизни — посещает друзей, театры. Но это вечером. Днем он упорно работает: изучает немецкий язык и пишет роман. В романе он намерен дать широкую картину филиппинской жизни.

Но заниматься только писательством нет возможности — неизвестно, как встретят книгу читатели, окупит ли она себя. Судя по тону писем, Пасиано считает, что младший брат чуть ли не бездельничает. Значит, надо либо заниматься медицинской практикой, либо продолжать учебу вне Испании. Филиппинская эмиграция, как кажется, сплочена, цели ей поставлены четкие — все говорит за то, что она справится и без Рисаля. В октябре 1885 года он выезжает в Париж.

В ЕВРОПЕ РОМАН-ДИАГНОЗ «ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ»

*Так спи же в ночи непробудного сна.
Пусть ты не дожил до счастливого мига —
Узнай, что в сердцах твоих братьев навек
Воздвигла алтарь твоя гордая книга.*

Хосе Пальма и Веласкес.

На последней странице «Noli me tangere»

Собственно, это его второй визит в Париж. Еще летом 1883 года он съездил в «столицу Европы» на два с половиной месяца (Консуэло Ортигеи-Рей он сказал тогда, что едет излечиться от любви к ней). Разжиревшая французская буржуазия, за несколько лет до того испытывавшая на себе гнев и ярость коммунаров, быстро уплатившая контрибуцию Германии, пыталась успокоить себя, доказать себе и всему миру, что «все в порядке», что у нее есть еще созидательный потенциал, перестраивала Париж: прокладывались новые улицы, создавалось кольцо знаменитых бульваров. Всюду были ямы, рытвины, груды кирпича. В длинных письмах к родственникам Рисаль тщательно, как «Бедекер», описывал великий город, его исторические памятники, жаловался на неудобства, вызываемые реконструкцией, но все же восхищался Парижем; не забывая отметить, что здесь жили герои «Трех мушкетеров». Он ощутил и некоторое собственное «несоответствие» рафинированности и утонченности столицы Европы: «Привыкнув в течение нескольких месяцев к иному обращению (намек на жизнь в Мадриде. — *И. П.*), здесь, в Париже, я нахожу себя грубым и действительно являюсь таковым. Но это так, замечание в скобках...» Тогда же, в первый свой приезд в Париж, Рисаль еще раз убедился, что Филиппины никому неведомы. На выставке японской живописи его приняли за японца, и он храбро начал объяснять особенности эстетического мышления японцев — с этим он справился успешно, но когда юная француженка спросила, что означают иероглифы под рисунком тушью, ему пришлось ретироваться под невразумительным предлогом

(через пять лет Рисаль уже будет свободно говорить по-японски). И еще в первый свой визит он посетил Пантеон и долго стоял перед гробницей Руссо и своего кумира — Вольтера, созерцая статую работы Гудона.

На сей раз Рисаль приезжает в Париж не созерцать, но работать: совершенствоваться в офтальмологии и писать первый филиппинский роман.

Останавливается он у Хуана Луны, ставшего его другом после знаменитой речи в честь филиппинских художников. Место удобное, жилище просторное, и когда Хуан оставляет кисть, а Рисаль — перо, они превращают студию в фехтовальный зал. Здесь как-то раз их фотографируют — сразу после боя, с рапирами в руках. Это единственный снимок, на котором Рисаль улыбается, все остальные фотографии передают изображение серьезного человека (впечатление иногда такое, что он не способен улыбаться).

Студия Хуана Луны — на бульваре Араго, недалеко от площади Италии. А по другую сторону площади, в нескольких минутах ходьбы от студии, находится глазная клиника Луи де Векера, лучшего офтальмолога Европы, у которого лечатся пациенты даже из королевских домов, по и бедняки тоже. И скоро Рисаль уже работает в клинике де Векера, где иногда делают до десяти операций в день. Глазная хирургия к тому времени насчитывала всего 30 лет от роду, и сам де Векер много сделал для ее развития в самостоятельную отрасль медицины. Особенно удачно он удаляет катаракты, возвращая людям зрение. У него мировая известность, а чести быть его ассистентами добиваются многие. Всего ассистентов 14: «Один итальянец, один североамериканец, один грек, один австриец, три латиноамериканца, четыре француза, один немец, один поляк и я», — пишет Рисаль семье. Как человек, воспитанный на классических образцах, он с особым любопытством ждет встречи с греком, воображая того живым воплощением античной статуи, но тот его, увы, разочаровывает: «У нашего грека нет ничего от того грека, которого представляет себе всякий, изучавший историю Греции. Он мал ростом, бородат, цвет лица темный, сложен плохо... В эпоху Перикла его приняли бы за варвара».

Все 14 учеников сначала ассистируют при операциях, причем экспансивный де Векер может и повысить голос («На меня он крикнул только раз», — не без гордости отмечает Рисаль), а потом профессор поручает им делать операции самостоятельно. И скоро Рисаль становится прекрасным глазным хирургом, у него вырабатывается то, что называется чутьем: умение в случае осложнений в ходе операции мгновенно принять правильное решение и мгновенно же осуществить его. Профессор де Векер

сразу отмечает этот дар своего нового ученика и выделяет Рисаля среди других — его чаще других приглашают в дом учителя, более того, ему разрешается приводить с собой друзей, и по воскресеньям он с Луной обедает у этой европейской знаменитости.

В письмах к семье Рисаль подробно — и не без восторга — описывает особняк де Векера: ковры, статуи, гобелены, хрусталь, а главное — элегантность и тонкий вкус во всем, в умении жить, в манере общения. В письмах часто проскальзывает фраза: «В Испании я не видел ничего подобного». Учителя-иезуиты изо всех сил старались сделать из Пепе испанца и в свое время преуспели в этом: в годы учебы он поставил своей целью стать «хорошим испанцем». Но теперь он убеждается, что быть испанцем еще не значит быть вполне европейцем, столица Европы — Париж, только там можно приобрести лоск и утонченность. И Рисаль обретает их. Он уже превосходно говорит по-французски, изысканно и со вкусом одевается (к хорошей одежде он всегда питал слабость), у него настоящий парижский стиль, он желанный гость во многих салонах. Для самоутверждения все это немаловажно.

Но усваивает он не только внешний лоск. Его пытливый ум стремится добраться до глубин, он знает, что французская культура — не только изящная речь, не только изысканные манеры, не только артистический вкус. Богатейшая духовная культура Франции привлекает его пристальное внимание. Он считает себя служителем муз, а потому обращается к французской литературе, которую изучает глубоко и тщательно. Свидетельство тому — цикл литературно-критических работ, написанных на французском языке и посвященных анализу творчества Корнеля, Доде и других авторов.

В Париже из-под пера Рисаля выходят не только изящные критические статьи. Он набрасывает — опять на французском языке — философско-религиозное эссе «Пальмовое воскресенье». Рассуждает он о далеких временах, о въезде Иисуса Христа в Иерусалим и пишет: «Если бы Иисус не был распят, если бы он не стал мучеником своего учения... оно так и осталось бы в сердце Иудеи, его не приняли бы несчастные — у них просто не хватило бы смелости, что подтверждает Петр, первым предавший своего господина, и все ученики Иисуса, которые рассеялись, как только настали тревожные времена; эта религия так и погибла бы вместе с еврейской нацией». В этих словах нет и намека на божественность Христа (позднее Рисаль недвусмысленно отвергнет ее), но в них, несомненно, отражено его личное убеждение в том, что всякое дело, в том числе и дело филиппинцев, требует своего мученика. Горечь и печаль, сквозящие в этих словах, есть

предчувствие своей собственной судьбы.

Но такие мрачные мысли, судя по письмам и дневникам, не всегда владеют им. Работа в клинике де Векера, светский образ жизни, интересные встречи — все это увлекает его. Из Испании идут неплохие вести, один из бывших «мушкетеров» пишет, что колония в Мадриде по-прежнему дружна — встреча нового, 1886 года прошла необычайно тепло, все вспоминали отсутствовавшего «папу римского», пили за его здоровье, отмечали его вклад в дело сплочения филиппинцев. На банкете было зачитано его письмо с выражением глубокой преданности общему делу. Письмо вызвало бурю аплодисментов («Тебя чествовали с необычайным энтузиазмом и теплотой», — пишет Рисалью один из участников встречи).

Как всегда, плохо с деньгами. Пасиано задерживает высылку обычного вспоможения в связи с падением спроса на сахар на мировом рынке. Правда, остались должники в Мадриде, но и сам Рисаль не всегда выступал в качестве заимодавца, он тоже что-то кому-то должен, а поскольку все друг у друга занимают, трудно подвести общий баланс («Мино не вернул мне положенную сумму, — жалуется «мушкетер»-должник в том же письме, — он говорит, что ты брал 23 песеты у Педро и тот вычел эти деньги, когда давал ему займы» — найти концы в этой истории с займами невозможно). А жизнь в Париже недешева. Стоит ли оставаться здесь? Рисаль, который когда-то в Каламбе объявил отцу, что знает все, что знает его учитель, приходит к выводу, что и у де Векера он взял все, что можно взять, и что пора перебираться в Германию.

Во-первых, жизнь там куда дешевле, что немаловажно. Во-вторых, надо изучать теорию офтальмологии — де Векер дал хорошую практику, но нужны и теоретические знания. Он пишет семье: «Что касается глазных болезней, то здесь дела идут отлично. Я уже могу делать все операции, осталось только изучить глазное дно. Говорят, лучше всего его знают в Германии, и за учебу там надо платить всего 10 песо в месяц. Я собираюсь в Германию... Надеюсь за шесть месяцев усвоить свою специальность и выучить немецкий язык — выучил же я французский за пять месяцев, хотя и жил с филиппинцами». В-третьих, и это, может быть, главное, в Германию его влечет общая жажда знаний. Да, Париж — столица Европы во всем, что касается вкуса и утонченности. Но зато Германия, как считается, первенствует в «сфере духа», в области науки. Так ли это?

Карл Маркс писал, что «абстрактность и высокомерие ее (Германии. — И. П.) мышления шли всегда параллельно с односторонностью и приниженностью ее действительности»^[17] и что в Германии «надутое и безмерное национальное чванство соответствует весьма жалкой,

торгашеской и мелкоремесленной практике»^[18]. Но Рисаль, приехавший из интеллектуальной провинции Европы — Испании, а до того живший в средневековой обстановке Филиппин, где властвовал тупой и невежественный монах, сравнивает Германию именно с этими странами, и сравнение, естественно, не в пользу последних. Позднее враги Рисаля не раз будут говорить о том, что Германия оторвала Рисаля от родных корней. Иезуиты будут утверждать, что немецкий протестантизм погубил в Рисале католика и, следовательно, испанца. «Он прыгнул далеко вперед, — велеречиво вещает иезуит Пабло Пастельс, — а оказался в глубокой пропасти, в Германии, которая погрузила его в бездну ереси, разлучила с католической религией и испанской нацией, возбудила в нем дух флибустьерства». Будущий противник Рисаля, испанский академик Баррантес, напишет о «душе, соблазненной немецким образованием, перед которым она не могла устоять». Мнение о германофильстве Рисаля сохраняется по сей день и в филиппинском и в западном рисалеведении.

Влияние на Рисаля немецкой «школы мышления» отрицать невозможно. Он сам пишет о Германии как о своей «научной родине», восхищается немецкими учеными, немецким образом жизни: «Я постоянно думаю о Германии и немецких ученых... Когда я слышу немецкий язык, я радуюсь, словно услышал родную речь. Я всегда говорю: «В Германии так не делают, в Германии мы того-то и того-то не услышали бы и не увидели».

Однако признания в любви к Германии вовсе не означают, что Рисаль ослеплен и не способен трезво оценивать окружающее. Он видит «надутое и чрезмерное национальное чванство», о котором писал Маркс, и многое — особенно милитаризм и шовинизм — претит ему. «Мы все время спорим с одним немцем, — пишет он в 1887 году, — который просто фанатик во всем, что касается его родины. Он утверждает, что Германия первенствует во всем. Я с ним не согласен и говорю, что, хотя немцы действительно являются великой нацией, нельзя сказать, что они во всех отношениях лучше других». Уже первая встреча с Германией действует на него отрезвляюще: «Как только пересекаешь границу, — пишет он, — сразу осознаешь, что ты в другой стране, — везде военная форма, милитаризм, даже железнодорожники и те в форме... Германия — страна субординации и порядка».

Эта запись сделана 2 февраля 1886 года, сразу после пересечения границы. На день Рисаль останавливается в Страсбурге, где еще видны следы недавней франко-прусской войны: Страсбург подвергся жесточайшей бомбардировке («Здесь следы пуль, там воронки, разрушенные форты крепости...»), да и сейчас город полон солдат, что с

неудовольствием отмечает Рисаль. Его цель — Гейдельберг, центр умственной жизни южной Германии, знаменитый университет, основанный в 1386 году курфюрстом Рупрехтом, пострадавший во время Тридцатилетней войны и вновь достигший расцвета после Вестфальского мира благодаря усилиям курфюрста Карла Фридриха, а потому университет носит имя Рупрехта — Карла, или, в латинизированной форме, университет Руперто — Карола.

Здесь, на левом берегу Неккара, в узкой долине, лучше всего «сохраняется покой души», как писал один немецкий поэт. Здесь в свое время был Гете... Свое пятисотлетие университет отмечает при Рисале. На праздновании воспроизводятся некоторые старинные университетские обычаи, весьма грубые и даже варварские. Когда-то, для того чтобы стать полноправным буршем, надо было пройти через унижительное посвящение — «депозицию». Поступавший именовался «беамис», что примерно означает «балбес», и поступал в распоряжение герра депозитора, то есть посвятителя. Посвящаемого одевали в одежду из разноцветных лоскутьев, надевали дурацкий колпак, размалевывали лицо, в рот вставляли свиные клыки. Герр депозитор длинной палкой гнал «балбесов» в зал, где начиналась серия издевательств, призванная очистить «балбеса» от глупости, которой он набрался, живя среди профанов. Предлагалась серия вопросов такого типа: «Имел ли ты мать?» — «Да». — «Врешь, балбес, это она тебя имела». За каждый неверный ответ (а верного быть не могло) — оплеуха. Огромными ножницами стригли волосы («Ты, козел, имеешь много лишних волос, и я из жалости стригу тебя»), длинной ложкой чистили уши («Глупыми речами загрязнились уши твои, чищу их для науки»), потом «балбеса» таскали за ноги по полу («Литература и искусство отполируют тебя подобным же образом»). После многих проделок герр депозитор выливал на «балбеса» ведро воды и вытирал его грязной тряпкой. Только тогда испытуемый во всем безобразии отправлялся к декану. Тот клал ему в рот щепотку соли («аттическая соль», символ мудрости) и поливал голову вином. «Балбес» становился студентом, вступал в одну из корпораций, организованных по принципу землячества.

Рисаль, поживаясь, смотрит на это малопривлекательное представление — после французской рафинированности оно производит на него тяжелое впечатление. Правда, это уже история, теперь процедура посвящения иная. Но корпорации буршей — со своим кодексом чести и непрерывными дуэлями — все еще существуют. «Балбесы» теперь именуются фуксами, они должны служить старшим буршам шесть месяцев, шесть недель, шесть дней, шесть часов и шесть минут и лишь

потом — после грандиозной попойки — становятся полноправными буршами. С дуэлями и системой третирования борются, но без особого успеха.

Учатся в Гейдельберге и русские студенты — человек 30. Большею частью это медики, их объединяющий центр — «пироговская читальня», созданная великим русским хирургом — он тоже учился в Гейдельберге. Русские держатся несколько особняком и дружно вступаются друг за друга, поэтому трогать их боятся.

Рисаль счастливо избегает необходимости вступать в корпорацию, хотя недвусмысленное предложение ему делают в первый же день, 3 февраля 1886 года. «Я прибыл в Гейдельберг в среду, — пишет он семье, — в половине третьего дня. Город показался мне веселым, на улицах одни студенты в красных, желтых, белых и синих кожаных шапочках — символ принадлежности к корпорациям; члены корпораций дерутся друг с другом на дуэлях для развлечения...» Останавливается он в пансионе: «Здесь не так дешево, как я ожидал, — за комнату, еду и обслуживание надо платить 28 песо в месяц. Конечно, это дешевле, чем в Париже, но дороже, чем я рассчитывал... Очень холодно, идет снег, надо все время топить, а то замерзнешь». Оставив вещи, Рисаль идет в «Золотой погребок», пристанище студентов. За одним из столов сидят восемь-девять студентов в желтых шапочках — члены корпорации «Швабия». Сбравшись с духом, Рисаль подсаживается к ним и начинает разговор. И обнаруживает то, что обнаруживают все, изучающие язык по книгам: его никто не понимает, и он никого не понимает («Они путают звуке и *ф*», — жалуется он в письме; видимо, сам Рисаль произносил немецкую букву *v* как *вив* его речи *von* звучит как *вон*).

По счастью, студенты оказываются медиками и, следовательно, знают латынь. Рисаль и сам изрядный латинист, а потому все переходят на этот язык ученых людей. Рисаль спрашивает, где лучше всего знают «глазное дно». Немного поспорив между собой, бурши соглашаются, что лучшая Augenklirik (глазная клиника) принадлежит Отто фон Бекеру. Смущенный азиат вызывает у них симпатию, и они тут же предлагают ему вступить в корпорацию «Швабия», что даст ему сомнительную честь носить желтую кожаную шапочку и драться во славу «Швабии» со студентами других корпораций. Но, узнав, что чужестранец недолго пробудет в Гейдельберге, сами снимают предложение — ведь шесть месяцев, шесть недель, шесть дней, шесть часов и шесть минут надо пробыть фуксом, и только потом можно надеть эту самую шапочку.

Тем не менее швабская корпорация берет Рисаля под свое

покровительство — драться на дуэлях ему запрещено, поскольку правами бурша он не обладает, но присутствовать на них и оказывать медицинскую помощь — пожалуйста. «Трижды я был на дуэлях на Хиршгассе, — пишет он уже в конце февраля, — и видел их не то 20, не то 25; всякий раз дрались семь, восемь или девять пар. Нередко дело кончается кровопролитием. Один бурш получил шесть ран...» Друзья в Мадриде, узнав из писем Рисаля о любимой забаве немецких студентов, тревожатся за него. «Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, — пишет один из «мушкетеров». — Ведь ты там один, без земляков. С одной стороны, ты пишешь, что немецкие студенты очень дружелюбны, а с другой — что они очень воинственны и что их любимое развлечение — дуэли, из которых они выходят со шрамами, раненые. Честно говорю, мне вовсе не хочется увидеть тебя в один прекрасный день со следами этой варварской забавы». Друзья боятся за Рисаля — он нужен «филиппинскому делу», и участие в кровавой потехе без всякого повода, просто чтобы показать свою храбрость, не бог весть какая заслуга. Впрочем, Рисаль и сам не стремится ввязаться в драку: он прекрасный фехтовальщик, но привык к рапире, немецкие же студенты дерутся на саблях.

Совет, данный швабскими буршами, оказывается ценным: на другой же день он отправляется к Отто фон Бекеру, и тот сразу принимает его ассистентом. Практики здесь меньше, чем в Париже, но ведь в Париже 2 миллиона жителей, а в Гейдельберге — 24 тысячи. 17 февраля он пишет семье: «Уже 13 дней как я работаю в глазной клинике под руководством знаменитого окулиста Отто фон Бекера. Может быть, он не так знаменит, как великий хирург де Бекер в Париже, но в Германии его все знают, он написал много книг».

Фон Бекер действительно один из лучших офтальмологов Европы. В Гейдельберг его пригласили из Вены и оборудовали по его указаниям глазную клинику (она существует и сейчас), ставшую образцом для глазных клиник всей Европы. Сам Бекер не только хирург, но и недурной музыкант, среди его друзей — великий Брамс. Впрочем, Рисаля, человека к музыке не склонного, это не трогает. Он рад возможности погрузиться в теорию: «Здесь меньше операций, чем в Париже, но зато я изучаю фундаментальные вещи».

Изучение «фундаментальных вещей», участие в студенческой жизни, а вечерами работа над романом не могут отвлечь Рисаля от мыслей о родине, о семье, о Леонор. К непривычному укладу жизни добавляется суровый для филиппинца климат, который усиливает гнетущее чувство. Рисаль плохо переносит зиму, жалуется чуть ли не в каждом письме и на нехватку

теплого белья, и на то, что уже с марта ему пришлось отказаться от камина — нечем платить за дрова. Все эти жалобы едва ли понятны его родственникам, живущим в тропиках. С наступлением весны ему как будто становится легче, но вид цветущих деревьев только усиливает тоску по родине, по близким и дорогим людям. И он изливает эту тоску в замечательном стихотворении «Цветам Гейдельберга», написанном 22 апреля 1886 года. Четыре года муза Рисаля молчала, и вот теперь мы снова слышим ее голос:

*Цветы чужбины! Пусть в родные дали
вас ветер отнесет, и там, за морем,
под неба синевой,
где рос я без печали,
вы расскажите, как убит я горем,
как мечтаю край увидеть мой!
Вы расскажите, как в рассветный час,
когда вы раскрываетесь впервые
у Неккара, не сбросившего лед,
я, сидя подле вас,
мечтаю о стране, где круглый год
весна цветы рождает огневые.
Как поутру, когда ваш запах в дали
уносит ветер, я пою в тоске
на странном языке,
которого вовеки здесь не знали.*

Это глубоко лирическое стихотворение, это подлинная «поэзия субъекта», как бы объективирующего свое «я» и вступающего в диалог с самим собой. Стихотворение Рисаля — беседа с самим собой о родине, хотя сквозь общую элегическую интонацию стихотворения все же прорывается одическая, столь характерная для прежнего Рисаля.

Не забыта и Аврора. Теперь она — единственная обительница греко-римского пантеона, тогда как раньше стихотворения Рисаля куда плотнее были заселены богами, наядами, нимфами. Видимо, сказала «немецкая сдержанность», хотя и не настолько, чтобы отказаться от атрибутов католического барокко. Есть в нем и подражательность. В самом деле, в стихотворении «Цветам Гейдельберга» немало «стертых» клишированных образов и метафор, издавна присущих испанской поэзии. Здесь и

«священный отцовский очаг», и глагольная метафора «запечатлеть поцелуй» и т. п. Но это не умаляет достоинств стихотворения: ведь перед нами первый филиппинец, изливающий тоску по родине в испанских стихах, а потому его филиппинским современникам все это не могло не казаться чем-то свежим, дотоле небывалым; с их точки зрения, такие «вкрапления» свидетельствовали исключительно о мастерстве автора, который и сам, видимо, не ощущал стертости этих образов.

И он имел на это полное право. То, что потускнело в одной поэтической системе (испанской), засверкало новыми гранями, будучи перенесенными в другую систему (филиппинскую), потому что всякий отдельный элемент — будь то поэтический образ, сюжет, мотив и т. п. — получает свое значение только в системе целого. И в новой системе (филиппинской поэтики) ему суждена иная жизнь.

Написав это стихотворение (напечатано оно будет только через три года), Рисаль решает сделать перерыв в занятиях и отдохнуть — зима и напряженная работа в клинике изнурили его. В апреле же он знакомится с протестантским пастором Карлом Ульмером и его женой. Эта почтенная семья живет у подножия гор в окруженной сосновыми лесами деревне Вильгельмсфельд, недалеко от Гейдельберга. Узнав о желании Рисаля отдохнуть (впрочем, отдых мыслился Рисалем прежде всего как завершение работы над романом), Ульмеры приглашают его в качестве «гостя за плату», но плата невелика — куда меньше, чем в гейдельбергском пансионате. Рисаль с благодарностью принимает приглашение. Надо кончать работу над романом, Пасиано уже устал ждать и не очень верит, что младший брат когда-нибудь издаст книгу. В Вильгельмсфельде Рисаль пересматривает свои творческие установки «под немецким влиянием». Филиппино-испанская неумеренность и пышность страстей несколько убывают, роман приобретает сдержанность, становится «холоднее», если можно так выразиться. «Я его подретушировал и сократил, — пишет Рисаль. — Я также умерил буйность, смягчил многие фразы, кое-что уменьшил до нужных пропорций, поскольку многое мне стало виднее издали, а мое воображение несколько поостыло благодаря спокойствию, присущему этой стране». Как мы увидим ниже, о «сдержанности и спокойствии» можно говорить лишь весьма и весьма относительно.

Два месяца, проведенные в Вильгельмсфельде, восстанавливают и физические и духовные силы Рисаля. Не только пастор и его жена, но и их дети — сын Фридрих (Фриц) и дочь Эта — привязываются к нему, о чем свидетельствует позднейшая переписка. Даже собака Ульмеров не желает расстаться с гостем: в июле, когда Рисаль возвращается пешком в

Гейдельберг, пес преданно сопровождает его. «Я начал швырять в него камнями, — пишет он Карлу Ульмеру, — но, несмотря на все усилия, мне так и не удалось прогнать его домой. Он долго шел за мной на расстоянии, и тогда я решил взять его с собой и отослать домой с Фрицем — тот сегодня возвращается. Я устроил ему великолепный ужин (молоко и хлеб), и все были добры к нему, хотя он лаял на каждого входящего, доказывая, что он храбр и бдителен».

С пастором Ульмером они ведут долгие вечерние беседы о сущности религии.

Девятого августа 1886 года Рисаль покидает Гейдельберг, написав теплое письмо Ульмерам: «...будучи иностранцем, я ничего не могу сделать для вас в чужой стране, но на своей родине я буду вам полезен — там вы всегда найдете доброго друга, если, конечно, я не умру. Радость быть понятым другими велика, я ее не забуду. Вы поняли меня, несмотря на мою коричневую кожу, которая многим почему-то кажется желтой»^[19]. (Упоминание о коричневой коже здесь не случайно: самоназвание филиппинцев — «каюманги», что значит «коричневые», они не очень любят, когда их причисляют к желтой расе.)

Незадолго до отъезда Рисаль записывает в дневнике: «О, как я тоскую по моей далекой родине! Я посетил столько стран, видел так много обычаев, познакомился со многими людьми — так может исчезнуть представление об идеале!» Рисаль беспокоится, не утратил ли он свою «филиппинскую сущность». Мыслями он далеко, на Филиппинах, которые, как он еще раз убедился, никому неведомы, — его и в Германии принимают то за китайца, то за японца. Ему больно, что его родину никто не знает. Но в Германии он убеждается, что это не совсем так: немецкие ученые со свойственной им основательностью написали немало книг о Филиппинах. А поскольку свою задачу Рисаль видит в том, чтобы познакомить мировое общественное мнение с положением на Филиппинах и использовать его в борьбе за уравнение в правах с испанцами, он решает лично познакомиться с немецкими филиппинистами. Это тем более важно, что испанские власти остро и даже болезненно реагируют на высказывания европейских ученых об испанской политике на архипелаге — они не могут игнорировать мнение ученого мира, который в конце XIX века пользуется необычайным влиянием.

В научных журналах Испании Рисаль не раз встречает статьи австрийского филолога Фердинанда Блюментритта — тот, правда, чрезмерно высоко оценивает деятельность монашеских орденов, но его симпатии к филиппинцам несомненны. Перед отъездом из Гейдельберга

Рисаль узнает его адрес: герр профессор живет в Лейтмерице^[20], в Богемии. Он шлет ему почтительное письмо и книгу на испанском и тагальском языках, в ответ — уже в Лейпциге — получает восторженное письмо Блюментритта и две книги в подарок. Так начинается их переписка (211 писем) и их дружба, оборвавшаяся только со смертью Рисаля.

Герр профессор — личность несколько экзальтированная и склонная к возвышенному. Сам Блюментритт — правоверный католик и имеет предков-испанцев по материнской линии, один из которых в 1616 году был даже генерал-губернатором Филиппин — отсюда его интерес к этой стране. Но все данные о Филиппинах он черпает прежде всего из трудов ученых-монахов, которые себя не забывают и всячески подчеркивают «цивилизующую роль» орденов. Рисаль, при всем его уважении к немецкой учености, никак не может согласиться с этим и отстаивает свою точку зрения: «Я благодарен вам за предостережение по вопросу религии, — пишет он уже в третьем письме Блюментритту. — Я согласен: монахи сделали много хорошего или по меньшей мере хотели сделать. Но позвольте мне также заметить, что за это они получают сполна — сначала земные блага, а потом и небесные; собственно, они променяли небесные блага на земли наших отцов, а их земная жизнь отнюдь не является христианской».

Блюментритт под влиянием Рисаля довольно скоро соглашается с тем, что монашеские ордены — главное препятствие на пути прогресса Филиппин, однако вольтеровские нападки Рисаля на религию ему не по душе. Его филиппинский друг остается неколебим в этих вопросах и вежливо, но твердо дает отпор Блюментритту, когда тот пытается повлиять на его убеждения. «Позволь мне, — пишет он в 1888 году (тогда они — после долгого сопротивления Рисаля — перешли на «ты», и все их письма начинаются неизменным «брат мой»), — придерживаться мнения, отличного от твоего». Эти разногласия нисколько не мешают их искренней и плодотворной для обоих дружбе. Отныне Рисаль каждые три-четыре дня пишет Фердинанду Блюментритту, аккуратно сообщает ему о своих передвижениях и в каждом городе находит теплые ответные письма. Но не только от него.

В Мадриде остались друзья-эмигранты, которые согласились с программой Рисаля. Программа проста: высоко держать честь филиппинцев и бороться за распространение на Филиппинах испанских законов, за представительство в кортесах и за такую же свободу печати на архипелаге, которая существует в самой Испании. Непререкаемый авторитет Рисаля сплачивал филиппинцев за границей — они поклялись

придерживаться этой программы. Но, как уже говорилось, филиппинцы нередко теряют сплоченность с исчезновением авторитета. Первые письма из Мадрида свидетельствовали, что филиппинская колония живет дружно и борется за дело своей страны, пока ее вождь набирается мудрости в ученой Германии. Однако силы инерции хватает ненадолго: уже 3 марта 1886 года Рисаль получает очень огорчившее его письмо от бывшего «мушкетера», который пишет своему «капитану де Тревилю»: «Мы видимся редко — сам можешь представить, насколько мы стали подозрительны и недоверчивы. С тех пор как ты уехал, каждый только за себя. Нигде уже не увидишь большую группу китаез^[21]. Похоже, ураган эгоизма смел дружеские связи, ранее объединявшие соотечественников. Ушли дружеские встречи, на которых мы обменивались мнениями. А если и есть группки, то в них только сплетни, взаимные обвинения, и все это не укрепляет дружбу. Всякий скажет, что колония нездорова... Уверяю тебя, все началось с твоим отъездом».

Только в середине 1886 года намечается некоторая тенденция к оживлению, к согласованным действиям. Поводом служат возмутительные статьи расистского толка, которые стал публиковать в испанской печати журналист Пабло Фесед-и-Темпрано под псевдонимом Киокиап. Образчиком его творений может служить статья «Они и мы». В статье он пишет, что филиппинцы — большие дети, у них даже нет бороды — этого «верного» признака мужественности, и вообще их внешние черты «постоянно напоминают о дарвиновской теории о происхождении этих людей от обезьян... Между ними и нами — пропасть, испанец всегда гордо на ногах, малаец — покорно на коленях. Как может индио, убогий телом и разумом, болтать о родине и братстве, о цивилизации и культуре? Тела без одежд, мозги без мыслей...».

Статья написана с явным вызовом, вызов этот принят — Киокиап становится штатным врагом и политическим противником филиппинской колонии в Испании. Первым ему отвечает Грасиано Лопес Хаена, но странно! — его статья носит совсем не боевой характер: «Мы не отрицаем, что Филиппины отстали, очень отстали от современности, а эта отсталость вовсе не есть результат невосприимчивости к культуре, не есть результат неспособности нашей расы. Она результат (скажем об этом во весь голос!) деятельности монаха, который, хотя и является миссионером католической веры, а также представителем Испании и ее цивилизующим фактором в тех краях, тем не менее нашел в индио неиссякаемый источник эксплуатации и похоронил его в невежестве и фанатизме». Отпор Киокиапу здесь не очень сильный — за обычной риторикой и сложным построением фраз у Лопес

Хаены все же можно усмотреть попытку оправдаться перед расистом. Рисалю это ясно, но пока он следит за борьбой, не принимая в ней непосредственного участия и лишь в письмах призывая соотечественников к единству.

Несмотря на все огорчения, Рисаль совершает путешествие по Рейну в отличном расположении духа: работа над романом почти закончена, там содержится ответ Киокиапу, и скоро соотечественники услышат его. Он плывет от Майнца до Кельна, посещает Франкфурт. Цель его путешествия — Лейпциг, который уже тогда славился высокой полиграфической культурой, там он надеется издать свой роман. Верный своей привычке, он ведет дорожный дневник, подробно, почти по-школьному, описывает увиденные достопримечательности. Он по-прежнему полон любви к Германии, к трудолюбию ее обитателей, но и здесь диссонансом для него звучит шовинизм. «Среди пассажиров был один старик, который только и делал, что хвалил Германию», — раздраженно отмечает он между двумя записями о красоте рейнских пейзажей. Находится в дневнике и место для философских раздумий: «Прощай, Рейн, древний, поэтический Рейн! Твои воды будут еще течь много столетий, как, сменяя друг друга, текут поколения людей! Солнце испаряет твою воду, она падает снегом в Альпах и вновь питает тебя, и ты течешь по тому же руслу, как человечество идет по пути, проложенному умершими. Но дух? Дух человеческий возвращается? И существует ли он?»

Но надо печатать роман. Сначала Пасиано выразил согласие оплатить все расходы, но непрерывные разъезды Рисаля и сообщения о том, что конца работы не видно, вселяют в него сомнения. «Было бы неплохо, — пишет он младшему брату, — если бы ты подождал, пока другие не вынесут вердикта о твоей книге. Если, как ты полагаешь, он будет благоприятным, — прекрасно, можешь поставить свечку. Но если, как я полагаю, он будет отрицательным, тогда тебе никто не поможет. О чем твоя книга? Если в ней истина, то ты напрасно на нее полагаешься, если же в ней лесть и ложь... — но в это я не могу поверить, зная тебя». Несколько неясное высказывание о напрасных надеждах на истину означает, видимо, что слово истины о положении на Филиппинах лишит Рисаля последней надежды на возвращение домой. Тем не менее Пасиано высылает деньги, часть которых должна пойти на печатание книги. Делает он это только в марте 1887 года, тогда как книгу надо издавать немедленно — ведь в ней ответ Киокиапу, она должна восстановить пошатнувшееся единство филиппинцев. Рисаль обращается за помощью к друзьям-эмигрантам в Мадриде, но те сами жалуются на безденежье. «Так ты уже пять раз просил

денег из дома? — вопрошает его один из мадридских изгнанников. — Хорошо бы они помогли. Можешь быть уверен — если бы издание зависело от меня и если бы у меня были деньги, которых и у тебя сейчас лет, я бы охотно стал твоим меценатом. Но ты же знаешь состояние моих финансов...»

Печатать книгу не на что, но Рисаль обнаруживает, что жизнь в Лейпциге дешевле, чем в других городах Германии, и задерживается здесь на два месяца. «Я прибыл в этот город два месяца назад, — отмечает он в дневнике, — и пока не могу на него пожаловаться. Здесь все самое дешевое в Европе. Четыре раза в неделю я хожу в гимнастический зал, что обходится мне всего в 75 пфеннигов в месяц». Рисаль осматривает поле «битвы народов», пивные заводы, где, записывает он, «мне пришлось выпить три кружки пива и я ушел отсюда в чрезмерно веселом настроении».

Его отвлекает и присущая ему любознательность — из Лейпцига он совершает поездки в Галле и Дрезден. В Дрезден его влечет знаменитая картинная галерея: образованный человек второй половины XIX века должен постоять несколько минут в благоговейном молчании перед «Сикстинской мадонной» Рафаэля. И Рисаль послушно созерцает знаменитую картину, хотя, судя по дневнику, она не производит на него особого впечатления. Сам превосходный живописец, Рисаль работает совсем в ином манере, для которой главное не полутона, а резкие контрасты, не плавные переходы, а противопоставление цветовых пятен — таков эстетический канон филиппинцев.

Верный своей привычке посещать культовые сооружения разных религий, он заходит и в русскую православную церковь, «маленькую, но красивую, в плане представляющую два креста, русской архитектуры, полувосточной, с пятью главами, иконами Христа, апостолов и святого Михаила. На алтаре восковые свечи, в других местах — стеариновые, у входа газовый рожок».

Поездка в Дрезден преследует не только туристские цели. Осуществляя свой замысел — привлечь европейских ученых к борьбе за «филиппинское дело», Рисаль запасся рекомендательным письмом Блюментритта к Адольфу Бернгарду Мейеру, ученому с мировым именем, директору знаменитого Дрезденского этнографического музея. В первый день почтенный доктор не смог принять посетителя (это больно ударяет по самолюбию Рисаля), и они договариваются о встрече на следующий день. За несколько лет до того А. Б. Мейер совершил путешествие по Филиппинам и вывез для своего музея предметы, обнаруженные в захоронениях. Он спрашивает гостя об их назначении, а гость пока ничего

не может ответить, что немало его смущает. Рисаль понимает, что его знаний недостаточно, что ему еще многому надо научиться, чтобы на равных говорить с именитым этнографом. Но кое-что он все же знает и излагает свои соображения, весьма дельные. Покоренный профессор тут же рекомендует молодого человека с азиатскими чертами лица в члены Берлинского этнографического общества, самого известного в Европе того времени.

По возвращении Рисаль решает попытаться счастья с изданием романа в Берлине и первого ноября 1886 года покидает Лейпциг. В Берлине работают крупнейшие немецкие ученые, и Рисаль обязательно должен встретиться с ними. Экспансивный Блюментритт уверяет, что ученые в Берлине будут счастливы познакомиться с ним, и снабжает рекомендательными письмами к Феодору Ягору, известному путешественнику, побывавшему на Филиппинах и написавшему книгу о них, и к другой европейской знаменитости — антропологу Рудольфу Вирхову. Рисаль, задетый холодным — так ему показалось — приемом при первой встрече с А. Б. Мейером, никак не может собраться с духом: по филиппинским обычаям, верным приверженцем которых Рисаль остается, несмотря на свой европейский лоск, явиться к незнакомым людям просто невозможно — ведь и визит к герру Мейеру доказал это. Блюментритт сгоряча предлагает своему новому другу самому представиться обоим знаменитостям. Рисаль категорически отказывается: «Я не могу нанести визит гг. Ягору и Вирхову, ибо я не знаю их и мне нечего сказать или преподнести им». Блюментритт отвечает: «Жаль, что вы не собираетесь нанести визит Ягору и Вирхову. Эти господа приняли бы вас хорошо, они большие друзья Филиппин и филиппинцев. Если вы измените свое намерение, я предупрежу их о вашем визите. Они могут во многом помочь вашим занятиям». И все же Рисаль представляется Ягору только месяц спустя, но не в одиночку, а в качестве переводчика при сыне испанского министра Морета, хотя уже располагает рекомендательными письмами Блюментритта.

Именитый профессор в восторге от знакомства и приглашает Рисаля на заседание Берлинского географического общества, где Рисаля торжественно принимают в члены этого авторитетного собрания ученых и приглашают на ежемесячный обед. За столом его соседом оказывается Рудольф Вирхов, и между ними завязывается оживленная беседа. Вирхов заявляет, что его привлекает череп Рисаля и что он хотел бы иметь его в своей коллекции (шутка допустимая, видимо, только в кругу антропологов и медиков). Рисаль охотно откликается — он готов пожертвовать головой

ради науки. Все смеются, всем весело. Но Вирхов вполне серьезно экзаменует его и, довольный результатами, рекомендует в члены Берлинского антропологического общества. Итак, двадцатилетний Рисаль становится членом лучших научных обществ Европы. По традиции он должен сделать научное сообщение — войти в эту избранную среду не так-то просто. И Рисаль представляет доклад о тагальском стихосложении. Стиховая организация в докладе разобрана настолько тщательно, с такой немецкой основательностью, что и поныне все работы по тагальской поэтике основываются на этом докладе Рисаля.

Внимание крупнейших ученых Европы льстит Рисалю, наполняя его гордостью — и за себя, и за Филиппины. В науке он добился того, чего Луна и Идальго добились в живописи, — европейского признания. Но гордость гордостью, а надо как-то жить, впереди холодная и суровая зима, а денег совсем нет. Всегда стремящийся устроиться с максимальным комфортом, Рисаль вынужден считать каждый пфенниг. На завтрак — стакан воды, на обед — картофель (этот европейский овощ ему изрядно надоел, он тоскует по рису), на ужин — тот же картофель и легкая закуска. От мяса приходится отказаться вовсе. И при такой диете он все же ревностно посещает спортивную школу, причем на сей раз увлекается тяжелой атлетикой, требующей совсем иного режима питания. А еще он продолжает заниматься офтальмологией в берлинских клиниках и, чтобы подработать, нанимается корректором в издательство, выпускающее немецко-испанский разговорник. Организм не выносит перегрузок, Рисаль начинает подозревать, что у него туберкулез, страшная для филиппинцев болезнь (даже в последней четверти XX века туберкулез — «убийца номер 1» на Филиппинах).

На помощь приходит соотечественник Максимо Виола, с которым они еще в Барселоне вместе учили немецкий язык. Виола приезжает в Берлин в начале декабря. Рисаль не может встретить его — он настолько ослабел, что поездка на вокзал ему не под силу. Виола спешит к Рисалю, тщательно осматривает его и находит, что у него только истощение. Рисаль поначалу не верит другу, но скоро нормальное питание — Виола, человек состоятельный, берет на себя все расходы — восстанавливает его силы. Мрачные мысли оставляют Рисаля.

И тут еще одна неприятность: Рисаля вызывают в полицию и требуют предъявить паспорт. А паспорта у него нет — в Европе до первой мировой войны они практически не были нужны, а визы были еще неизвестны. Рисалю дают четыре дня на выправление паспорта. В испанской миссии в Берлине обещают помочь (Рисаль вынужден был ходить туда 11 раз!), но

потом заявляют, что такими полномочиями не обладают. Рисаль идет к начальнику полицейской службы Берлина. Тот предупреждает, что в таком случае он вынужден будет выслать Рисаля из Германии, объясняет это тем, что — «герр Рисаль посещает города и деревни, в том числе маленькие и незначительные, везде останавливается на довольно долгое время и устанавливает знакомства с местными жителями. Правительство на основании проведенного расследования и информации, полученной из разных полицейских участков, вынуждено истолковать подобную деятельность герра Рисаля как акты шпионажа в пользу правительства Франции». В то время отношения Германии с Францией вновь обостряются из-за Эльзаса и Лотарингии, и подобное обвинение не шутка. С великим трудом Рисаль доказывает, что никакой он не шпион — он всего лишь студент, знакомится с так любимой им Германией. После перепроверки его оставляют в покое, но Рисаль огорчен.

Виола старается утешить друга и предлагает заем для издания романа Рисаля. Четверть века спустя Виола напишет свои воспоминания, в которых будут такие строки: «Мы ходили по разным типографиям в поисках самой дешевой, и я настаивал на оплате расходов по печатанию романа без всяких условий, но его щепетильность всякий раз заставляла его находить отговорки... В конце концов моя настойчивость и бескорыстие преодолели сопротивление Рисаля... Так началось печатание 2000 экземпляров за триста песо. Когда роман был отпечатан, он подарил мне гранки романа и перо или одно из перьев, которым он писал роман. Вспомнив о своих друзьях в Европе, он разослал каждому по экземпляру. Как бы предваряя свое возвращение на Филиппины, Рисаль послал один экземпляр его высокопревосходительству капитан-генералу Филиппин, а другой — его — высокопреосвященству кардиналу Манилы. В ответ на мои возражения против столь опрометчивого поступка по отношению к упомянутым лицам Рисаль лишь улыбнулся вольтеровской улыбкой». Появление этой книги ознаменовало начало новой эпохи в филиппинской литературе, в истории филиппинской общественной мысли и национально-освободительного движения.

*

Некоторые литературоведы различают два вида словесного искусства. Первый из них условно можно назвать «классическим» — для него характерна сознательность и разумность в выборе и употреблении слов,

«вещественно-логический» принцип построения: «элемент смысла» управляет сложением произведения. «Классический тип» словесного искусства объективно учитывает свойства материала, тяготеет к традиции, канону; художник слова здесь выступает как «мастер», знающий и учитывающий свойства материала, а из смежных искусств предпочтение отдается пространственным (прежде всего живописи). В противоположность «классическому» «романтический тип» словесного искусства характеризуется преобладанием эмоциональной и напевной стихии, желанием воздействовать скорее звуком, чем смыслом, вызвать определенное настроение, то есть до известной степени смутные и неопределенные лирические переживания, взволновать душу воспринимающего. Для «романтического типа» характерен не столько учет и использование материала, сколько его преодоление, тяга к новаторству; художник слова здесь выступает как пророк, а из смежных искусств предпочтение отдается временным (прежде всего музыке).

Если принять такое деление (что, впрочем, необязательно: возможны другие подходы к словесному искусству), то с неизбежностью следует, что Рисаль сознательно, «понятийно» строил свои произведения как расчетливо организованное целое, укладывал их в жесткие рамки канона, был «мастером», отлично знающим свой материал. Разумеется, такая характеристика его творческой манеры не более чем схема, допускающая весьма и весьма существенные отклонения, — он не чуждался и вдохновенного пророчества, особенно в поэзии. Но и в прозе он не пренебрегал эмоциональным воздействием, однако не оно было организующим началом его творчества. Он тщательно «живописал» — напомним, что Рисаль был недурным художником и не имел музыкальных способностей.

И не случайно идейный замысел романа он отражает в оформленной им самой обложке. По диагонали ее пересекает заглавие, напечатанное прямо на тексте посвящения родителям: «Когда я писал эту книгу, я постоянно думал о вас, внушивших мне первые чувства и первые идеи; вам я посвящаю этот труд моей молодости как доказательство любви. Берлин, 21 февраля, 1887». Вверху изображено все лучшее, что есть на Филиппинах: женский силуэт (верность и нежность), надгробный крест (вера), увитый лавром (слава), цветок помело (символ чистоты — на Филиппинах его дают жениху и невесте при венчании), подсолнух, тянущийся к солнцу (молодежь, тянущаяся к знаниям), и бамбук (стойкость). Внизу все худшее: едва прикрытые сутаной волосатые ноги в монашеских сандалиях, шлем гражданского гвардейца, плеть и наручники.

Символика заимствована Рисалем частично из филиппинских народных верований, частично из христианства, частично из масонства — тайной всемирной организации, возникшей в XVIII веке, которую в XIX веке в своих целях использовала буржуазия.

Содержание романа таково. Герой, Хуан Крисостомо Ибарра, после семилетней учебы в Европе возвращается на Филиппины и появляется в доме Сантьяго де лос Сантоса, местного богача, в образе которого Рисаль — впервые в филиппинской литературе — вывел продажного дельца.

Его дочь Мария Клара — нареченная невеста Ибарры. За год до описываемых событий его отец умер в тюрьме, куда был брошен из-за происков местного священника (явная аллюзия с биографией самого Рисаля — его мать тоже томилась в тюрьме) францисканца Дамасо. Ибарра отправляется в родной город Сан-Диего, в котором легко узнается Каламба, родной город Рисаля. Туда же приезжает Мария Клара с подругами. Местный священник отец Сальви тайно влюблен в Марию Клару. Молодые люди с друзьями отправляются на прогулку по озеру. Их таинственный рулевой, который оказывается разыскиваемым разбойником, вступает в схватку с кайманом (крокодил), и Ибарра спасает его.

В Сан-Диего живет мудрый философ Тасио, подвергающий сомнению католическое вероучение. Свои мысли он записывает иероглифами и объясняет это так: «Я пишу не для своего поколения, а для людей будущих времен. Если бы мои современники смогли бы прочитать эти записи, они сожгли бы мои книги, труд всей моей жизни, но те люди, которые сумеют расшифровать эти знаки, будут принадлежать к иному поколению, они поймут меня и скажут: «Не все наши предки спали той темной ночью».

Ибарра делится с Тасио своими планами построить школу (проявление чрезмерной веры Рисаля в силу образования), и тот советует ему пойти на поклон к местным властям, прежде всего к священнику. Ибарра, однако, не считает, что все зависит от церкви, и выражает надежду на помощь правительства. Но Тасио предупреждает: «Настанет день, и вы это увидите, вы услышите народ, и тогда горе тем, кто обретает силу благодаря невежеству и фанатизму простого народа! Горе тем, кто наживается на обмане и творит темные дела под покровом ночи, полагая, что все спят! Когда же настанет день и чудовища тьмы предстанут в обнаженном виде, произойдет нечто страшное! Сколько подавленных вздохов, сколько яда, собиравшегося по капле, сколько сдерживаемых веками сил вырвется наружу! Кто оплатит тогда счета, что народы время от времени предъявляют, а история хранит для нас на своих окровавленных страницах?» Отметим, что народное восстание для Рисаля, типичного

иллюстрадо, «нечто страшное».

Здесь в повествование вставлена мелодраматическая история бедной женщины Сисы и ее сыновей, Криспина и Басилио, отданных в служки в церковь. Их обвиняют в краже приходских денег, младшего насмерть избивает монах. Басилио же убегает домой под градом жандармских пуль. Жандармы приходят за Сисой и с позором препровождают ее в узилище (опять переключка с биографией Рисаля — так вели его мать). После унижений бедную женщину отпускают, она возвращается домой и, не найдя сыновей, сходит с ума.

Мария Клара заболевает. Элиас отправляется к разбойнику (тулисану) Пабло, мстящему за несчастье, обрушенное на его семью отцом Дамасо. Пабло собирается предать город огню, Элиас отговаривает, ссылаясь на то, что пострадают невинные люди, и предлагает добиваться правды законным путем, действуя через Ибарру. Ибарра встречается с Элиасом по просьбе последнего. Элиас предлагает ему возглавить всех обиженных и обездоленных, потребовать радикальных реформ. Ибарра отказывается, отказывается он и выступить против монашеских орденов. «Разве Филиппины забыли, чем они обязаны монашеским орденам? Разве забыли, что должны быть вечно благодарны тем, кто вывел их из тьмы заблуждений и дал веру?.. Элиас возражает: «И вы называете верой эти показательные обряды; религией — эту торговлю четками и ладанками; истиной — эти сказки, которые мы слышим каждый день?»

На страницах повествования вновь появляется философ Тасио и произносит речь, скорее оду, в защиту прогресса, и в ней мы слышим слова самого Рисаля: «Разве человек, этот жалкий пигмей, способен задушить прогресс — мощное дитя времени и мирового развития? Разве когда-нибудь это ему удавалось? Догма, эшафот и костер, стараясь остановить прогресс, лишь ускоряют его... Да, будет сломлена воля многих людей, многие падут жертвой, но это неважно: прогресс не остановишь, и на крови павших поднимутся новые, мощные всходы». И снова мысль о необходимости кровью — даже своей собственной — оросить путь прогрессу.

В городе вспыхивает спровоцированное восстание. Ибарру обвиняют в том, что он руководит им. Элиас убеждает его скрыться, но Ибарра отказывается. Его арестовывают, жены погибших во время восстания швыряют в него камнями. Марию Клару хотят выдать замуж. Ибарра с помощью Элиаса бежит из тюрьмы и встречается с нею. Она сообщает ему, что францисканец Дамасо во время ее болезни признался, что является ее отцом (древний мотив узнавания родителей), она не могла пойти против его

воли и согласилась на замужество. Элиас увозит Ибарру в лодке. Их преследуют жандармы, спасая Ибарру, Элиас прыгает в воду. Судьба Ибарры неизвестна, Мария Клара решает уйти в монастырь.

В эпилоге Рисаль повествует об оставшихся в живых героях. О Марии Кларе никто ничего не знает, но в монастыре святой Клары сошла с ума монахиня, подвергшаяся насилию. Чиновник, приехавший было расследовать дело, отказывается дать ему ход. На этом роман кончается.

Название романа Рисаля — «Noli me tangere», то есть «Злокачественная опухоль»^[22], оно, как и оформление обложки, четко обозначает идейный замысел романа: поставить диагноз больному филиппинскому обществу, и диагноз этот гласит: «злокачественная опухоль», это она высасывает живые соки страны, и, чтобы двигаться по пути прогресса, ее надо удалить. Эту мысль высказывают действующие лица романа, нередко служащие рупором самого Рисаля.

Обрисовка характеров у Рисаля типично филиппинская — по принципу контраста. Образ Марии Клары порождает в филиппинском литературоведении идущую по сей день полемику, которая русскому читателю не может не напомнить споры о Татьяне Лариной. Обычно эту героиню обвиняют в том, что она из-за традиционного (по мнению ряда критиков, просто феодального) понимания роли женщины отказывается от личного счастья.

Несомненно, Рисаль изображает свой идеал женщины — необычайно привлекательной, даже не лишенной лукавства и кокетства, и в то же время волевой, с высокоразвитым чувством долга и достоинства. Несомненно также, что Мария Клара воплотила в себе некоторые черты Леонор Риверы, единственной любви Рисаля (это ее профиль он изобразил на обложке книги). Образ Марии Клары столь прочно вошел в сознание филиппинцев, что нередкие в наши дни слова «она настоящая Мария Клара» воспринимаются как наивысшая похвала.

Если у положительных героев Рисаля не обнаруживается ни одного пятнышка, то для отрицательных персонажей у него не находится ни одного доброго или даже нейтрального слова. Совсем законченными негодьями выведены монахи, которые и не думают скрывать своей подлости, — напротив, они выставляют ее напоказ. Отец Дамасо на первых же страницах выказывает свое чудовищное невежество, скорбит о временах, когда монахам никто не мешал. Провинциал доминиканцев на Филиппинах говорит о своем ордене так, как о нем сказал бы любой его враг: «Мы становимся смешными, и в тот день, когда над нами станут смеяться, наша власть падет здесь, как пала в Европе. Деньги больше не

потекут в наши церкви, никто не станет покупать ни ладанок, ни четок, ничего; когда же мы лишимся богатства, мы утратим и влияние на народ».

Мы слишком явно чувствуем, что думает автор о своих героях. Они лишь выражают его идеи, им недостает психологической достоверности. Это роднит Рисаля с ранними реалистами.

Его герои произносят монологи, плохо складывающиеся в диалог и представляющие собой политические декларации. Но могло ли быть иначе? Ведь именно этого требовали от филиппинского писателя конца прошлого века его читатели, именно так он сам осознавал свои задачи, которые для него не сводились к чисто художественным, что и высказал сам Рисаль с предельной четкостью: «Писать более или менее хорошо в художественном отношении — для меня вещь второстепенная. Главное — искренне чувствовать и мыслить, иметь перед собой цель, и тогда перо сумеет передать это. Филиппинцу нашего поколения нужны не литературные достоинства, ему необходимо быть настоящим человеком, настоящим гражданином, который умом, сердцем, а случится, и руками помогал бы развитию страны».

Пространство в романе Рисаля — Филиппины; действие происходит попеременно в двух местах: в Маниле и в вымышленном городке Сан-Диего, в котором легко узнается Каламба, лежащая на берегу озера Лагуна де Бай, а рядом протекает река («огромная хрустальная змея, уснувшая на зеленом ковре» — так она выглядит и сейчас, если подъезжать к Каламбе со стороны Манилы. — *И. П.*). Сам город Рисаль изображает как живописец, для описания он выбирает «наблюдательный пункт» — церковную башню — и неторопливо повествует о том, что можно увидеть с нее. Перенос действия то в столицу, то в провинцию играет немаловажную роль в композиционном построении романа: он задает ритм повествованию, дает возможность ощутить его пульсацию, что, несомненно, оказывает определенное эстетическое воздействие на читателя.

Художественное время в романе тесно связано с реальным. Все действие укладывается в два месяца — с конца октября по декабрь, оно четко ограничено хронологически. Ход времени то ускоряется (когда действие происходит в Маниле), то замедляется (при переносе действия в провинцию), такие колебания в беге времени подчеркивают ритмическую разбивку повествования. Рисалю удалось передать атмосферу и дух эпохи в действиях героев, заложить основы реализма в филиппинской литературе.

Реализм — при всем многообразии его определений — прежде всего все же означает искусство правды: правды как правдоподобия и правды как

«правильности», верного выражения художником слова исторического интереса своего народа. И то и другое мы впервые на Филиппинах находим только у Рисаля. Но дело не только в этом. Для подлинного реализма мало правдоподобия и правильности — он неразрывно связан с историзмом, с пониманием движения общества, с идеей развития. До Рисаля мир в филиппинской литературе был неподвижным: изображались добродетели и пороки, но изображались как нечто незыблемое. Правомерность реальности не подвергалась сомнению, не было динамики, не ставился вопрос о борьбе с носителями зла. Рисаль первым изобразил социальное зло и его носителей так, что читатель неизбежно должен был прийти к выводу о необходимости личной борьбы с социальным злом.

И то, что Рисаль не до конца понимал движущие силы истории, не может умалить его великой заслуги перед филиппинской литературой. Пусть герои даны в черно-белом цвете, пусть мы слишком явственно слышим голос самого Рисаля, но они впервые изображены именно как филиппинцы. Строго говоря, в романе, несмотря на его «многолюдность», присутствует только сам автор, который все знает о своих героях, они не могут сыграть с ним шутку, какую Татьяна Ларина сыграла с Пушкиным, выйдя замуж неожиданно для автора. Рисаль ни разу не пользуется приемом перемещающейся точки зрения, он сам, а не Ибарра и не отец Дамасо описывает происходящее, и сами монахи у Рисаля открыто говорят о том, что их главная страсть — корыстолюбие.

На взгляд европейского читателя, все это не способствует художественности произведения и может восприниматься как недостаток. Но идейные и эстетические установки Рисаля были иными, он должен был ввести в роман стихию политической борьбы, от него ждали недвусмысленных ответов — роман был частью разгоревшейся тогда полемики, ответом на гнусные писания Киюкиапа. И «правила игры», и филиппинские запросы задавали именно такой стиль письма.

Главное же состоит в том, что Рисаль впервые выразил пробуждающееся национальное самосознание филиппинцев, впервые была показана общность судеб всех жителей архипелага. Рисаль все еще возлагает надежды на получение реформ от метрополии, но он уже вплотную подходит к идее о возможности отделения от Испании. Самим заглавием Рисаль говорит колониальным властям: удалите «злокачественную опухоль», иначе филиппинцы удалят ее сами — вместе с политической зависимостью от Испании. Прямо это пока не формулируется, но остается только один шаг, и вскоре Рисаль сделает его.

Но не только идейность, не только выражение «филиппинской идеи»

делают роман Рисаля первым национальным произведением. Как писал А. С. Пушкин, «климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». Рисаль впервые отразил эту «особенную физиономию» своего народа, что делает его роман подлинно народным произведением. Дело тут не только в реалиях (названиях рыб, птиц, растений, предметов быта), а в тех мыслительных связях, которые возникают в сознании филиппинца при упоминании этих реалии или при описании некоторых жизненных коллизий. Неподготовленный читатель равнодушно скользнет взглядом по названию дерева балете, на котором повесился предок Ибарры. Но для филиппинца балете с незапамятных времен ассоциируется с нечистой силой, это дерево смерти (несколько схожее с осиной в русском фольклоре), в нем живут злые духи, его нельзя употреблять как строительный материал, человек, срубивший балете, может умереть, а уж заболеть обязательно.

Во время пикника Элиас убивает каймана со щетиной на спине, хотя еще из Брема известно, что у крокодилов нет волосяного покрова. Однако в филиппинском фольклоре волосяной покров у пресмыкающихся и земноводных — признак древности, приводимая несколько ниже поговорка «когда у лягушки вырастут волосы» примерный аналог нашей «когда рак на горе свистнет». Длинные волосы Марии Клары — это не просто предмет восхищения, филиппинец хорошо знает, что длинные волосы отпугивают злых духов (филиппинки редко стригутся и в наши дни). Таких примеров в романе множество.

Опять же, говоря словами А. С. Пушкина, «народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками, — для других оно или не существует, или даже может показаться пороком». Так вот, соотечественники Рисаля сразу осознали, что «Злокачественная опухоль» — это их роман, он написан исключительно для них. Конечно, и нефилиппинец может понять эти тонкости, но для адекватного понимания требуются столь же подробные комментарии, которые нужны, например, для адекватного понимания классического китайского текста. А обилие комментариев, как заметил однажды замечательный советский китаевед академик В. М. Алексеев, «превращает чтение в род дешифровки, редко совместимой с удовольствием».

Реализм романа Рисаля неоспорим. В то же время не лишены оснований утверждения о том, что в нем отчетливо сказывается влияние романтизма. Но что такое романтизм? Обычно литературоведы, пишущие о

романтизме Рисаля, склонны видеть его в страницах, написанных возвышенным языком, а их в романе действительно немало. Однако в таких случаях мы имеем дело с метафорическим употреблением слова «романтический» вместо «торжественный», «возвышенный». Романтизм же как творческий метод предполагает преобладание субъективной позиции писателя, не воссоздание, а пересоздание действительности («преодоление материала»), извечное томление по недостижимому идеалу. Центральной коллизией романтизма является коллизия личности и вселенной, тогда как для реализма XIX века главной является коллизия личности и общества. Несомненно, герои Рисаля страдают не от неразрешимого противоречия между «я» и «космосом», бытием вообще, а от противоречия между «я» и социальным бытием. Они страдают от монашеского и — шире — чужеземного гнета, а это противоречие в принципе разрешимо, надо только действовать.

И все же романтическая стихия присутствует в романе Рисаля, хотя не она определяет его лицо. Элиас явно наделен байроническими чертами (гордый борец против всех за свои индивидуальные права). Одиночество, избранничество присущи положительным героям Рисаля, а злодеи-монахи произносят монологи, от которых кровь должна стечь в жилах. О романтической направленности свидетельствует и склонность к драматизации, восклицательность, декламативность, что, однако, может восприниматься и как развитие исконных филиппинских начал. И рядом то со спокойным «реалистическим» повествованием, то с патетически-возвышенным описанием, то с мелодраматически-сентиментальным рассказом вдруг прорываются скептические вольтеровские нотки, призванные показать, что автор с отрешенным спокойствием и даже некоторым презрением взирает на происходящее, словно оно его не касается.

При чтении романа читатель, воспитанный на европейской традиции, то и дело «спотыкается» — все это оставляет впечатление неотделанности, неорганичности. Но Рисаля это нисколько не смущало. Филиппинский читатель (и современный Рисалю, и нынешний) видит в таких переходах только мастерство автора, его «жажда контраста» получает здесь полное удовлетворение. Европейский читатель видит контраст «цветовых пятен», отсутствие гармонии, тогда как на самом деле такой контраст создает гармонию особого рода, отвечающую эстетическим запросам филиппинцев. И то, что обычно считается недостатком творческой манеры Рисаля, для филиппинского читателя, которому и адресован роман, является несомненным достоинством.

Основополагающее значение романа сразу становится ясным соотечественникам Рисаля. Ясно оно и современным филиппинцам, о чем свидетельствуют стихи, вынесенные в эпиграф настоящей главы. Национальное самосознание, подготовленное всем ходом развития страны, получает полное выражение. Именно на это обращают внимание современники Рисаля, собственно литературоведческая оценка придет позднее. Друзья по движению пропаганды, соотечественники на далеких Филиппинах единодушно признают роман величайшим событием филиппинской истории. Сам Рисаль подчеркивает прежде всего не литературные достоинства своего труда (о них он отзывается критически: «Я сам признаю недостатки моей книги: я это говорил с самого начала...»), а его общественную значимость. Отправляя роман Блюментритту, он пишет: «Посылаю вам книгу, это моя первая книга, хотя я много писал и раньше и удостоился нескольких премий на литературных конкурсах. Это первая беспристрастная и смелая книга из жизни тагалов. Филиппинцы найдут в ней историю последних десяти лет. Надеюсь, вы заметите, сколь отлично мое произведение от описаний других авторов... В нем я отвечаю на лживые утверждения, направленные против нас, на все унижающие нас оскорбления».

Книга действительно смелая, но что касается беспристрастности, то тут трудно согласиться с автором. Книга участвует в споре, где нужна не беспристрастность, а страстность в лучшем смысле этого слова; борьбе, которой отдает себя Рисаль, нужны страстные и пристрастные борцы. Кстати, Блюментритт, отвечая на это письмо Рисаля, пишет: «Прежде всего примите мои сердечные поздравления с замечательным социальным романом, который чрезвычайно заинтересовал меня. Ваш труд, как говорим мы, немцы, написан кровью сердца, а потому многое говорит сердцу». И Блюментритт прав — и в том, что роман социальный, и в том, что он написан кровью, и в том, что он находит отзвук в сердцах.

Но не только друзья и соратники откликаются на выход романа в свет. Как и следовало ожидать, яростнее всего на книгу обрушиваются монахи на Филиппинах (исключение, как всегда, составляют иезуиты, взявшие под защиту своего питомца). Уже 18 августа архиепископ Педро Пайо, доминиканец, посылает экземпляр романа ректору университета святого Фомы для отзыва. Комитет, составленный из трех человек, находит книгу «еретической, богохульной, скандальной, антипатриотической, подрывающей общественный порядок, оскорбительной для правительства Испании и его методов правления на этих островах». Больше всех бушует августинец Хосе Родригес. Он пишет, что книга Рисаля «полна ереси,

богохульства, серьезнейших ошибок; она содержит утверждения, которые ошибочны, грубы и оскорбительны для благочестивых ушей, она клеветает на святую иерархию и всех верующих, она богохульна, глупа и скорее всего приведет к заблуждениям Лютера и других еретиков... и даже может привести к атеизму... Эта книга, как иногда грубо говорят, написана ногой, каждая ее страница свидетельствует о чудовищном невежестве автора в правилах литературы и особенно в испанской грамматике. Единственное, что отчетливо сказывается в ней, — бессмысленная ненависть ко всему связанному с религией и с Испанией».

Дать официальное заключение о романе поручают другому августинцу — Сальвадору Фонту. Он начинает его такими словами: «...этот позорный пасквиль, полный грубейших ошибок и клеветы, в которых раскрывается абсолютное невежество автора в истории этой страны, совершенно дикой до того, как над ней воссиял свет евангелия» — и заключает: «По мнению нижеподписавшегося, эта книга должна быть безусловно запрещена». Заключение для Постоянной цензурной комиссии Фонт подписывает 29 декабря 1887 года, но уже 13 декабря Рисалю сообщают, что все экземпляры «Злокачественной опухоли» задержаны на таможне, а год спустя только за обладание этой книгой арестовывают и ссылают.

Роман написан с целью побудить соотечественников к действию, о чем Рисаль заявляет со всей определенностью: «Я написал «Злокачественную опухоль», чтобы пробудить ото сна соотечественников, и буду счастлив, если среди пробужденных будет много борцов». Цель эта достигнута, хотя и не сразу. Есть и немедленный эффект. Современники отмечают, что, как только роман начали читать на Филиппинах, «было замечено, что сократились поступления в церковную кружку, лишь немногие продолжали платить за органную музыку и колокольный звон; уменьшилось число торжественных месс и празднеств в честь святых». Посягательств на доходы монахи не прощают никому, даже генерал-губернаторам, и Рисаль становится главным врагом орденов. Кажется, дуть на Филиппины закрыт — все темные силы ополчаются против него. И тем не менее он решается на этот рискованный шаг.

*

Еще задолго до появления романа друзья и родственники предостерегают Рисаля от возвращения на родину. Малоизвестный ему Фелипе Самора сообщает в письме: «Я говорил с вашими родителями. Что

до вашего возвращения, то я советовал им не настаивать на нем, хотя им это и тяжело, ибо с теми энциклопедическими знаниями, которые вы приобрели в Европе, на вас здесь будут смотреть настороженно и подвергнут множеству придинок. Если же вы все-таки сочтете необходимым вернуться, умоляю, не делайте этого, пока не смените гражданство, — выберите немецкое, английское или североамериканское подданство и тогда вы избежите бури». Но отказаться от испанского гражданства — значит отказаться и от Филиппин, которые все еще мыслятся Рисалем как часть испанского мира. Этого он сделать не может. Он должен личным примером показать, что нечего бояться врагов, что страхи друзей в значительной степени преувеличены. Собственно, в Европе его удерживает лишь одно — нежелание отца простить блудного сына, за пять лет до того самовольно уехавшего в Европу. Рисаль неустанно просит Пасиано поговорить с отцом, выпросить ему прощение. И вот наконец желанное разрешение вернуться приходит через месяц после выхода в свет «Злокачественной опухоли», в апреле 1887 года. Пасиано сообщает, что отец простил младшего сына (дон Франсиско и тут не снизошел до того, чтобы лично написать ему). Рисаль, остававшийся приверженцем филиппинских традиций, в восторженном письме делится своей радостью с Блюментриттом: «Я возвращаюсь на Филиппины, потому что отец простил меня и разрешил вернуться. Этот день — день получения письма (от Пасиано. — *И. П.*) — великий день для меня! Радуйтесь со мной!» Одновременно приходит денежное вспоможение, задержка которого чуть не сорвала печатание «Злокачественной опухоли», и Рисаль тут же возвращает долг Виоле, а оставшихся средств должно хватить на путешествие по Европе и на билет до Манилы.

Но у него еще масса дел, и дел не совсем приятных. Из Мадрида по-прежнему идут неутешительные вести. Филиппинскую колонию лихорадит, ей грозит раскол, и все обращаются с жалобами к Рисалю. Он отлично осведомлен о склонности соотечественников к раздорам и старается примирить враждующие группировки. Внешне расхождения идут по этническому признаку: креольско-метисское крыло движения пропаганды против собственно филиппинцев. В действительности же это раскол между умеренным и радикальным крылом. Умеренные тщательно избегают критики колониальных порядков, боятся затронуть и монашеские ордены. Они не против получения реформ, но бороться за них не собираются и туманно говорят об их желательности. Радикалы решительно выступают против монашеского засилья и даже ставят под вопрос благотворность испанского влияния на Филиппины.

Пока обе стороны признают непререкаемый авторитет Рисаля и обращаются к нему как к арбитру. Радикал Лопес Хаена пишет: «Я, как и ты, готов подчиниться вождю, которого ты укажешь, но считаю, что только ты можешь быть им, и уверяю тебя — все филиппинцы пойдут за тобой — к славе или в пропасть». (Справедливости ради отметим, что деятельность Лопеса Хаены не всегда соответствует этой декларации.) Умеренный Эваристо Агирре жалуется Рисалю на «раскольническую деятельность» радикалов: «Итак, они пишут тебе, что колония (в Мадриде. — *И. П.*) раскололась на подлинных филиппинцев и аристократов? Что нет больше филиппинцев, а есть индию, метисы и испанцы? Я так и думал! Клянусь, я всегда боялся этого... я предупреждал, что некоторые недостойные соотечественники не преминут наябедничать тебе, чтобы вселить в тебя страх и подозрения...»

Рисаль урезонивает враждующие стороны: сейчас не время ссор. Как ни странно, ему помогают писания Киокиапа. Для пропаганды филиппинского дела колония в Мадриде решает основать газету «Эспанья эн Филипинас» («Испания на Филиппинах»). Идею ее создания выдвинул Лопес Хаена, надеясь стать ее редактором, но его кандидатуру отвели «по причине темперамента», и руководство попадает к «креолам и метисам», то есть к умеренным. Редактором становится Эдуардо де Лете (напомним: соперник Рисаля в притязаниях на благосклонность Консуэло Ортига-и-Рей). Лопес Хаена возмущен: «Так вот, друг Рисаль, Лете — редактор, тот самый Лете, который заявил, что не желает иметь ничего общего с филиппинской колонией!» Что до самой газеты, то Лопес Хаена считает, что она «не колет и не режет».

Рисаль возражает, что газета — пусть даже недостаточно смелая — все же нужна, и, чтобы поддержать ее, публикует там статью с резкой отповедью расистским откровениям Киокиапа, то есть Пабло Феседа. В ней он пишет, что священники на Филиппинах «считают, что у нас не целая душа, а только половина, твердя всюду, что мы — прямые потомки обезьян. Наши высокоуважаемые губернаторы, возможно, другого мнения: просят же они нас платить налоги, нести военную службу, и мы умираем за правительство точно так же, как прочие существа, у которых есть всеми признанная душа... К несчастью, некоторые идеалисты верят, что существование души предполагает надобность в определенных правах. Вот это и огорчает наших святых отцов! Чтобы спасти нас, они рискуют собственными душами, соглашаясь принять на себя груз мизерных доходов, которые мы имеем. Можно заплакать от жалости к ним! А правители? Они — такие же фокусники. Когда им нужно что-нибудь

получить от нас, в наши тела вселяют человеческую душу и вынимают ее, когда мы требуем представительства в кортесах, свободы печати, демократических прав и т. п.». Строки полны вольтеровского сарказма, но требования, в сущности, крайне умеренны: буржуазно-демократические права. Статья заканчивается вопросом: «Чем же являются Филиппины в глазах матери-Испании?»

Недвусмысленный ответ на этот вопрос дает открывшаяся в это время в Мадриде филиппинская выставка, на которой в качестве экспонатов выставляются представители наиболее отсталых племен архипелага. Испанские газеты (правда, не все) изощряются в издевательствах над страной и ее обитателями. Одна из них пишет: «На них лежит... печать глупости и слабоумия; слабый луч интеллекта, пробивающийся в их убегающем взгляде, не выдает удивления — он свидетельствует только о страхе перед силой». Понятно поэтому возмущение, с которым филиппинские эмигранты откликаются на эти позорные для Испании события. Рисаль выражает свое негодование в письме к Блюментритту: «Могут ли Филиппины забыть, как обращались с их детьми, — выставляли как животных, издевались над ними. Всех привезли обманом, против воли, насильно». Некоторые из «живых экспонатов», не выдержав тягот, умерли в Мадриде, что усиливает бурю. Эдуардо де Лете, согласившийся сотрудничать с организаторами выставки, получает резкую отповедь Рисаля.

Выставка способствует подъему патриотических чувств филиппинцев. И как раз в это время они получают экземпляры «Злокачественной опухоли», которая воспринимается как откровение. Она называет виновников происходящего, не без ее влияния многие филиппинцы в Испании начинают называть себя братьями игоротов и других отсталых народностей, которые, надо сказать, до того рассматривались филиппинцами-христианами как варвары. К неудовольствию умеренных, газета «Эспанья эн Филипинас» приобретает слишком радикальный и явно антиколониалистский характер. «Аристократы» начинают покидать редакцию газеты и, что более существенно, прекращают финансировать ее. Рисаль мог бы продлить ее дни своим вмешательством. Но он и сам сильно задет: в номере от 14 мая 1887 года де Лете сообщает о получении редакцией романа «Злокачественная опухоль» и обещает подробную рецензию. Но рецензия так и не появляется. Рисаль, человек чувствительный, видит в этом проявление давнего соперничества и прямо обвиняет де Лете в предвзятости. Тот отвечает: «Дорогой Пепе, не упрекай меня. Для меня будет величайшим удовольствием отрецензировать твою книгу... Но я ее еще не дочитал — газетные хлопоты, экзамены по праву...

Из прочитанного мне ясно, что ты показываешь себя хорошим наблюдателем и еще лучшим живописцем. Контрасты очень эффектны... Но я нашел и некоторую небрежность в отделке — может быть, из-за спешки... кое-что не кажется мне реалистическим, тебя определенно увлекло поэтическое воображение».

Критические замечания больно задевают Рисаля. Он охотно выслушивает критику, исходящую от Блюментритта, и сам соглашается с ней, признавая, что книга имеет недостатки. Однако де Лете он этого простить не может. Уже год спустя редактор «Эспанья эн Филипинас» все еще пытается оправдаться: «Я всего лишь обещал вернуться к обзору твоей книги после того, как прочту ее целиком и оставлю о ней беспристрастное мнение. Где здесь неуважение к тебе?..»

Возникает вопрос: откуда у Рисаля такая двойственность в суждениях: то, что дозволено европейцам (Блюментритту), нетерпимо в соотечественниках. Дело тут в том, что по филиппинским нормам межличностного общения критика впрямую запрещена. Как и во многих других странах Востока, на Филиппинах чрезвычайно ценится гармония мнений. При научном (в данном случае — литературном) споре филиппинцам прежде всего важно добиться согласия и никого не задеть; если при этом удастся почти достичь истины — хорошо, если же достижение истины связано с выявлением разногласий, то лучше отказаться от ее поисков. Единство мнений для них — самодовлеющая ценность, его никак нельзя подвергать опасности ради достижения безликой истины. Последняя может быть у большинства участников обсуждения, может быть у меньшинства (даже у одного человека), а может и вообще находиться вне пределов досягаемости участников спора. Искать ее можно, но не ценой раскола, не ценой «потери лица» (а критика «в лоб» — несомненная потеря лица; если уж ее нельзя не высказать, то надо сделать это через посредника). Единство, согласие, «консенсус», были и остаются самостоятельными и наивысшими ценностями во многих восточных обществах.

Рисаль, конечно, знает цену научной истине и может мыслить вполне «по-западному».. Но он не намерен отказываться и от своего «восточного наследия». Он знает, что, по филиппинским представлениям, критические замечания может высказывать только признанный лидер, но и то в мягкой, «отеческой» форме (всякая группа филиппинцев обычно строится на авторитарной основе, авторитет должен стремиться к гармонии интересов). Если же допустить прямую критику «всех против всех», то соотечественники вообще перестанут понимать друг друга, наставлять их

— его монополия, монополия признанного вождя. И хотя на первый взгляд де Лете защищается вполне обоснованно, Рисаль не принимает его доводов и отказывается от сотрудничества с ним.

А без Рисаля газета существовать не может. Дни ее сочтены: умеренных она не устраивает из-за слишком радикального направления, радикалов — из-за чрезмерной умеренности. В июне в Мадрид приезжает родственник Рисаля Мариано Понсе — он говорит, что на Филиппинах газета пользуется большой популярностью, предпринимает отчаянные попытки добиться ее финансирования богатыми филиппинцами, живущими на архипелаге. Ему удастся получить двести песо — на несколько номеров хватит. Но редакция фактически распалась. Чтобы спасти положение, пост редактора предлагают Рисалю. Он отказывается: принять этот пост после де Лете — значит признать, по филиппинским понятиям, что он его выжил, то есть стать в глазах всех узурпатором, беспринципным борцом за власть ради власти. Рисаль вежливо отклоняет предложение, и газета прекращает свое существование. Она сделала свое дело: дала достойный отпор Киокиапу, организаторам позорной выставки, защитила честь и достоинство филиппинцев. Газета же показала, что в движении пропаганды нет единства. Многие умеренные навсегда отошли от него, боясь прослыть «флибустьерами» в глазах колониальных властей.

Объединить их вряд ли смог бы даже Рисаль. Его настойчиво зовут в Мадрид. Казалось бы, ему следует вернуться, ведь сплоченность филиппинцев опять под угрозой. Но Рисаль решает, что теперь сплачивать соотечественников должна его книга, а его место на Филиппинах. Решение принято, от своего он не отступит.

До Марселя, откуда идут пароходы до Сайгона и Гонконга, Рисаль в сопровождении Виолы добирается кружным путем. Утром 11 мая они покидают Берлин. Короткая остановка в Дрездене (Виола там еще не бывал) и повторное благоговейное созерцание «Сикстинской мадонны». Их цель — Лейтмериц, встреча с Блюментриттом. Ягор заранее предупредил Рисаля: Блюментритт человек нервный, если явиться к нему неожиданно, может случиться всякое. Друзья посылают ему уведомление о своем прибытии, а чтобы почтенный профессор на вокзале легко опознал гостя, Рисаль шлет ему свой автопортрет, наскоро нарисованный карандашом. С автопортрета на нас смотрит совсем еще молодой человек: непослушные волосы разделены косым пробором, разрез глаз делает его похожим скорее на китайца, а в самих глазах не то насмешливость, не то удивление...

Нередко бывает, что дружба, завязавшаяся по переписке, не выдерживает личной встречи, действительность не оправдывает ожиданий,

возникающих из заочного знакомства. Здесь все по-другому: 13 мая 1887 года профессор Блюментритт с автопортретом Рисаля в руках встречает своего филиппинского друга, и они сразу же находят общий язык. Блюментритт поражен глубокой эрудицией Рисаля и наедине признается Виоле: «Рисаль — величайший сын Филиппин, его приход в мир такая же редкость, как появления яркой кометы, — они посещают нас раз в два столетия». Четыре дня друзья проводят вместе: ходят на экскурсии по живописным окрестностям Лейтмерица, посещают музеи, наносят визиты ученым — знакомым Блюментритта. В местном туристском клубе Рисаль по просьбе своего австрийского друга произносит речь на немецком языке: «Я восхищен вашей любовью к родному краю, вашим преклонением перед красотой природы. У нас она ярче, сверкает всеми красками, но красота пейзажа и идиллия украшают Богемию... Лучшее уединение — в тиши лесов, в созерцании облаков, плывущих над нами, в восхищении красотой цветов, в пении птиц...» Пышность элоквенции Рисаля непривычна для слушателей, но она приходится им по душе, и его речь встречают бурей аплодисментов, «чрезвычайно необычных, — отмечает Блюментритт, — для моих чрезмерно холодных соотечественников».

Блюментритт подробно расспрашивает о положении дел на Филиппинах, о разногласиях среди эмигрантов. Рисаль говорит ему о расколе на умеренных и радикалов, рассказывает о выставке, о злобных писаниях Киокиапа. Излагает он и свою позицию. Она несколько тревожит Блюментритта, который со свойственной ему экзальтацией переживает за нового друга. Пока он не высказывает свои опасения вслух, но уже заготавливает аргументы, надеясь повлиять на Рисаля и уберечь его от возможных бед.

Не только герр профессор очарован Рисалем — вся его семья покорена гостем, даже четырехлетняя дочь Блюментритта с плачем бежит за поездом, увозящим ее взрослого друга. Есть что-то в этом человеке, что неудержимо влечет к нему людей, что даже мимолетную встречу с ним заставляет считать важным событием.

Рисаль и Виола, посетив Прагу и Брно (местные газеты пишут о них как о «чрезвычайно талантливых и очаровательных господах»), прибывают в Вену, где задерживаются на несколько дней. Рисалю вручают посылку — это булавка с бриллиантом, которую он потерял как-то во время обеда в отеле. Рисаля (в который раз!) изумляет немецкая честность, он искренне растроган и пишет прочувствованное письмо Блюментритту. Вообще же к драгоценным камням он питает что-то вроде пристрастия: то ли потому, что они сами по себе привлекали его, то ли под влиянием Дюма и его героя

графа Монте-Кристо. Во всяком случае, в своих дневниковых записях о посещениях музеев драгоценным камням он посвящает самые вдохновенные строки, о них же благоговейно пишет семье, а когда у него заводятся деньги, он предпочитает покупать камни.

Посетив Мюнхен и Нюрнберг, Рисаль и Виола отправляются в Швейцарию — Базель, Берн, Лозанна и Женева лежат на их пути. В Женеве, совершив прогулку по озеру, друзья расстаются: Максимо Виола едет в Испанию, а Рисаль — в Италию. Осмотрев Венецию, он прибывает в Вечный город. «Я дышу тем же воздухом, — пишет он Блюментритту, — которым дышали римские герои. Я почтительно приветствую каждую статую, и мне, бедному жителю маленьких островов, кажется, что я нахожусь в святой святых. Мои любимые места — Колизей и Форум. Там я сидел часами, пытаясь вызвать их к жизни...» Этому занятию — оживлению теней прошлого среди римских развалин — предавались лучшие умы Европы начиная с эпохи Возрождения.

Из Рима Рисаль поездом отправляется в Марсель и там 3 июля 1887 года садится на пароход — тот самый, который за пять лет до того доставил его в Европу. Но пассажир уже другой — не всему удивляющийся индию, а человек, впитавший в себя достижения европейской культуры и говорящий чуть ли не со всеми попутчиками на их языках, беседующий о Шекспире, Гете и Гюго.

Что же усвоил он в Европе, что произошло в его душе за годы жизни на чужбине? Прежде всего он приобщился к европейской науке, обрел уверенность в себе. В последней четверти XIX века их было много в Европе — уверенных в себе людей, которые твердо знали, куда идет мир, и спокойно взирали на него из-под котелков. Наследники просветителей, прошедшие через позитивизм, они были уверены: все определяет прогресс, они — его слуги, они движут мир вперед, их ничто не остановит. Прогресс для них означает усиление и укрепление рационального начала, торжество науки и разума. Они ощущают свою причастность к величественному поступательному движению. Ощущает ее и Рисаль. В этом проявляются особенности «переживания истории» Рисалем. Сложилось оно под влиянием Иоганна Гердера — Рисаль тщательно изучал его труды и имел в личной библиотеке полное собрание его сочинений. Он явственно осознает гармонию между своими устремлениями и направлением исторического развития. Оно, естественно, понимается идеалистически — как неотвратимое торжество разума и гармонии. Кажется, что еще немного — и наступит их окончательный триумф. Рисаль считает, что своей деятельностью он способствует этому триумфу, и чувствует глубочайшую

уверенность в своей правоте.

Конечно, подлинные движущие силы истории остаются скрытыми от Рисаля. Уже написаны «Манифест Коммунистической партии», «Капитал», но Рисаль этих работ не читал (во всем его наследии нет ни одного упоминания имен основоположников марксизма). Все больше людей — и не в котелках, а в рабочих блузах — понимают, что строй, которым восхищается Рисаль, обречен. Капитализм еще развивается по восходящей линии, буржуазия еще подпевает «Марсельезе», и Рисаль искренне полагает, что служит делу прогресса, которому препятствуют темные силы деспотизма и невежества. Но они бессильны остановить ход истории — вспомним цитированный выше панегирик прогрессу философа Тасио («Догма, эшафот и костер, стараясь остановить прогресс, лишь ускоряют его»).

Между тем и в самой буржуазной мысли уже проскальзывают сомнения относительно настоящего благополучия и особенно относительно будущего (достаточно назвать труды Киркегора). Но Рисалю они неведомы. Он служит прогрессу и, если надо, сам готов взойти на эшафот для его ускорения — в его трудах рассыпано множество указаний на это. Сознывая всю опасность возвращения на Филиппины, он тем не менее стремится туда. И когда последнее препятствие — запрет отца — отпадает, он едет домой. Для Рисаля сомнений нет: он должен вернуться из царства свободы, каким представляется ему Европа, в царство рабства, чтобы ускорить и там торжество разума, пусть даже ценой собственной жизни («Не есть ли это великолепное прощание с Европой предзнаменование ужасного приема на Филиппинах?» — пишет он).

Без колебаний он идет навстречу судьбе. Причем идет не слепо — у него есть программа: бороться за дело Филиппин, за предоставление им всех прав, которыми пользуются испанцы. Если же Испания откажется предоставить такие права, тогда придется бороться за отделение от нее. Так, в середине 1887 года впервые в истории общественной мысли Филиппин формулируется требование: права во что бы то ни стало, даже ценой отделения от Испании. Рядом с идеей ассимиляции возникает идея сепаратизма. Она уже сложилась в сознании Рисаля, но характерно, что пока он не излагает ее публично, — видимо, боясь отпугнуть ассимиляционистов, у которых, считает он, есть шанс и к которым он продолжает причислять и себя; сепаратизм для него пока альтернативный, а не главный путь. О том, что эта мысль созрела, свидетельствует переписка с Блюментриттом. Еще во время пребывания в Лейтмерице он изложил австрийскому другу свои взгляды и новую программу, предусматривающую

уже возможность отделения Филиппин. Блюментритт встревожен и шлет вслед Рисалю письмо, в котором предостерегает против «необдуманных действий». В ответ Рисаль пишет: «Уверяю вас, я не хочу участвовать в заговорах, которые считаю слишком поспешными и рискованными. Однако, если правительство принудит нас к этому, то есть если нам не останется никакой надежды, кроме того, чтобы искать свою гибель в войне, когда филиппинцы предпочтут умереть, чем жить и дальше в нищете, тогда я тоже сделаюсь сторонником насильственных методов. Что мы изберем — мир или гибель, — зависит от Испании».

Характерно, что Рисаль считает себя вынужденным стать сторонником отделения, — не он сам, не филиппинцы, а Испания повинна в этом. Сделать выбор заставляет ход истории. Пока он верит, что выбор еще есть. Новое (сепаратизм) уживается в нем со старым (ассимиляционизмом), он вовсе не отказывается от прежних взглядов, но, единственный среди филиппинцев, осознает, что, возможно, придется пойти по другому пути. Он еще храпит эти мысли при себе, поделившись ими только с Блюментриттом. Они проносятся в его голове, когда он плывет по знакомому маршруту, посещает те же порты, что и пять лет назад. Теперь эти города не кажутся ему столь заманчивыми и прекрасными. К тому же он совсем отвык от тропиков, отвык от жары и жалуется на нее точно так же, как в Европе жаловался на холод. И его описания морских пейзажей стали менее восторженными.

Прежние склонности к провидению будущего сильны в нем, и он записывает в дневнике сон: «Мне снилось, что я встретил отца, он был бледен и худ. Я хотел обнять его, но он отстранился и показал мне что-то на земле. Я посмотрел вниз и увидел голову черного оленя — из нее выползала змея, которая старалась обвиться вокруг меня. Посмотрим, суждено ли мне посмеяться над этим сном».

Пятого августа 1887 года Рисаль сходит на берег в Маниле.

НА РОДИНЕ

*Когда же я вернуться решил
птенцом усталым
к любви моей далекой,
к отцовскому гнезду —
отчизну опалило
горячим грозным шквалом,
и подломились крылья,
и дом смело обвалом,
и честь продали в рабство
у мира на виду.*

Хосе Рисаль. Мой приют

Его никто не встречает: ни родственники, ни друзья, ни враги. Родственники в Каламбе, они знают, что Пепе должен вернуться, но не знают когда. Леонор, о которой Рисаль ни на минуту не забывал в годы скитаний, за несколько месяцев до его приезда переехала вместе с родителями в город Дагупан — столицу провинции Пангасинан, километрах в 150 к северу от Манилы, Что до врагов, то они просто не представляют, как возмутитель общественного спокойствия может предстать перед столь задетыми им властями, — ведь как раз в это время на Филиппинах бушует буря, поднятая «Злокачественной опухолью». Молчит пресса, молчат власти — и светские и духовные.

Два дня Рисаль проводит в Маниле — посещает друзей и выясняет судьбу своего романа. Основная часть тиража задержана на таможне. Но немало экземпляров удалось доставить в книжную лавку «Ла Гран Бретанья», снабдив их суперобложкой с надписью: «Жемчужины испанской поэзии. Том II». Прием рассчитан на чудовищную лень таможенных чиновников: ведь достаточно открыть книгу, чтобы убедиться, что она содержит прозаический текст, а не поэзию. Но друзья Рисаля знают нравы испанского чиновничества. «Ла Гран Бретанья» распродала имеющиеся экземпляры в два-три дня. Книгу стали перепродавать, за нее платили вдвое и втрое, а потом и вдесятеро. Самому автору с большим трудом удастся купить весьма зачитанный экземпляр. Похвалы сыплются со всех сторон — роман Рисаля сравнивают с «Дон Кихотом» Сервантеса:

не по сходству содержания, разумеется, а по глубине раскрытия «души народа». Но предостережений все же больше, чем похвал. Отрицательная реакция монахов ни для кого не секрет, для многих Рисаль становится отмеченным печатью проклятия, «флибустьером» в филиппинском понимании этого слова, то есть человеком, выступающим против колониальных властей и потому обреченным. Многие из прежних друзей сторонятся его, те, кто сохраняет остатки порядочности, через третьих лиц просят не искать встреч с ним и настоятельно рекомендуют ему уехать незамедлительно.

«Моя книга, — пишет Рисаль Блюментритту, — наделала много шума. Все меня о ней спрашивают... Филиппинцы боятся и за меня, и за себя».

Это уязвляет Рисаля, но не такой он человек, чтобы бежать от опасности. Сам он считает, что никакой опасности нет, страхи друзей сильно преувеличены, а то и вовсе несостоятельны. Через два дня он садится на небольшое суденышко и хорошо знакомым ему маршрутом — по реке Пасиг и озеру Лагуна де Бай — прибывает в родную Каламбу. С бьющимся сердцем ступает он на родную землю и медленно идет к отчужденному дому. Там уже знают, что он должен вот-вот появиться, — слух о его приезде уже дошел из Манилы. Мать и сестры со слезами радости обнимают дорогого Пепе. Мужчины ведут себя сдержаннее. Дон Франсиско ясно дает понять, что блудный сын прощен, но прощен за проступки, которые дон Франсиско по-прежнему считает недопустимыми (тайный отъезд и опасная деятельность в Европе, наконец, книга, которая сразу ставит сына в ряды «флибустьеров»). И все же он рад видеть сына...

Еще тягостнее проходит встреча с Пасиано. В момент приезда младшего брата он объезжает сахарные плантации и возвращается домой, когда первые восторги уже улеглись. Пепе знает, сколь многим он обязан старшему брату, и, едва тот появляется на пороге, идет ему навстречу с распростертыми объятиями. Но Пасиано, уже предупрежденный о приезде брата, останавливает его тяжелым взглядом. Руки у Пепе опускаются, он стоит и не знает, что сказать. Пасиано, не проронив ни слова, уходит в свою комнату и не появляется до вечера. Он знает и одобряет деятельность младшего брата, он сам наставлял его еще до отъезда. Однако ему кажется, что Пепе слишком легкомыслен, что он слишком легко, как должное, принимает те жертвы, на которые семья идет ради него, он не очень задумывается над тем, что подвергает семью опасности. И вообще он чересчур развязан; первым обнимать старшего брата — это совсем не филиппински.

Пасиано присоединяется к семье только вечером. Пепе учел урок: он

почтителен и послушен. Постепенно холодок тает, и между всеми воцаряются сердечные отношения. Пепе вновь принят в семью — что бы он ни делал, семья не может исторгнуть его, она обязана защищать его — прав он или не прав. И любой член семьи обязан думать прежде всего о ее благе. Семья была и будет с Пепе, но все же не лучше ли ему уехать и не усложнять жизнь родственникам, не подвергать семью опасности? Слово «отъезд» звучит в первый же день, это тяжело, но тут ничего не поделаешь. Денежная помощь будет оказываться, как и прежде. А пока отец категорически требует, чтобы Пепе не выходил из дома без его ведома — он боится, что монахи сведут с ним счеты. «Отец не позволяет мне выходить одному, — пишет Рисаль, — ни даже есть в чужом доме». По Каламбе ползут пущенные монахами слухи: Рисаль приехал, чтобы подготовить передачу Филиппин в руки Германии. В Берлине его приняли за французского шпиона, на родине «принимают за немецкого, агента Бисмарка, протестанта, масона, наполовину проклятого. Так что я предпочитаю сидеть дома. Гражданские гвардейцы верят всему этому. Капрал (мадридец) полагает, что у меня заграничный паспорт и что я шныряю по ночам. Увы, я в руках бога и судьбы. Будь что будет, я готов ко всему».

Долго сидеть без дела он не может. Сначала он увлеченно предается художественному творчеству: много рисует, режет по дереву. Потом замечает, что это слишком далеко от насущных нужд. Нравы каламбеньос, и прежде всего образованной их части, вызывают у него резкую реакцию. Рисаль всегда знал о пристрастии соотечественников к азартным играм и всегда осуждал его. Теперь он вновь сталкивается с этой проблемой — вместо общественно полезной деятельности многие его земляки слишком много времени проводят за карточным столом, за китайской игрой в «маджонг» (нечто среднее между домино и картами: из костяшек надо набрать определенную комбинацию), а больше всего — на петушиных боях, где часто проигрываются в пух и прах.

Чтобы отвлечь их от этой пагубной страсти, Рисаль, неизменный поклонник спорта, устраивает гимнастический зал, где сам дает уроки фехтования.

Другое его занятие — медицинская практика. В Каламбе Рисаль впервые начинает практиковать как глазной хирург. До него глазная хирургия была неизвестна на Филиппинах. Теперь ученик Луи де Векера и Отто Бекера, стажировавшийся в Париже, Гейдельберге и Берлине, начинает прием больных. Особенно удачно он удаляет катаракты. Возвращение зрения многими филиппинцами воспринимается как

библейское чудо, следующее «по рангу» сразу за воскрешением из мертвых. В народных низах — и не только в них — зарождается убеждение, что Рисаль — чудотворец. Слава о «доктор улиман» — «немецком докторе» — гремит по всей стране, достигает самых отдаленных ее уголков. Многие простые филиппинцы бросают все дела и едут в Каламбу посмотреть на новоявленного чудотворца. Причем в их представлении доктор улиман — величественный старец с бородой, а потому, увидев Рисаля, по внешнему облику типичного филиппинца, один крестьянин простодушно восклицает: «Это вот этот-то?» Ему объясняют, что пути господни неисповедимы и посланец бога может принять любое обличье, надо радоваться, что на сей раз бог избрал в качестве своего орудия именно филиппинца. Не предвещает ли это, что вскорости господь вплотную займется филиппинскими делами и изгонит поработителей? Доводы действуют, слава Рисаля растет, пациенты едут со всех концов страны, а многие простые филиппинцы уповают на скорое освобождение от гнета — ведь человек, способный творить чудеса, конечно же, в состоянии освободить филиппинцев. Рисаль берет гонорары в зависимости от материального состояния пациентов, многих лечит вообще бесплатно — это тоже верный признак того, что «посланец бога» за бедных и угнетенных.

Шесть месяцев практики приносят Рисалю 5000 песо — куда больше, чем все вспоможение, высланное ему семьей за пять лет пребывания в Европе. Впервые Рисаль выбивается из нужды.

Рисованием, ваянием, спортом и медицинской практикой Рисаль занимается с согласия родных — это ведь не общественная, не публицистическая деятельность, могущая навлечь гнев властей. Лучше сидеть тихо. Рисаль намеренно избегает писать друзьям по движению пропаганды: письма перлюстрируются, а он обещал семье не делать ничего такого, что может возбудить подозрение властей. Друзья в Мадриде, поняв нежелание Рисаля вступить в активную переписку, после нескольких писем, полных взаимных обвинений и упреков, тоже перестают писать.

Но человеку такого масштаба трудно уйти в забвение, даже если он сам к этому стремится. Смутное брожение в массах, вызванное «чудесными» исцелениями, уже настораживает власти. К тому же все Филиппины потрясены «Злокачественной опухолью», автор, оказывается, здесь и молчит? Затекает что-нибудь? Монашеские ордены убеждены в этом и требуют от генерал-губернатора принять меры против «флибустьера». Через три недели после приезда Рисаля в Каламбу генерал-губернатор Эмилио Терреро-и-Перинат призывает Рисаля во дворец.

Терреро — не совсем обычный генерал-губернатор. Как правило, даже либералы, прибывающие на эту должность, скоро попадают под влияние монахов, без которых они не могут обойтись, и уезжают в Мадрид заправскими консерваторами. Терреро же прибыл консерватором, карлистом, но скоро убедился, что монахи стараются навязать ему свою точку зрения, использовать его в своих корыстных целях, и, обладая упрямым солдатским характером, в пику им обращается в либерала. Но и он не может игнорировать мнение орденов и архиепископа, которые осаждали его требованиями покарать богохульника.

Вот как Рисаль описывает встречу с Терреро в письме Блюментритту:

«Меня хотели отлучить от церкви, и генерал вызвал меня, чтобы попросить экземпляр моей книги. Он сказал:

— Вы написали роман, вызвавший многочисленные толки. Говорят, в нем опасные идеи. Я хочу прочесть его.

— Генерал, — ответил я, — я намеревался послать несколько экземпляров вашему высокопревосходительству и архиепископу, как только получу книги из Европы. У меня лишь один экземпляр, и тот я отдал другу. Однако, если ваше высокопревосходительство мне разрешит, я разыщу еще один.

— Не только разрешаю, я требую этого.

Я отправился к иезуитам, чтобы взять книгу, но они не пожелали с ней расстаться. Пришлось дать генералу довольно потрепанный экземпляр. Он принял меня любезнее...

Но если через месяц вы не получите от меня еще одного письма, знайте, что со мной либо что-то случилось, либо я уже плыву к берегам моей приемной родины, либо меня держат как узника. Мне угрожают каждый день».

Терреро, не любивший монахов, не находит в книге криминала. Но и он вынужден считаться с орденами, а потому передает книгу на заключение Постоянной цензурной комиссии. Сальвадор Фонт, отрицательное высказывание которого о романе мы уже цитировали, быстро сочиняет заключение и отправляет его в Малаканьянг, дворец генерал-губернатора. Малаканьянг не спешит и хранит молчание, которое воспринимается как знак согласия (но не с Фонтом, а с прогрессивно мыслящими филиппинцами), и остальная часть тиража, задержанная на таможне, благополучно поступает в книжные лавки города и быстро находит покупателей. Фонт разъярен: его мнение явно игнорируется. Тогда он печатает свое заключение во множестве экземпляров и распространяет их в Маниле. Ничто не могло способствовать успеху книги в большей мере:

интерес к ней возрастает необычайно.

Нелюбовь Терреро к монахам только усиливается, хотя он мало что может сделать. Вступать из-за какого-то «индио» в конфронтацию с орденами он не считает нужным, идти на поводу у монахов ему тоже не хочется. И он принимает решение, которое вроде бы должно утихомирить страсти: приставляет к Рисалю лейтенанта Хосе Тавиеля де Андраде. Этот шаг должен показать монахам, что власть не дремлет и берет опасного «индио» под постоянный надзор. В то же время Эмилио Терреро-и-Перинат хочет оградить Рисаля от возможных покушений со стороны орденов — они не гнушаются наемными убийцами, о чем генерал-губернатор знает.

Андраде — образованный офицер, знает французский и английский языки, недурно рисует. Он может найти общий язык с Рисалем, а значит, информировать генерал-губернатора о его деятельности. Поначалу лейтенант с негодованием воспринимает поручение состоять «при бандите». Но скоро с ним происходит то, что происходит со всеми, кто близко соприкасается с Рисалем: он попадает под обаяние его личности. Подлинной близости между ними нет и быть не может^[23], но взаимное уважение велико: Рисаль тоже ценит образованность, вкус и артистичность. Однако дружба с Андраде не в силах положить конец сплетням и интригам: когда они оба поднимаются на вершину горы Макилинг и поднимают там белый флаг, чтобы дать сигнал семье Рисаля, монахи тут же пускают слух, что Рисаль водрузил на горе немецкое знамя. И все же Рисаль с полным основанием восклицает: «Что было бы со мною без помощи моего доброго друга Тавиеля де Андраде!»

Между тем тучи над Рисалем сгущаются. Монахи по-прежнему требуют немедленной расправы с «мятежником», обвиняют генерал-губернатора в потакании «флибустьеру» — об этом они говорят при почти ежедневных посещениях генерал-губернаторского дворца. Для Терреро Рисаль становится все более неудобной фигурой. Через Андраде он передает Рисалю совет покинуть Филиппины. Для Рисаля это блестящее подтверждение его поэтического предвидения: в «Злокачественной опухоли» генерал-губернатор тоже советовал Ибарре оставить архипелаг. Все как он описал, все точно так. Роковая альтернатива — реформа или борьба, поставленная в романе, на практике сводится к одному решению — светские власти не в состоянии удалить опухоль, значит, остается один путь — путь насильственной борьбы. Об этом свидетельствует все: ненависть монахов, травля, неспособность и бессилие правительства, но прежде всего — так называемое «дело Каламбы», определившее перелом в сознании Рисаля.

Как уже говорилось, семейство Меркадо, принадлежащее к принсипалии, не имеет земли. Оно лишь арендует ее в асьенде Каламба, принадлежащей доминиканцам, и сдает в субаренду. Когда-то асьенда принадлежала иезуитам, но после их изгнания перешла к ордену святого Доминика, и вот уже сто лет доминиканцы нещадно эксплуатируют крестьян. Собственно, доминиканский орден (как и францисканский) по уставу не имеет права владеть собственностью. Но если францисканцы как-то придерживаются правил, то доминиканцы прибегают к обходному маневру: да, сами они не нуждаются в собственности, но они содержат больницы, приюты, школы и университет — то, что называется «благочестивыми делами». Да, они взимают плату с крестьян, но она идет не на монахов, а на эти самые «дела». На практике, конечно, все обстоит по-другому: орден доминиканцев — крупнейший феодальный эксплуататор, причем тяга к наживе столь велика, что орден идет на подлог. Во времена иезуитов асьенда была не столь уж обширна: она занимала часть города и небольшую полосу окрестных земель. За аренду этих земель иезуиты брали плату — канон, а за аренду других — небольшую подать «на ирригационные нужды». С этих относительно небольших доходов иезуиты платили налог правительству. За сто лет доминиканцы мало-помалу включили в асьенду всю территорию города и все окрестные земли — совершенно незаконно, разумеется, а налог платили, как и иезуиты, с весьма незначительной части своих сильно возросших владений.

Слухи об этом дошли до властей, и бюрократическая машина стала со скрипом двигаться. Доминиканцы были куда проворнее и постарались запутать дело. Еще в 1883 году, через год после отъезда Рисаля в Европу, они перестали давать арендаторам расписки в получении канона, и установить, сколь велики были доходы доминиканцев, стало невозможно. Среди арендаторов зрело недовольство, они отлично понимали, что их обманывают. В 1885 году доминиканцы объявили, что все арендаторы — их должники. За отсутствием расписок установить истину было затруднительно. Монахи потребовали от арендаторов освободить все земли и пригласили жителей других городов подавать заявления об их аренде. Каламбеньос наотрез отказались покинуть свои участки, и на год дело затихло. В 1886 году доминиканцы снова подняли канон. В том же году цены на сахар на мировом рынке упали, и арендаторы оказались в затруднительном положении — настолько затруднительном, что Пасиано вообще хотел отказаться от аренды. (Именно поэтому ему было так трудно высылать деньги младшему брату, для которого 1886 год был самым тяжелым в финансовом отношении.)

Скрипучее колесо испанской колониальной бюрократии наконец совершает полный оборот, и Малакьянг дает указание губернатору провинции Лагуна выяснить, какова площадь монашеской асьенды и каковы доходы с нее. Губернатор провинции 30 декабря 1887 года шлет запрос муниципалитету Каламбы, и в городе воцаряется паника: простые жители не очень разбираются в делах, и запрос для них есть верный признак предстоящего увеличения налогового бремени. Среди всеобщего смятения звучит рассудительный голос Рисаля, который собирает арендаторов и объясняет им: «Оснований для паники нет никаких. Вы, мелкие арендаторы, исправно вносите нам долю урожая^[24], мы же исправно вносим канон. Монахи должны исправно платить с него налог правительству. Но не платят и, значит, обманывают правительство точно так же, как обманывают нас. А раз так, то ведь естественно, что правительство и мы — страдающая сторона. Оно не может не увидеть справедливости наших требований».

Когда во время всеобщей паники раздается уверенный голос, он приобретает особую убедительность. Все успокаиваются и поручают именно Рисалю составить ответ на запрос властей. Он просит крестьян сообщить ему все факты беззакония и педантично записывает их. Потом садится за стол и пишет тщательно продуманную петицию.

8 января 1888 года Рисаль зачитывает петицию на собрании арендаторов. Она составлена в столь умеренных выражениях, что ее подписывают даже три представителя управления асьендой. И что же? Как напишет позднее Рисаль, «ничего, абсолютно ничего не было сделано. Пострадали бедные люди, жертвы своей верности правительству и своей веры в справедливость». События в Каламбе примут трагический оборот позднее, уже после отъезда Рисаля, но и сейчас ясно, что над каламбеньос сгущаются тучи: светские власти боятся идти на обострение отношений с монахами. Инстинктивное недоверие крестьян к колониальным властям получает печальное подтверждение, а несколько прекраснодушная вера Рисаля в возможность диалога с правительством оказывается беспочвенной.

Но он умеет смотреть фактам в лицо. Ему становится ясно, что «дело Каламбы» — не частный случай, не досадное исключение из правил: пренебрежение страданиями филиппинцев — постоянная практика, которую не собирается менять даже либерально настроенный Эмилио Терреро-и-Перинат. Дело не в личной или семейной обиде (хотя и ее нельзя сбрасывать со счетов) — дело в самой сути колониального режима, антифилиппинского в самой своей основе. Пребывание на Филиппинах

лишает Рисаля почти всех иллюзий относительно испанской политики в колонии. Надеяться практически не на что: позорная выставка в Мадриде, реакция на «Злокачественную опухоль», бешеная кампания травли, наконец «дело Каламбы» — все это обуславливает перелом в сознании Рисаля.

И все же...

Он очень неохотно делает окончательные выводы. Еще в начале 1887 года, уже признавая невозможность мирной борьбы («Она всегда останется лишь мечтой, потому что Испания никогда не усвоит урока, данного ей ее бывшими колониями в Южной Америке»), он все же утверждает: «Однако при современных условиях мы не хотим отделения от Испании, а лишь просим уделить нам больше внимания, обеспечить получение образования, дать лучших государственных служащих, одного или двух депутатов для того, чтобы мы были больше уверены в своей судьбе. Испания могла бы завоевать уважение филиппинцев, если бы только поступала разумнее! Однако Quos vult perdere Jupiter prius dementat». Надежды на удовлетворение этих просьб рушатся. Рисаль, будучи изрядным латинистом, выражает это в латинской пословице: «Кого Юпитер хочет погубить, того прежде лишает разума». Эта пословица, которую он приводит теперь очень часто, становится лейтмотивом всех его размышлений о взаимоотношениях Испании и Филиппин, он без конца приводит ее в статьях и эссе, особенно часто в письмах. Испанцы, отвечающие за судьбы Филиппин, поражены безумием. В соответствии со своим пониманием истории Рисаль считает, что нужные события происходят в нужное время. И раз безумие поразило испанцев, значит, так надо, значит, почти ничего не остается, кроме борьбы за отделение.

Он уже достаточно четко формулирует отказ от надежд на Испанию и столь же четко противопоставляет филиппинцев испанцам. Однако надо подчеркнуть, что противопоставление это не распространяется на сферу культуры. Будучи иллюстратором и испанофилом по своей культурной ориентации, Рисаль до конца сохраняет глубокое уважение к испанской культуре. Ее влияние на него сказывается во всем — вплоть до пристрастия к таким оборотам речи, как «посмотреть на быка вблизи». Рисаль никогда не верил в «черную легенду» — так в истории испанской общественной мысли называют взгляд на Испанию и испанцев, согласно которому все связанное с Испанией изображается как «летопись испанской жестокости, зверства, глупости, трусости, дурного колониального правления, жажды золота и деспотизма». Все это, разумеется, было, но было не только это, а что до зверств, то в них повинен не один испанский колониализм. «Черная легенда» зародилась еще во время войн Карла V и Филиппа II в Нижней

Европе и быстро распространилась в других странах, прежде всего протестантских, существует она и по сей день. Эта легенда не отделяет преступлений испанского колониализма от испанской культуры и испанского народа. Очерняя Испанию и все испанское, она призвана обелить и оправдать преступления других колониальных держав. Рисаль никогда не разделял этого взгляда, он видел зло, чинимое испанскими властями и монахами, но отказывался обвинять в нем весь испанский народ. Глубокое уважение и даже преклонение перед испанской культурой Рисаль пронес через всю жизнь, и оно отразилось на всем его творчестве.

Уважение к великому народу и к великой культуре отнюдь не мешает Рисалю бороться за дело филиппинцев. Но как бороться на самих Филиппинах, где власти никому не дают поднять голову, где монахи жаждут расправы с ним и где, наконец, он сам обещал семье не совершать ничего, что могло бы поставить под угрозу ее благополучие? Раз ничего нельзя сказать, остается одно — писать, писать с надеждой, которую питал герой его романа философ Тасио: когда-нибудь люди прочтут и поймут написанное им. Он начинает еще один роман. Первый роман был диагнозом филиппинскому обществу, второй будет прогнозом: он опишет течение болезни и ее исход (все эти медицинские уподобления принадлежат самому Рисалю — ведь по образованию он врач). Его называют флибустьером? Пусть! Он напишет о флибустьерах — кто они, чего хотят, за что борются. Рисаль составляет план романа, набрасывает несколько страниц, по потом оставляет работу — не до того. Да и постоянно находящийся рядом Андраде, хоть он и кабальеро, все же официально приставленный соглядатай — может сообщить властям, те примут его писательскую деятельность за еще одну попытку расшатать основы режима. Роман отложен.

Не только перипетии «дела Каламбы», не только не-прекращающаяся травля, не только медицинская практика мешают ему сосредоточиться. Ведь у него есть и дела личные — здесь, совсем недалеко, живет Леонор Ривера. Говоря о пребывании Рисаля на родине, нельзя обойти вниманием его отношения с возлюбленной, потому что история эта уж очень филиппинская. Они не виделись пять лет, но регулярно переписывались. За эти пять лет их чувства не угасли, напротив, разгорелись с новой силой. Родители обоих дали согласие на брак еще до отъезда Рисаля в Европу. Казалось бы, первое, что должен сделать Рисаль, — встретиться с Леонор.

Сразу после приезда он заводит разговор об этом: ведь родители знают о его намерениях и одобряют их; Леонор, признанная красавица из состоятельной семьи, — завидная партия и отвергла множество выгодных

предложений. Его долг и страстное желание — увидеться с нею. Дон Франсиско, выслушав сына, сначала молчит, а потом коротко роняет, — «Нет!» Рисаль потрясен, отец же не считает нужным объясниться. Сын сам должен понимать: он стал опасным человеком. Все говорят, что он произнес «подрывную» речь в честь филиппинских художников. Дон Франсиско читал ее, мало что понял, но если уважаемые люди говорят, что этой речью сын вызвал недовольство властей, значит, так оно и есть. Все вокруг твердят, что книга, написанная сыном, — бочка с порохом. И в этом дон Франсиско не очень разбирается, но нельзя же игнорировать мнение окружающих. Сын снискал славу «флибустьера», а это опасная слава. Семья не может отказаться от него, но было бы крайне неосторожно подвергать опасности еще и семейство Ривера — ведь они тоже родственники. Итак, категорическое «нет». Как это по поразительно, «европеизированный» Рисаль не осмеливается послушаться.

Леонор тоже рвется к любимому. Антонио и Елизавета Ривера полны сомнений: да, молодые люди любят друг друга, все это знают. Однако Рисаль сейчас несет в себе опасность для других. Может быть, потом, когда все уляжется... Дон Антонио собирается в Манилу, Леонор робко просит взять ее с собой — в надежде увидеть дорогого Пепе. И здесь звучит категорическое «нет». Нарушить родительский запрет невозможно. Встречи не будет. Три года спустя Рисаль так объяснит свое поведение в письме к одной из сестер: «Прошу тебя — чти седины наших родителей, они уже стары, и мы должны покрыть их старость славой. В любви родителей есть доля эгоизма, но и он — следствие чрезмерной любви. Ты хорошо знаешь, что я должен был и мог бы поехать в Пангасинан (провинция, где жила Леонор. — *И. П.*), что я был официально помолвлен и что в течение долгих лет моей мечтой было поехать туда. Но родители были против, и я повиновался им. И это несмотря на то, что послушание не навлекло бы на нас и тени бесчестия. Леонор поступила так же. Она хотела и могла поехать с отцом в Манилу, чтобы забрать племянников, но простого недовольства ее отца было достаточно, чтобы и она перестала настаивать; и, говорю тебе честно, если бы она продолжала настаивать, а я бы узнал об этом, я бы ни за что не встретился с нею». Рисаль остается типичным филиппинцем.

На семью обрушивается несчастье: умирает родами старшая сестра Олимпия, оставив сиротами двух племянников Рисаля. Ее смерть потрясает Хосе, а мольбы сирот к богу с просьбой «вернуть маму» трогают до слез. Он ютов винить в смерти Олимпии самого себя: это он опасен для всех, кто соприкасается с ним, он навлекает на людей всевозможные несчастья. Тут

сказывается широко распространенное на Филиппинах убеждение, что каждый человек имеет связь с миром духов, которые либо благоволят ему — и соответственно его близким, — либо, напротив, навлекают на него и его родственников многочисленные беды. В первом случае человек становится желанным гостем и другом, во втором — все его сторонятся. Он может быть «отмечен» невезением на какой-то период времени или на всю жизнь. С приездом Пепе все разладилось: на семейство Меркадо косятся монахи, власти насторожены, умирает Олимпия, «дело Каламбы» — многие начинают избегать его как зачумленного... Кто знает, может, это просто такая полоса, но тогда надо переждать ее в стороне, подальше от семьи, ей-то зачем подвергаться опасности? Пасиано и другая старшая сестра, Нарсиса, прямо говорят ему: надо уезжать. Как уезжать? Ведь он хочет остаться, все уляжется, он женится на Леонор... И тогда старший брат жестко бросает: «Ты думаешь только о себе». Это приговор, не подлежащий обжалованию. Мнение семьи высказано, остается только повиноваться. От пережитых волнений Рисаль заболевает. Но Пасиано неумолим: его долг, долг старшего брата, — заботиться прежде всего о семье. Нет, Пепе не исторгнут, не отлучен, но он должен понять, что благо семьи превыше всего. Лучше всего переждать «полосу невезения» (если только это полоса, а не жребий на всю жизнь) где-нибудь подальше от семьи — только при этих условиях они смогут помочь ему. Его любят и им гордятся, но делать ему на Филиппинах нечего.

За него по-прежнему боятся, и в Манилу его сопровождает чуть ли не десяток зятьев, двоюродных братьев и других родственников — помочь ему с отъездом, а главное, защитить от возможного удара со стороны монахов. В Маниле Рисаль (больной, с высокой температурой) убеждается, что кампания против него нисколько не улеглась, напротив, набирает силу. Генерал-губернатору вовсе не хочется иметь под боком столь неудобного человека — он еще раньше через Андраде передавал настойчивые рекомендации уехать подальше. Рисаль пишет Блюментритту: «Монахи не хотят и слышать обо мне, чиновники хотят, чтобы я был как можно дальше, а филиппинцы боятся и за себя, и за меня; остается одно — я возвращаюсь в Европу». И сразу после отъезда: «Меня заставили покинуть родину, я уехал из дома полубольным и поспешил на пароход. О герр Блюментритт, вы еще не знаете моей маленькой одиссеи!.. Провинциалы всех орденов и архиепископ ежедневно досаждали генералу жалобами на меня. Синдик доминиканцев донес алькальду, что меня видели ночью на горе, на тайных сборищах мужчин и женщин... Какой заговорщик станет устраивать тайные сборища вне дома, да еще с женщинами и детьми?..

Соотечественники предлагали мне деньги, лишь бы я уехал. Они молили об этом не только ради моего блага — у меня много друзей и знакомых, которых сослали бы вместе со мной».

Практически никто не может помочь, кроме иезуитов, но и они делают это все менее охотно. Почувствовав себя чуть лучше, Рисаль навещает своих наставников. Они одни подняли голос в защиту своего бывшего воспитанника, но не очень громкий, и притом исключительно ради своей выгоды, ради сохранения репутации поборников прогресса. Любимый учитель, Франсиско де Паула Санчес, пишет Рисаль, «осмелился публично защищать меня и хвалить мою книгу, хотя наедине сказал, что мне следовало бы написать идеальное произведение, нарисовав в нем идеальных священников и т. д., тем самым подчеркнув контраст с действительностью». То было сразу после переезда Рисаля — иезуиты надеялись, что их ученик вернется в лоно церкви и отречется от «заблуждений». Они и сейчас не теряют надежды. Но последняя встреча перед отъездом не приносит иезуитам ничего утешительного — их питомец твердо стоит на своем. Рисаль снова беседует с Санчесом, говорит ему, что хотел пробудить соотечественников от летаргического сна, а пробудить их можно не мягкими словами, а ощутимыми толчками, даже ударами — такими, как роман «Злокачественная опухоль».

— И ты не боишься последствий своей дерзости? — спрашивает наставник.

— Отец мой, — отвечает ученик, — вы же миссионер. Вы ведь не боитесь язычников.

— Ну это совсем другое дело.

— Ничуть. Ваше дело — крестить язычников, мое — пробуждать в людях достоинство.

В спор вступают другие. Иезуиты, говорит Рисаль, теперь стоят позади телеги прогресса. Это вызывает бурю возмущения. Ученый-иезуит падре Фаура (построивший метеорологический центр на Филиппинах) утверждает, что в обществе Иисуса много подлинных ученых, куда больше, чем в других орденах. Упрямый ученик отвечает, что это еще ни о чем не говорит: наука — далеко не весь прогресс, это лишь инструмент прогресса. Иезуитов никак нельзя поставить в ряды прогрессивного движения — ведь они не признают ни свободы мысли, ни свободы религии. Они чураются свободной дискуссии. Вспыхивает спор о чистилище — «сначала философский, а потом канонический», — отмечает Рисаль. Чистилища он не признает, не признает и догмата о непогрешимости папы. Спор ожесточается, но Рисаль твердо стоит на своем. Ему показывают сердце

Иисусово, которое он сам вырезал из дерева, будучи еще студентом. Отцы-наставники надеются пробудить в ученике былые чувства, но тот отвечает:

— Другое время, святые отцы, то было другое время, и оно прошло. Я уже не верю в эти вещи.

Тем не менее окончательного разрыва не происходит. Иезуиты знают, что в романе Рисаль изобразил их в куда более выгодном свете, чем другие ордены. А что до его «заблуждений» — что ж, иезуиты обладают цепкостью и терпением и не теряют надежды на возвращение блудного сына в лоно церкви.

И все же падре Федерико Фаура предупреждает:

— Смотри, ты кончишь на эшафоте. Лучше уезжай отсюда немедленно.

На это Рисаль отвечает неопределенной улыбкой и покидает ученых отцов.

Ему становится жутко. Уж кто-кто, а иезуиты отлично разбираются в обстановке и слов на ветер не бросают. И если они считают, что ему грозит смертельная опасность, значит, так оно и есть. Его жизнь висит на волоске, надо немедленно уезжать. Еще не вполне оправившись от лихорадки, 3 февраля 1888 года Рисаль поднимается на борт парохода. В 1882 году, глядя на удаляющийся берег родины, Рисаль был полон грусти. Теперь он записывает в дневнике: «Покидая Манилу, я не испытываю сладкой, меланхолической печали, как шесть лет назад. Сейчас, глядя на купола соборов и церквей, я испытываю только ужас».

Шесть месяцев, проведенных на родине, подтвердили его опасения. Отъезд был поспешным и носил характер бегства. И не случайно в эти дни Рисаль снова вспоминает сказку о мотыльке, сгоревшем в огне, которую в детстве читала ему мать: он сам чуть не влетел в пламя. Подобно мотыльку, он не думал об опасности и едва избежал ее, по все же убежден, что посетил Филиппины даром.

*

Действительно, пребывание Рисаля на Филиппинах не проходит бесследно. Вскоре после его отъезда, 1 марта 1888 года, губернаторсильос Манилы и окрестных селений в торжественной процессии следуют к резиденции гражданского губернатора и вручают ему петицию, под которой стоят 810 подписей — небывалое дотоле событие. Петицию составили Доротео Кортес (масон), Хосе Рамос (владелец книжной лавки

«Ла Гран Бретанья», той самой, где продавали роман Рисаля и где встречались все филиппинские националисты) и Марсело дель Пилар (журналист). В петиции перечислены злоупотребления монахов и манильского архиепископа Пайо. Петиционеры требуют их изгнания, потому что «столь деспотичные и неблагодарные люди только порождают недовольство в сынах Филиппин, которые в конце концов силой изгонят их, если правительство не сделает этого ранее».

Рисаль не принимал участия в подготовке манифестации, более того, он отнесся к ней отрицательно. «Раз вы провели манифестацию без моего согласия, то сами и отвечайте за последствия», — скажет он позднее, когда к нему обратятся за советом, что делать дальше. А в письме Блюментритту он пишет: «Не думаю, что есть смысл возбуждать толпу и королеву против архиепископа». Действительно, требование изгнать также и архиепископа — явный тактический просчет, отпугнувший многих сторонников преобразований.

И тем не менее нельзя не отметить близости петиции к идеям, высказанным в «Злокачественной опухоли»: здесь есть и требование удалить «опухоль» (монашеские ордены), и обращение к гражданским властям, на которые все еще возлагаются надежды, и предупреждение, что в случае бездействия властей филиппинцы прибегнут к насилию. Тут сказывается общее воздействие творчества Рисаля на общественную жизнь Филиппин. К этому времени вся политическая борьба в значительной мере определяется его идеями, они уже живут своей жизнью, часто независимой от их творца.

Есть и еще один аспект в событиях 1888 года. В сознании многих филиппинцев этот год воспринимается как особый, магический год «трех восьмерок». В этот год, считают многие, легендарный герой Бернардо Карпио, закованный в пещере, пробудится ото сна, разорвет цепи («восьмерки»), прогонит испанцев и освободит народ от чужеземного гнета. Год спустя газета эмигрантов напишет: «Предыдущий год был на Филиппинах годом самых фантастических предсказаний. Провидение словно взялось подтвердить восточные предрассудки — в 1888 году произошли события огромной важности».

ГОДЫ СКИТАНИЙ. РОМАН-ПРОГНОЗ «МЯТЕЖ»

*Как пожухлый листок в непогоду,
через горы, леса и поля,
по планете скитается странник:
где душа, где любовь, где родная земля?*

Хосе Рисаль. Песнь странника

Вырвавшись на свободу, Рисаль все еще с ужасом вспоминает о пережитом на родине. Но, как всегда, путешествие успокаивает его: вид восходов и закатов, которыми он по-прежнему восхищается, общение с попутчиками смягчают его душу. Но ненадолго — Гонконг напоминает ему о трагедии родины, стонущей под испанским игом. Здесь, в изгнании, живут несколько десятков филиппинцев, жертв (большой частью невинных) восстания 1872 года. Почти все они влачат жалкое существование, почти все отказались от борьбы и испытывают непреходящий страх. Особенно тягостное впечатление производит на Рисаля судьба одного из них — Бальбино Маурисио. Он был сослан на Марианские острова, бежал, передевшись монахом, осел в Гонконге. Жить ему было не на что, и он послал сына в Манилу, умоляя родственников помочь ему. Помощь родственников — святая обязанность всех филиппинцев. Но страх перед испанцами пересиливает это чувство: сыну дают несколько песо и просят вернуться туда, откуда он прибыл. Для человека, воспитанного в филиппинских традициях, ничто не может быть трагичнее: лишить человека поддержки семьи — это все равно что похоронить его заживо.

И конечно, Рисаль не может не усмотреть в положении этого парии аналогии с собственной судьбой: «Встреча с этим несчастным, заслуживающим лучшей участи, полезна для меня, ибо подготавливает к моей собственной судьбе, которая может оказаться куда хуже».

И тут же, в Гонконге, напоминание о виновниках всех бедствий филиппинцев — о монахах. Доминиканцы владеют здесь доходными домами — их 750! — и имеют немалую долю в банках, «ворочают миллионами», отмечает в дневнике Рисаль. Феодалы на Филиппинах, в

Гонконге изворотливые монашеские ордены предстают как капиталистические эксплуататоры.

Только один филиппинец живет сносно, даже богато. Это Хосе Мария Баса, процветающий предприниматель. Реформаторы как на самих Филиппинах, так и в Испании давно поддерживают с ним связь, через него идет оживленная переписка, к нему же поступают суммы, собранные на островах для движения пропаганды, а он пересылает их в Мадрид и Барселону. Сам Баса прекрасно осведомлен о ведущей роли Рисаля в филиппинском движении. Несмотря на разницу в возрасте — Баса на 22 года старше Рисаля, — гонконгский эмигрант сразу признает авторитет и главенство своего молодого соотечественника, становится его гостеприимцем и гидом, а позднее — главным связующим звеном между вождем филиппинцев и его соратниками на родине.

...Баса показывает своему гостю город (как раз в это время проходит китайский праздник с обязательными фейерверками), ведет его в китайский театр. Страстный театрал и сам в некотором роде драматург, Рисаль с интересом знакомится со сценическим искусством китайцев. Он быстро осваивается, причем непривычность не мешает ему оценить смысл и красоту происходящего на подмостках. «В китайском театре, — записывает он, — когда актер говорит «в сторону», другие притворяются, будто ничего не слышат, и поворачиваются к нему спиной. Изображающий всадника держит в руке плеть — это означает, что он на коне. Поднимает ногу — это означает, что он входит в дом. Закрывает дверь — делает соответствующее движение в воздухе». Тут все непросто для восприятия, много условностей, рассчитанных на хорошо подготовленного зрителя. Рисаль, человек универсальной культуры, чуть ли не мгновенно схватывает суть, и китайский театр доставляет ему подлинное эстетическое наслаждение.

Совершив короткое путешествие в Макао, договорившись с Басой о связи в дальнейшем, Рисаль через две недели отплывает из Гонконга в Японию. Его сосед по каюте — протестантский пастор, с которым Рисаль опять, как когда-то с Ульмером, ведет высокоученые разговоры о сущности религии. Но не очень часто: ветер свежий, пароход изрядно качает, и Рисаль большей частью молча страдает на койке. Через шесть дней пароход бросает якорь в Иокогаме.

Перед ним открывается возможность познакомиться с еще одной самобытной восточной культурой, и он эту возможность не упускает. Япония интересна ему еще и потому, что совсем недавно покончила с самоизоляцией. Произошла революция Мэйдзи, в стране бурно развивается капитализм — а он мечтает о таком же развитии на Филиппинах!

Отрицательные последствия роста капиталистических отношений внутри страны пока еще не очень заметны, но экспансионистские устремления Японии уже обозначены четко — она устремляет взоры на Китай, Корею... Японцы вовсе не стремятся отказаться от своей традиционной культуры. Это особенно интересует заезжего филиппинца: кто знает, может быть, японский опыт окажется полезным для его соотечественников.

...В Японии Рисаля встречают представители испанской дипломатической миссии: временный поверенный, пишет Рисаль, просит о свидании «через две минуты после того, как я вошел в свою комнату в отеле». Испанские дипломаты получили распоряжение генерал-губернатора Терреро: принять Рисаля, окружить его заботой, расположить к себе и, если удастся, оставить при миссии на дипломатической службе. Терреро-и-Перинат заботится вовсе не о Рисале. Он хотел бы нейтрализовать опасного филиппинца, приручить его. Для Рисаля это не секрет. Приняв предложение поселиться в здании миссии, Рисаль пишет другу: «...в основе (приглашения. — *И. П.*) лежит желание следить за мной, но мне прятать нечего». Дипломаты стараются выполнить возложенную на них задачу: «Эти кабальеро сказали мне, что на Филиппинах я волей-неволей превращусь в агитатора!», здесь же он может быть драгоманом.

По прибытии в Японию Рисаль не понимает ни слова по-японски. Еще в Париже его, случалось, принимали за японца, который, однако, не знал ни одного иероглифа. История повторяется: «И вот твой друг Рисаль здесь, — пишет он Блюментритту, — предмет удивления японцев — у него японская внешность, а по-японски он не говорит. На меня глядят с недоумением, а дурно воспитанные дети смеются надо мной... Они думают, что я европеизированный японец, выдающий себя за европейца». Это его раздражает, и он начинает форсированно изучать японский язык. Необыкновенные способности выручают его, и через сорок дней испанские дипломаты уже с полным основанием предлагают ему место переводчика при миссии. Они вообще всячески его обхаживают: предлагают послать через дипломатическую почту подарки семье (фарфоровый сервиз родителям, ширму для Пасиано, японские гребни сестрам), устраивают ему поездки по стране. Он пользуется их любезностью, но от государственной службы отказывается категорически.

Япония производит на него глубокое впечатление: «Мне нравятся японцы, — записывает он, — здесь великолепные виды, цветы, деревья, мирные поселяне, готовые услужить». Нравится ему не только страна. По японскому обычаю, который, заметим, не противоречит и филиппинским нормам, Рисаль берет себе временную жену, последнюю

представительницу обнищавшего самурайского рода. Ее зовут Сеи-ко, Рисаль называет ее О-сэй-сан и перед отъездом из Японии посвящает ей такие проникновенные строки: «О-сэй-сан, саенора, саенора! Я провел с тобой золотой месяц, не знаю, будет ли еще такой в моей жизни. У меня было все — любовь, дружба, деньги, почести. И все это я покидаю ради неопределенного, неведомого будущего. Здесь мне предлагают безмятежную жизнь, любовь, заботу...Имя твое живет в дыхании моих губ, образ твой оживляет* мои думы. Будет ли в моей жизни еще один волшебный полдень, как тот, в храме? Будут ли еще такие спокойные часы, наполненные блаженством? Ты — цветок камелии, ты столь же свежа и изящна... Все кончено, саенора, саенора!» Эта запись — единственное документальное свидетельство японской привязанности Рисаля^[25].

Ничто — ни любовная история на сюжет «Чио-чио-сан», ни заманчивые предложения — не может удержать Рисаля. Ему надо многое продумать, главное — решить, как дальше вести борьбу за «филиппинское дело», ибо пребывание дома по-новому осветило весь вопрос о судьбах родины. 13 апреля Рисаль поднимается на борт парохода «Бельжик», плывущего в Сан-Франциско. Он прощается с Японией, но Япония еще не простилась с ним.

Среди пассажиров обращает на себя внимание японец в мешковато сшитом костюме. Он не знает ни слова на европейских языках и явно ощущает себя потерянным. Всегда общительный и готовый прийти на помощь, Рисаль заговаривает с попутчиком. О да, вежливый японец решил посмотреть мир. О да, он говорит только по-японски. О да, он приветствовал революцию Мэйдзи, но хочет сам увидеть, что на Западе достойно подражания и заимствования. Он самурайского рода, занимается журналистикой. Но сейчас он беспомощен и как благословение свыше воспринимает знакомство с Рисалем и не отходит от него ни на шаг. Свои впечатления японец — его зовут Суехиро Тетчо — изложит позднее в двух книгах: «Путешествие глухонемого» (намек на незнание языков) и «Воспоминания о путешествиях». В первой книге он не называет Рисаля по имени, лишь упоминает о «господине из Манилы», который любезно согласился быть его переводчиком. Во второй Рисаль уже назван: «Господину Рисару (так звучит имя Рисаля в устах японца) 27 лет, но он говорит на семи языках. Его родина, Филиппины, находится под гнетом Испании и римских католиков. За год до того господин Рисару написал книгу, в которой обрушился на колониальную политику испанского правительства и римскую католическую церковь.

...Господин Рисару честен и не занимается пустяками; он талантлив и

хорошо рисует. Его восковые фигуры лучше сделанных профессионалами. Насколько мне известно, испанское правительство объявило господина Рисару преступником, таковыми же считаются и те, у кого находят его книги». Симпатии Тетчо к Рисалю несомненны. Филиппинский изгнанник производит на него столь глубокое впечатление, что четыре года спустя Тетчо решает написать о нем роман. В предисловии он опять не упоминает имени Рисаля, но из содержания ясно, что речь идет именно о нем: «Когда я путешествовал в Европу, я познакомился с господином из Манилы... Ему не удалось осуществить свой план завоевания независимости Филиппин, и его чуть не посадили в тюрьму. Он, однако, сумел бежать. Он рассказал мне о жестокой колониальной политике испанского правительства и о недовольстве народа Филиппин. Я был очень тронут и заявил о своем возмущении. Однажды, когда я был у него, он показал мне фотографию красивой женщины (несомненно, Леонор Риверы. — *И. П.*). Она похожа на японку». Далее Тетчо пишет, что, по словам «господина из Манилы», его возлюбленная ушла в монастырь. Мы знаем, что это не так, но Мария Клара, героиня «Злокачественной опухоли», действительно ушла в монастырь. Здесь имеет место либо ошибка памяти, либо недопонимание — Рисаль все же не настолько владеет японским языком, чтобы точно объясниться, и рассказ о его романе мог быть принят за его подлинную биографию. Тетчо заключает предисловие такими словами: «Эта история прозвучала для меня как трагедия, написанная гением. И теперь, когда я берусь за перо, чтобы написать роман, я добавлю к этой истории некоторые детали и назову ее «Буря над Южными морями».

Деталей оказалось слишком много, и узнать в романе Рисаля довольно трудно. Небезынтересно, что Рисаль, которому суждено было стать героем бесчисленных романов, рассказов, поэм и пьес, впервые выступает как литературный герой в Японии.

А пока будущий герой романа плывет через Тихий океан, который на этот раз оправдывает свое название: качки почти нет, что радует Рисаля, — этот потомок отважных малайских мореходов переносит ее крайне плохо. Остается много времени на размышления — если только рядом нет привязчивого японца, всюду следующего за «Рисару-сан». Можно обдумать дальнейшую деятельность. Можно продолжить начатый на родине роман. Можно погрузиться в науку — написать серьезный труд по истории Филиппин, по языкам, по этнографии. Но скорее всего опять придется сплачивать филиппинцев — они, судя по письмам, снова погрязли в мелких сварах, заслоняющих великую цель. Дел предстоит много, но он чувствует прилив сил. Да и с деньгами теперь будет легче: полученные гонорары

должны обеспечить сносную жизнь по меньшей мере на год вперед. А пока надо познакомиться с «новой великой демократией» — с Америкой.

Она разочаровывает его с самого начала. В бухте Сан-Франциско пассажиров задерживают на восемь дней, не позволяя сойти на берег. Предлог — карантин. Но подлинная причина ясна Рисалю: на борту «Бельжик» 643 китайца-кули, против их приезда протестует местное население. Предстоят выборы, и власти ищут популярности, демонстрируя жесткие меры против китайцев. Общий вывод: «Конечно, Америка — великая страна, но тут слишком много недостатков. Подлинных гражданских свобод нет», И вообще: «Я никому бы не советовал ехать в Америку». Будучи культурнейшим европейцем и одновременно чувствительнейшим филиппинцем, Рисаль не может не отметить всеобщую погоню за золотым тельцом («Проводник вагона — чуть ли не вор» — так характеризует он чересчур назойливого любителя чаевых).

Рисаль пересекает Американский континент на поезде, который идет не торопясь, делая многочасовые остановки, чтобы дать пассажирам возможность ознакомиться с достопримечательностями. Пассажир из далеких Филиппин прилежно осматривает Ниагарский водопад, находит его величественным, но сравнивает с водопадами родины, и сравнение не в пользу первого! «Он не так красив, ему не хватает таинственной прелести водопада в Лос-Баньосе». О Джордже Вашингтоне: «Великий человек, но, к сожалению, второго такого в нашем столетии Америка не дала». Заметки беглые, но верные. Американская напористость производит на него не слишком благоприятное впечатление, и не случайно позже он сопоставит Америку с другими колониальными державами и поставит вопрос о возможной аннексии Филиппин этим молодым капиталистическим хищником.

В Нью-Йорке Рисаль проводит три дня, а затем отплывает в Англию на пароходе «Город Рим». Его сопровождает все тот же японский попутчик, Суехиро Тетчо. Он уже немного освоился, но все же предпочитает держаться поближе к «Рисару-сан». На борту огромного парохода издается газета, и у Рисаля берут интервью. Но американские корреспонденты, по его словам, «плохо знают и географию и историю. Совсем как испанцы». Видимо, американские газетчики имеют слабое представление о Филиппинах и о положении колонии, а это всегда раздражает Рисаля. Море во время перехода через Атлантику беспокойно, и Рисаль мало общается с попутчиками, хотя отмечает: «Со всеми я мог говорить на их языках».

Рисаль решает обосноваться в Англии надолго. Сейчас основное, решает он, научная работа. А где, как не в Лондоне с богатейшей

библиотекой Британского музея, можно найти лучшие условия для научных разысканий? Разыскания эти нужны не только для удовлетворения потребности души. Научная работа, изучение прошлого Филиппин должны, по его мнению, вернуть филиппинцам «историческую память», без которой никакой народ не может претендовать на статус равноправного члена всемирного сообщества наций. Углубление в научную деятельность — не уход от борьбы за «филиппинское дело», а продолжение этой борьбы. Надо восстановить национальное самосознание, искаженное (так считает Рисаль) колониальным владычеством, и прежде всего деятельностью монахов. Нужны книги, по-филиппински освещающие прошлое Филиппин. Решение принято, он остается в Лондоне.

Лондон в 1888 году в зените славы, величайший город мира, крупнейший промышленный и торговый центр, столица огромной империи. Королева Виктория всего за год до прибытия Рисаля пышно отпраздновала пятидесятилетие своего пребывания на троне. Сложился устойчивый стиль жизни, который принято называть «викторианским»: размеренный, самодовольный, с немалым налетом ханжества. Жизнь течет ровно, англичане спокойно и несколько свысока взирают на мир, уверенные в своем могуществе. Рисаль мало пишет об Англии, жалуется только на высокие цены да на скуку, царящую в столице по воскресеньям. Но размеренная жизнь как нельзя лучше способствует систематической научной работе, в которую целиком погружается Рисаль.

Он и жилью себе подбирает под стать занятиям: уютный дом, почтенное семейство Бекет, у которого он снимает две комнаты при почти полном пансионе. Глава семейства — органист в церкви, серьезный богобоязненный человек. У него четыре дочери и два сына.

Он устанавливает связь с изгнанником 1872 года Антонио Рехидором, который в Лондоне играет примерно ту же роль, что Хосе Мария Баса в Гонконге, являясь главой филиппинской эмиграции в Англии. Есть в Лондоне и филиппинская молодежь — ее Рисаль объединяет в клуб и ведет свою обычную работу по воспитанию: разъясняет идею необходимости единения всех филиппинцев, пробуждения их национального сознания, требует — иногда слишком категорично — вести себя достойно. За ним идут, но не все, и не так охотно, как в Испании. Да и Рехидор, опасаясь за свое лидерство, скоро остывает к своему слишком требовательному соотечественнику, а впоследствии даже расходится с ним.

Рисаль общается не только с филиппинцами. Он приехал в Лондон с рекомендательными письмами к Рейнгольду Росту, библиотекарю индийского отдела Форин офис, ученому-санскритологу, знатоку

восточных языков. И это не все — Рост является секретарем королевского азиатского общества, авторитетного собрания востоковедов и одновременно редактором журнала «Трубперз рекорд», посвященного литературе и языкам Востока. Конечно же, рекомендательным письмом его снабдил знающий всех и вся Блюментритт, который и сам написал Росту о предстоящем визите «ученейшего малайца». «Куда бы я ни приехал, — пишет Рисаль своему австрийскому другу, — я везде нахожу доказательства твоей дружбы. Говорю это потому, что только сегодня получил приглашение на чашку чая к доктору Росту. Доктор и госпожа Рост приняли меня необычайно тепло».

Блестяще образованный филиппинец производит на одинокую чету самое благоприятное впечатление и с тех пор каждое воскресенье проводит в их доме. С Ростом Рисаль ведет ученые беседы о малайских языках, об истории и этнографии народов Востока. Рисаль уже много усвоил: это с Рудольфом Вирховом за три года до того он не знал, о чем говорить, и страшно стеснялся, теперь же он значительно расширил свои познания, ему есть что сказать своему высокоученому собеседнику. Несколько экспансивный доктор Рост искренне возмущен: почему член берлинских и дрезденских научных обществ не делится своими весьма ценными соображениями с коллегами? Это недопустимо. Он, как редактор востоковедческого журнала, просто требует, чтобы Рисаль писал и печатал научные труды. И тут же шестидесятишестилетний ученый муж дает Рисалю список работ, которые тот должен проштудировать, и берет с него слово опубликовать в журнале целую серию статей. Рисаль в короткий срок подготавливает статьи по истории, этнографии, языкам и литературе Филиппин. И во всех этих областях он показывает себя глубоким специалистом.

Историческим трудам Рисаля будет суждено во многом устареть. Но они написаны на высшем научном уровне своего времени. Для них характерна страстная и в то же время научно обоснованная борьба против расизма. Суммируя взгляды Рисаля по этому вопросу, Блюментритт напишет через несколько лет: «Европейцы считали себя абсолютными хозяевами земли, а свою расу — единственной носительницей прогресса и культуры, себя — единственными представителями рода *Homo sapiens*, объявляя прочие неполноценными, неспособными воспринимать европейскую культуру и тем самым представителями рода *Homo brutus* — «человек скотский»... Рисаль задался вопросом: справедливы ли эти мнения?» Рисаль убедительно доказывает равенство всех рас и народов.

В ходе своих исследований он *определяет* район исконного расселения

малайцев и под влиянием увлечения этнографией начинает самого себя именовать «филиппинским малайцем». Его труды снискали уважение крупнейших ученых Европы, а среди соотечественников его авторитет становится неоспоримым [\[26\]](#).

Среди книг, рекомендованных Ростом, особое внимание Рисаля привлекает труд Антонио Морги «События на Филиппинах», написанный еще в 1609 году. Морга был высокопоставленным чиновником в недавно обретенной колонии, одно время даже исполнял обязанности генерал-губернатора Филиппин. Его административная деятельность была не совсем удачной, он подвергся серьезным нападкам и в свое оправдание вынужден был писать более правдиво, чем другие испанские хронисты, обычно воспевавшие чудесное насаждение веры на архипелаге. Прошлое Филиппин, отраженное в книге Морги, живо предстает перед Рисалем, жадно ищущим подлинные документы об истории своей родины.

Его потребность в прошлом имеет и личный аспект. «Злокачественная опухоль» вызвала многочисленные упреки, суть которых сводится к тому, что Испания дала Филиппинам все, а Рисаль, вместо того чтобы отблагодарить «мать-Испанию», клеветает на нее. Чтобы снять обвинения в неблагодарности (одно из самых страшных для филиппинца), Рисалю надо показать, что еще до прихода испанцев Филиппины находились в цветущем состоянии, испанцы же лишь смяли естественное развитие страны. Книга Морги, если снабдить ее соответствующими комментариями, вполне могла бы выполнить эту задачу.

Видимо, в эпоху зарождения национального сознания неизбежно возникает потребность установить связь с прошлым. Как утверждал Дж. Неру, «это не жизнь, если мы не сумеем найти живой связи между настоящим и прошлым со всеми его конфликтами и проблемами». Рисаль жадно ищет эту связь. Его обращение к далекой истории имеет и еще одно объяснение, вытекающее из филиппинского восприятия времени. Как свидетельствует эпос и фольклор, движение времени воспринимается традиционно мыслящим филиппинцем как циклическое, возвращающееся к самому себе (отсюда многочисленные образы колеса, которое все возвращает на круги своя), а не как линейное, необратимое. Собственно, такое восприятие времени характерно для многих народов на определенной ступени их развития, до Рисаля оно отчетливо проявилось и в филиппинской литературе. Нет бесконечного движения вперед, нет развития (разумеется, только в личном восприятии), есть бесконечное повторение того, что было, постоянное возвращение к опыту предков, отклонение от которого грозит «распадом связи времен», гибелью всему

существующему. Прошлое, настоящее и будущее не разграничены четко, они как бы слиты воедино в опыте, конкретном переживании конкретного лица. Время не ощущается как объективная форма существования материи, оно, так сказать, личное достояние, и, говоря о событии в прошлом или будущем, филиппинец обязательно помещает себя (или своего родственника) в него как участника.

Во всяком традиционном обществе важнее всего именно опыт прошлого (это ясно со стороны, но внутри такого восприятия времени прошлое не выделяется: в нем живут «сейчас», будут жить и «потом»). Именно этот опыт помогает осмыслять мир, не новое, а старое знание обладает максимальной значимостью (собственно, и единственной: новое знание, если его новизна не очень заметна и не маскируется под старину, встречается настороженно и обычно отторгается). Отсюда ясно, насколько важно было Рисалю доказать, что «раньше было лучше», иначе нечего было и рассчитывать увлечь за собой соотечественников. Да и сам он не чужд такому восприятию времени, как не чужды и многие современные филиппинские мыслители.

Рисаль прямо говорит в предисловии: «Если эта книга пробудит в вас сознание прошлого, стертая из нашей памяти, исправит то, что было извращено и оклеветано, то, значит, я трудился не напрасно». Задача ясна: нужно обрести свое историческое прошлое, которое оправдало бы нынешнюю борьбу за преобразование Филиппин. На этом пути всегда таится опасность, о которой предупреждал Джавахарлал Неру: «В эпоху пробуждения национального самосознания каждой нации и каждому народу, видимо, свойственно позолотить и подправить прошлое, исказить его в свою пользу». Рисалю не удается избежать этой опасности.

Его комментарии носят преимущественно исторический характер. Нельзя не согласиться с ним в протесте против «открытия» островов, против угнетения и грабежа колонии. Но его утверждение, что материальная и духовная культура архипелага достигала необычайно высокого уровня (сопоставимого с уровнем развития Индии или Китая), не может не вызвать возражения. Рисаль пишет даже, что филиппинцы до прихода испанцев «создавали конфедерации — такие же, как государства в Европе в средние века, со своими баронами, графами и герцогами, которые избирали самого храброго, и тот правил ими». На деле же процесс феодализации, равно как и процесс складывания государственности, к моменту появления испанцев только начинался.

Наибольший интерес представляют комментарии Рисаля на религиозные темы. Так, Морга утверждает, что «туземцы в делах религии

сущие варвары, и здесь они отличаются большей слепотой, чем во всем прочем, потому что они язычники и не ведают подлинного бога». Рисаль комментирует это утверждение так: «Что касается подлинного бога, то каждый народ считает, что это его бог, а поскольку до сих пор не обнаружено реактива для выявления подлинного бога и отличения его от ложных, то Морге можно простить его утверждение, ибо разумом он все же превосходил многих своих современников». Нечего и говорить, что правоверный католик никак не мог принять такие комментарии, и неудивительно, что Блюментритт, в целом высоко оценивший труд Рисаля, и на сей раз вынужден заявить, что не разделяет нападки Рисаля на католичество.

Этнографические и исторические штудии перемежались лингвистическими. В эти годы Рисаль обдумывает и осуществляет реформу тагальской орфографии, суть которой излагает в отдельной статье. Еще в 1886 году, посылая брату свой перевод Вильгельма Телля, Рисаль писал: «Я хотел провести небольшую реформу тагальской орфографии, чтобы облегчить ее и сделать более соответствующей древней системе письма наших предков».

Враги обрушиваются на Рисаля за «неуместные новшества». Введение букв *w* и *k* встречает неожиданное сопротивление на том основании, что буквы эти немецкие и что вся реформа есть не что иное, как попытка «известного германофила» Хосе Рисаля германизировать Филиппины. Чем можно ответить на такие вздорные обвинения? Рисаль отвечает: «Это пустое ребячество, если не хуже — отвергать их (буквы. — *И. П.*) потому, что они немецкие по происхождению, и пользоваться этим для подъема патриотизма, будто патриотизм состоит из букв. «Прежде всего мы испанцы», — утверждают ее (реформы. — *И. П.*) противники и при этом полагают, что совершают героический акт... Несомненно, девять из десяти таких патриотов моей страны носят немецкие шляпы, а может быть, и башмаки, Так где же их патриотизм? Разве буква *w* обеднит нас? А разве буква *q* местный продукт? Так слишком легко быть патриотом».

Таковы научные итоги работы под куполом библиотеки Британского музея, где работают лучшие умы человечества того времени. История, этнография, филология, лингвистика — вот области, в которых подвизается Рисаль, и его труды приносят ему славу и пробуждают у европейских ученых интерес к Филиппинам.

Но не только наукой занимается Рисаль в это время. Конечно, сносные условия жизни располагают к спокойным кабинетным занятиям. Интеллектуальные беседы с Ростом способствуют тому же. Но есть еще

злбодневная политическая борьба, на перипетии которой Рисаль не может не откликаться. Он — признанный вождь филиппинцев в эмиграции, таковым же его признают и соотечественники на родине. А вождь не может в такое время стоять в стороне от борьбы, ограничиваться статьями — пусть тонкими и глубокими — о предметах отвлеченных. Движение пропаганды уже дает зримые плоды, настолько весомые, что «филиппинский вопрос» начинает дебатироваться в испанских кортесах, в парламенте. Не откликнуться на дебаты нельзя. Но не хочется бросать и столь любимую ему научную работу. Рисаль читает все испанские газеты, но отзывается на события преимущественно в письмах. В них он дает оценку происходящему.

Поводом для обсуждения филиппинского вопроса в кортесах служит уже упоминавшаяся демонстрация 1 марта 1888 года. Распад некогда огромной Испанской колониальной империи заставляет государственных деятелей Испании чрезвычайно ревниво относиться к вопросу о сохранении колониального господства на далеком архипелаге. Уроки, полученные Испанией в Латинской Америке, не пошли на пользу — тут Рисаль совершенно прав. Как только весть о манифестации доходит до Мадрида, генерал Саламанка, сенатор, произносит в кортесах речь, в которой всех филиппинцев называет «игнорамусами (невеждами), дикарями, неблагодарными тварями», требует драконовских мер против «флибустьеров». И тут же другой сенатор, Вида, устанавливает прямую связь между манифестацией и появлением романа Рисаля, усматривая в последнем открытое подстрекательство к мятежу. Фернандо Вида говорит о «туземце, чье имя известно, докторе медицины, который утверждает, что он близкий друг князя Бисмарка... Книга, называемая «романом» и озаглавленная «Злокачественная опухоль», пущена здесь в обращение... Этот роман является антиклерикальным, социалистическим и прудонистским».

Вот так Испания реагирует на законные и, в сущности, чрезвычайно умеренные требования — ведь речь идет только о злоупотреблениях монахов, к колониальным же властям филиппинцы сами обращаются за помощью. Рисаль видит здесь все то же знамение: «Кого Юпитер хочет погубить, того прежде лишает разума». Обсуждение филиппинского вопроса в сенате, пишет он Блюментритту, явно показывает здесь «Юпитера за работой — во всем сенате, во всех кортесах, практически во всей Испании не находится человека, который поднял бы голос в защиту Филиппин». Тут Рисаль несколько преувеличивает — прогрессивная печать Испании с возмущением пишет о позорных речах в кортесах. Блюментритт

отвечает, что его друг сгущает краски.

Он пытается урезонить Рисаля, туманно пишет о том, что иногда приходится жертвовать интересами народа ради интересов государства (мысль, чрезвычайно импонирующая немецким мыслителям), но Рисаль твердо отвечает: «Это может быть справедливым только в том случае, если страна является неотъемлемой частью государства и если счастье или несчастье целого является счастьем или несчастьем входящей в него части. Но с Филиппинами все обстоит по-другому. Филиппины — не Испания, они только принадлежат Испании. Благо Испании не есть благо Филиппин, напротив, их несчастье. Дело здесь не в интересах государства, а в испанском господстве. Наш суверенитет всего лишь пустое слово. Наше благополучие они хотят принести в жертву испанской спеси... Никто не должен идти в дом соседа и подчинять его благополучие своим личным интересам... Если нация колонизаторов не может сделать счастливыми свои колонии, она должна предоставить им свободу. Мы не звали испанцев. Они пришли и сказали нашим предкам: «Мы пришли сюда, чтобы стать вашими друзьями! Будем помогать друг другу. Признайте нашего короля и платите ему небольшую подать, а мы будем защищать вас от ваших врагов». В те времена речь не шла о том, чтобы отобрать у нас землю. Монахи говорили о небе и обещали нам всевозможные блага».

И. как бы заключая цепь рассуждений, проходящую через всю переписку с Блюментриттом, Рисаль пишет: «Я считаю, что уже поздно — большинство филиппинцев утратило все надежды на испанцев. Теперь наша судьба в руках бога и в наших собственных, но никак не в руках правительства». Те же мысли он развивает и в переписке с соратниками по движению пропаганды. Многие в движении радуют его. «Объединяющий эффект» романа все еще сказывается в полной мере. Правда, появились новые враги. К Киокиапу, Хосе Родригесу, Сальвадору Фонту — заклятым врагам филиппинцев — присоединяется автор, пишущий под псевдонимом Десенганьос, что означает «разочарованный, наученный горьким опытом». Под этим псевдонимом скрывается Венсеслао Ретана, побывавший на Филиппинах и там «разочаровавшийся» — конечно, в филиппинцах, а не в испанском колониальном правлении и не в монахах, за которых он стоит горой^[27].

Ряды противников пополняются, но множатся и ряды участников движения пропаганды. Особое внимание среди них привлекает автор, пишущий под псевдонимом Пларидель. Его статьи против монахов просто блестящи, его памфлет «Монашеский суверенитет над Филиппинами» великолепен. «Кто такой Пларидель? — спрашивает Рисаль в июле 1888

года в письме к родственнику в Мадриде. — Если будешь писать ему, сообщи, что я радуюсь 31 всю нашу страну, за всех наших соотечественников. Его статьи написаны превосходно. Мы все работаем на благо Филиппин, и пусть нашим девизом будет: «Для блага родимы». В день, когда все филиппинцы будут думать, как он и как мы, наша цель будет достигнута, а состоит она в том, чтобы создать филиппинскую нацию».

Пларидель — это Марсело дель Пилар (псевдоним есть анаграмма его фамилии), тот самый, который участвовал еще в основании газеты «Диарионг Тагалог». Именно он переводил первые статьи Рисаля на тагальский язык. Именно он был организатором манифестации 1 марта 1888 года. И вот теперь преследования заставляют его покинуть Филиппины, и он приезжает в Барселону. Он жадно читает все написанное Рисалем, но усматривает в прочитанном только одно: Рисаль тоже ассимиляционист, и не более. Дель Пилар, безусловно, признает авторитет Рисаля, о чем тому сообщают друзья. Рисаль растроган: его дело готовы продолжать новые силы. «Я не бессмертен, — пишет он, — я не заговорен и был бы бесконечно рад, если бы меня затмила плеяда соотечественников». Может быть, он подумывает целиком отдаться научной работе — ведь дело в надежных руках, все идет как нельзя лучше...

Но тут происходят события, которые разом лишают Рисаля благодушия. События эти происходят не в Лондоне, где так приятно заниматься в библиотеке Британского музея, и не в Мадриде, где сплоченные Рисалем филиппинцы выступают за «филиппинское дело». Они происходят на только что оставленных Рисалем Филиппинах, вызваны его деятельностью. Эти события на четыре предстоящих года (до 1891 года включительно) непосредственно затрагивают Рисаля, а потому, несколько забегаая вперед, на них следует остановиться подробнее.

В мае 1888 года, через три месяца после отъезда Рисаля с Филиппин, генерал-губернатор Эмилио Терреро, упрямый солдат, оставляет свой пост. На его место назначают генерал-лейтенанта Валериано Вейлера, тоже профессионального военного и тоже человека твердого характера. Но если Терреро недолголюбивает монахов, то Вейлер, напротив, убежден, что без них колониальное владычество Испании на архипелаге рухнет. В первую же свою поездку по островам генерал-губернатор Вейлер (он же маркиз Тенерифский) берет с собою церковников, и сразу по архипелагу разносится слух: «Вейлер — человек монахов». Дальнейшие события подтверждают эти предположения.

Под восторженные клики монахов Вейлер сразу начинает проводить

на Филиппинах политику «железного кулака». В Маниле все еще лежит составленная Рисалем петиция каламбеньос, причем составлена она по прямому повелению светских властей. Вейлер тут же усматривает в ней открытый бунт и накладывает соответствующую резолюцию. Обрадованные доминиканцы сразу же передают «дело о неуплате аренды» в суд. Суд по очереди вызывает «неплательщиков» и штампует одно и то же решение: арендатор обязан освободить землю. Каламбеньос по совету Пасиано отказываются выполнять решение суда. И единодушие их так велико, что не находится претендентов на земли, объявленные «свободными».

Рисаль тут же откликается на эти события статьей «Правда для всех», в которой обвиняет колониальные власти: они потребовали от арендаторов сведений, результатом этого и была петиция, теперь же власти бросили арендаторов на произвол судьбы, отдали их на расправу монахам. «Власти, — пишет Рисаль, — не говорили ни «да», ни «нет», не выслушали факты и не выяснили их сами, власти боялись бороться за правду и предали бедных людей».

Монахи, добившись своего, начинают проводить в жизнь решение суда первой инстанции. В доме, где Рисаль провел детство, где живут его родители, брат и сестры, появляются судебные исполнители. Предъявив соответствующие бумаги, они приступают к делу: чтобы заставить семейство Меркадо покинуть дом, всю мебель выбрасывают на улицу. Вышвыривают кресла и столы, выбрасывают детскую кроватку, в которой спал Рисаль, огромные зеркала равнодушно отражают действующих лиц трагедии, сваленные прямо на улице узлы... Местный адвокат советует дону Франсиско обратиться с покаянием к управляющему асьендой — тогда все наверняка уладится. Дон Франсиско всегда предпочитал не ссориться с монахами, но теперь дело заходит слишком далеко: пойти сейчас на поклон — значит признать себя виноватым во всем. «Пасть так низко я не могу», — бросает дон Франсиско. В сопровождении жены и старшего сына, бросив все вещи, он скорбно идет по улицам Каламбы в дом дочери Нарсисы. Потрясенные каламбеньос молча смотрят на своего почтенного земляка: дон Франсиско и в унижении не теряет величия.

Пока все остается как есть, но монахи ждут только повода, чтобы нанести очередной удар. Этот второй удар еще подлее: от холеры умирает Мариано Эрбоса, муж сестры Рисаля — Люсии. Монах, исполняющий обязанности приходского священника, тут же отбивает телеграмму в Манилу: «Мариано Эрбоса, зять Рисаля, умер. Со времени женитьбы и до смерти он ни разу не был на исповеди». Ответ: «Телеграмма получена.

Если это так, запрещаем христианское погребение». Несколько дней идут споры, тело не могут предать земле, оно совершенно разложилось в тропической жаре. Церковники упорствуют, и в конце концов Мариано хоронят вне кладбища, за городом.

С точки зрения обычных представлений филиппинцев, это тягчайшее оскорбление покойного и всей его семьи. Рисаль пишет еще одну статью, назвав ее «Профанация»: «Телу все равно где гнить, вся земля создана богом. Но уязвлена справедливость, уязвлена гнусным оскорблением памяти хорошего сына, хорошего отца, хорошего мужа, доброго католика и доброго христианина, чей дом всегда был открыт для больных и несчастных — тех самых, кому служители церкви отказывали в помощи. Его преследователям и во сне не снилась такая христианская забота о ближнем, которую покойный проявлял по своей доброй воле». Для Рисаля события, связанные с погребением зятя, служат еще одним подтверждением его пророческого дара: ведь в «Злокачественной опухоли» тело отца Ибарры вышвырнули с кладбища. Все подтверждает его правоту.

Но не только ее. Все считают, что «невезение», нашедшее на него, распространяется теперь и на его близких. Его надо остерегаться: полоса несчастья берет слишком широко. Он — зачумленный, проклятый. Стоило ему появиться на Филиппинах, как семья подверглась жесточайшим ударам. Так думают не все, но многие. Вот последнее доказательство: дон Франсиско, Пасиано, зятя Рисаля без суда и следствия ссылаются на остров Миндоро, в те годы мало освоенный и дикий.

Как и следовало ожидать, Рисаль реагирует на эти события немедленно: раз он виновник несчастий, он должен разделить их, должен вернуться на Филиппины. «Я не уверен, — пишет он Блюментритту, — куда ехать — в Мадрид или на Филиппины. Брат подал апелляцию в Верховный суд, и мне надо ехать в Испанию, чтобы уладить дело, или вернуться на Филиппины, чтобы разобраться во всем. Уверен, что и на этот раз бог защитит меня, а если нет — что мне терять? Лучше умереть за свой народ, чем жить здесь праздной жизнью. Если я погибну, останешься ты — ты ведь не оставишь филиппинцев... Я хочу снова ступить на родную землю, хотя ступать мне придется по змеям и скорпионам». В это время приходят документы, уполномочивающие Рисаля на ведение дела в Мадриде, и поездка на родину откладывается.

Друзья до движению пропаганды целиком на стороне Рисаля. «Дело Каламбы» вполне может быть использовано для достижения стратегической цели ассимиляционизма. Ведь она состоит в том, чтобы распространить на Филиппинах испанские законы, уравнивать филиппинцев

в правах с испанцами. Сам факт рассмотрения «дела» в Верховном суде может обернуться выигрышем: юридически это означало бы, что на Филиппинах действуют те же законы, раз Верховный суд берется расследовать их нарушение, и его юрисдикция распространяется на далекий архипелаг. Но и Вейлер отлично понимает, что само рассмотрение дела в Верховном суде означает для него поражение. В ноябре 1889 года он лично приезжает в Каламбу и держит там речь, в которой предостерегает: «Каламбенъос не должны поддаваться пустым увещаниям своих неблагодарных сынов».

Под «неблагодарным сыном» подразумевается Рисаль, это ясно всем, и прежде всего ему самому. Он пишет злую сатиру на Вейлера, которую Баса публикует в Гонконге. Памфлет называется «Маркиз де Малинта, милостью божией и милостью сеньоры маркизы лотерейной султан Филиппин и прочая и прочая». Заменяя титул Вейлера «маркиз Tenerifский» (де Тенериф) на «маркиз де Малинта», Рисаль сразу комически снижает образ «грозного воина»: Малинта — это резиденция, где отдыхали генерал-губернаторы Филиппин, предаваясь карточным играм. Маркиз повелевает солдатам «наточить сабли, дабы претворить в жизнь указ об азартных играх», а цензору «не выпускать из рук красный карандаш, спаситель религии и оберегатель высших интересов».

Бейлера сатирой не проймешь, но дело Каламбы он принимает близко к сердцу. Чтобы опередить слушание дела в Верховном суде, он посылает в Каламбу военную команду во главе с полковником Оливе. В 24 часа еще тридцать семей выселены, часть домов сжигается и разрушается. «Дело Каламбы» кончено. Хлопоты в Мадриде бесполезны; у власти консерваторы, министр заморских территорий, реакционер Фабие, отлично понимает тактический ход филиппинцев и категорически отказывается принять меры, ибо «дело» — вне его компетенции, генерал-губернатор не превысил полномочий. Либералы и радикалы пишут сочувственные статьи в испанской прессе, но помочь ничем не могут.

Для Рисаля это тяжелейший удар. Личный опыт, который часто весомее всяких рассуждений и теоретических умствований, приводит Рисаля к мысли о неотвратимости отделения Филиппин от Испании.

Все эти переживания проходят на фоне довольно запутанной личной жизни. Спокойное, размеренное существование грозит осложниться в связи с пребыванием в доме Бекетов. Сам Бекет — почтенный органист, а две его старшие дочери — юные леди, которым пора думать о замужестве. И случается так, что молодой постоялец покоряет сердце старшей дочери, Гертруды (в семье ее зовут Тотти, что значит «коротышка», — деталь

немаловажная, если вспомнить, что сам Рисаль очень переживает из-за своего малого роста). Судя по всему, постоялец тоже небезгрешен и не остается равнодушным к миловидному лицу, голубым глазам и каштановым волосам юной англичанки. Молодые люди вместе посещают театр, балы, совершают экскурсии за город. Викторианский культ «добропорядочности» требует совершения и следующего шага — по понятиям того времени, отношения зашли достаточно далеко. В Англии недопустимо то, что позволительно — и даже желательно — в Японии. О временной связи не может быть и речи. Рисаль — английский джентльмен и испанский кабальеро одновременно, чувство чести у него развито чрезвычайно. Рехидору он сообщает: «Не могу обманывать ее. Я не могу жениться на ней, у меня другие обязательства (Леонор Ривера. — *И. П.*), и не могу поставить страсть выше чистой и девственной любви, которую она предлагает мне». Когда-то в Каламбе Рисаль уклонился от решающего объяснения с Сегундой Катигбак: «Пришпорил лошадь и свернул на другую дорогу». И сейчас он не в силах сказать решительное «да» и 19 марта 1889 года спешно покидает Лондон.

Его цель — Париж. Там его ждут два дела. Первое — публикация комментированного Морги. Собственно, работа была завершена уже в январе, и Антонио Рехидор обещал взять на себя расходы по изданию. Но с Рехидором Рисаль разошелся, хотя и не очень драматически. «Он никогда и не собирался печатать мою рукопись, — жалуется Рисаль друзьям в Испании. — Теперь я займусь этим сам». А сбережения, накопленные на Филиппинах, уже подходят к концу. «Жизнь в Англии дороже, чем в других странах Европы», — пишет он семье. Да и времяпрепровождение с Гертрудой Бекет пробило серьезную брешь в его бюджете. На издание Морги, пожалуй, хватит, а там — вновь грозный призрак нищеты. Издание Морги могло бы стать делом прибыльным, но Рисаль не отличается деловой хваткой, в чем его упрекает австрийский друг Блюментритт: «Ты крайне непрактичен... Я заказал твою книгу, а мне ответили из издательства, что доктор Рисаль уехал, не оставив адреса». Рисаль не позаботился о рекламе, а потому удастся только послать на Филиппины 170 экземпляров, где манильский торговец Родригес Ариес берется распространять его книгу, — да и это устроил все тот же Хосе Мария Баса. Итог всех этих неумелых операций — всего 200 песо, куда меньше, чем расходы на издание книги.

Второе дело касается нового замысла Рисаля. Его работы в области истории, этнографии, лингвистики, фольклора встречают благосклонный прием у европейских ученых, пробуждают в них интерес к далекому

архипелагу. Рисаль решает организационно оформить этот вызванный им интерес, создав «Международную ассоциацию филиппинистов». Во-первых, это должно повысить теоретический уровень работ по филиппиноведению. Во-вторых, Рисаль отлично знает, что правительство Испании очень чувствительно к международным откликам на положение в далекой колонии и особенно болезненно реагирует на критику ученого мира, престиж которого в конце XIX века необычайно высок. Рисаль совершенно верно рассчитывает, что направленные в определенное русло филиппиноведческие штудии могут принести немалую пользу его стране.

Съезд ассоциации Рисаль намерен созвать в Париже, где на август намечено открытие Всемирной выставки. Пост президента он, конечно же, предлагает Блюментритту, вице-президентом должен стать французский ученый Эдмон Планшю, Росту и Рехидору отводятся должности советников, а секретарем будет Хосе Рисаль, «малайский тагал» — так он теперь определяет свою этническую принадлежность.

Рисаль набрасывает устав ассоциации, цель которой — «изучение Филиппин с исторической и научной точек зрения», и определяет примерную тематику работ. Интересно тут предложенная Рисалем периодизация филиппинской истории. Ее он делит на три периода: «I — до испанцев, II — от прихода испанцев до конца автономии и включения в состав испанской нации (1521–1808), III — от включения в состав испанской нации до восстания в Кавите».

Об утрате какой автономии говорит Рисаль и почему 1808 год для него переломный? С точки зрения Рисаля, до 1808 года испанцы находились на Филиппинах не как завоеватели, а как союзники Филиппин. Первые конкистадоры заключали «кровные союзы» с местными вождями, скрепленные древним ритуалом: совместным питьем крови друг друга, смешанной в вине. Это предполагало равенство сторон, филиппинцы якобы на равных вступали в союз с испанцами. В сознании илюстрадос этот древний обряд служил юридическим основанием для утверждения равноправия. Что же произошло в 1808 году? Принятие первой испанской конституции, подписанной в Байонне Жозефом Бонапартом, братом Наполеона. Но текст конституции был составлен самим императором. Согласно этой конституции испанские владения в Америке и Азии получили равные с метрополией права и представительство в кортесах. Конституция, по мнению илюстрадос, покончила с автономией Филиппин. Несправедливость, полагали они, состоит в том, что равные права филиппинцам так и не предоставили. Тем самым Испания нарушила собственные законы, а это привело к росту недовольства, вылившегося в

восстание 1872 года.

Все это интеллектуальное построение отдает наивностью. Началось с того, что «кровные союзы» не имели никакой юридической силы. Не считались с ними и испанцы. Но характерно, что иллюстрадо ощущали потребность в этой юридической фикции. Массы же филиппинцев в подобной казуистике не нуждались: они смотрели на испанцев сначала как на незваных пришельцев, потом — как на эксплуататоров и боролись за свое освобождение, а не за точное выполнение Испанией «кровных союзов» и конституции 1808 года или любой другой.

Создать ассоциацию не удастся. На выставку в Париж съезжается столько народу, что французские власти резко ограничивают число конференций. Собраться частным образом тоже нет возможности, ибо без официального приглашения не могут оторваться от дел Блюментритт, Рост, еще кое-кто. Но идея Рисаля о создании международной ассоциации филиппиноведов не умирает, она и сегодня ждет своего осуществления.

И все же Рисаль принимает в выставке некоторое участие. Вернувшись к ваянию еще во время пребывания на родине, он не бросает этого занятия и в Лондоне. В Британском музее он делает копии бюстов Цезаря и Августа и шлет их в подарок Блюментритту, лепит бюсты Роста, младших Бекетов. Затем приступает к созданию серьезной работы — «Прикованный Прометей» — эта статуя тоже предназначена в подарок Блюментритту. И сразу же после этого две тематически связанные статуи — «Триумф смерти над жизнью» и «Триумф науки над смертью». Два «Триумфа» являются как бы продолжением один другого. Сначала смерть побеждает жизнь: скелет обнимает прекрасную девушку. На сохранившейся фотографии композиция кажется несколько неудавшейся: тело девушки как бы венчает череп (возможно, в других ракурсах статуя производила иное впечатление). У девушки несколько тяжеловатые формы (особенно бедра и бюст), моделью служила явно не филиппинка — у соотечественниц Рисаля формы не столь округлы. Вторая статуя — отрицание идеи, заложенной в первой: наука (в виде обнаженной девушки с факелом, традиционным символом знаний) попирает ногами череп, то есть смерть. И женская фигурка здесь более похожа на филиппинку. Правда, лицо явно не филиппинское, но пропорции фигуры — не слишком длинные (на европейский взгляд, прямо-таки короткие) ноги, линия бедер — явно выдают малайский тин.

О статуе прикованного Прометея тоже трудно судить в плоскостном изображении, фигура представляется слишком распластанной, ей недостает напряженности, а лицу явно не хватает выразительности. Эти три статуи (всего им создано 43 изображения, включая резьбу по дереву), пожалуй,

наиболее наглядно передают мироощущение Рисаля. Прометей — символ служения человечеству, титан, принесший людям огонь, то есть знания. Такова же задача и «современных Прометеев»: освободить людей от мрака невежества, даже жертвуя для этого собой.

Считая себя уже опытным скульптором, Рисаль выставляет свою работу, но не эту основополагающую «триаду», а бюст Феликса Пардо де Таверы, одного из братьев Пардо, врача и тоже скульптора. Сам факт принятия работы Рисаля на выставку говорит о многом — отбор осуществляют французские искусствоведы, знающие толк в искусстве.

На парижскую выставку, памятью о которой осталась Эйфелева башня, съезжаются многие филиппинцы, причем по просьбе (а скорее требованию) Рисаля. Они часто сходятся вместе, преимущественно в студии художника Хуана Луны, и обсуждают «дела филиппинские». Эти встречи увековечены в двух фотографиях: одна в студии Луны, другая — в одном из павильонов выставки. На фотографиях мы видим безукоризненно одетых филиппинских кабальеро, преисполненных собственного достоинства. Но практически результаты встреч не очень велики — эмигранты подтверждают свои прежние принципы и обязуются продолжать борьбу за дело ассимиляционизма. Главная цель для них — разоблачить монахов, уповая на изменения колониальной политики Испании на Филиппинах. В кортесах и в испанской печати филиппинцев обвиняют в подстрекательстве к бунту, доходя до того, что Моргу, уже двести лет покоящегося в гробу, обвиняют — после публикации комментариев Рисаля — в антииспанских настроениях.

Малая результативность парижских встреч объясняется тем, что сам Рисаль уже придерживается более радикальных взглядов. Но, не будучи уверен в поддержке соотечественников, хранит их пока при себе, лишь изредка раскрывая в письмах к самым доверенным лицам. Впрочем, в Париже, как и в Лондоне, он создает из филиппинцев организацию «Индиос бравое» — «Храбрые индейцы». Напомним, что слово «индио» в испанском языке имеет уничижительный оттенок. Рисаль принимает его как самоназвание филиппинцев с явным вызовом: да, мы «индейцы», но мы гордимся этим! Приехавшие в Париж филиппинцы с готовностью принимают новое самоназвание и, уехав в Мадрид, сохраняют его: пишут коллективные письма своему признанному вождю, а он, в свою очередь, шлет им наставления-проповеди, призывает «не забывать благородные обязательства, принятые на себя!». Цель организации — воспитание мужества и достоинства, основные занятия — спорт, прежде всего стрельба и фехтование.

В сентябре в Париж приезжает и Марсело дель Пилар, он же Пларидель. Этот убежденный ассимиляционист, ростом еще меньший, чем Рисаль, носит лихо закрученные усы и не терпит возражений. Признавая авторитет Рисаля, он в то же время дает понять, что у него свои взгляды на ведение кампании пропаганды и что ему не нужны ничьи советы. Не того ожидает Рисаль, но, учитывая роль и влияние дель Пилара среди эмигрантов, он до поры до времени молчит, опасаясь вызвать раскол. Но он уязвлен, и если раньше почти в каждом письме с восторгом отзывался о дель Пиларе, то после личной встречи эти отзывы напрочь исчезают из его переписки.

Длительное отсутствие Рисаля не может не сказаться на эмиграции. Его по-прежнему признают вождем, с ним советуются по всем вопросам, но эмиграция в Испании живет своей жизнью. Руководить борьбой из далекого Лондона, а потом Парижа — дело сложное. Рисаль постепенно приобретает статус скорее «почетного консультанта», нежели практического руководителя. Слишком многие важные события происходят без него. Разумеется, он на них откликается, но складывается впечатление, что не он их направляет — разве что в каком-то абстрактном смысле.

Его публицистические произведения встречают восторженный прием у эмигрантов и у всех филиппинцев. Они дают ответы на самые животрепещущие вопросы. Это не только отклик на злобу дня, но и хорошая литература. Особенно это касается двух памфлетов: «Видение брата Родригеса» и «По телефону». Первый памфлет пишется в защиту «Злокачественной опухоли», и здесь Рисаль поднимается до высот вольтеровской антикатолической сатиры. Брат Родригес написал восемь памфлетов против романа Рисаля и стал продавать их по сентаво за штуку и по пять песо за тысячу. Несостоятельность критики романа Рисаля благочестивым августинцем очевидна, не придает ей большого значения и сам автор романа. В одном из писем он делится такими мыслями: «Теперь о книжонках брага Родригеса. Говоря откровенно, они у меня вызвали хохот... Думаю, впредь нам нужно отвечать на подобные творения, не иначе как предваряя их поучительными и наставительными словами в простой и увлекательной форме, постоянно рекомендуя чтение сочинений монаха Родригеса, дабы публика ознакомилась с его большим талантом». Таков замысел памфлета — «в простой и увлекательной форме» рассказать о проделках брата Родригеса, августинцев и вообще всех монахов.

Памфлет начинается так: «Как-то вечером, развалясь в удобном кресле, довольный самим собой и только что выкушанным ужином, брат Родригес погрузился в приятные размышления о денежках, которые он с

помощью своих книжонок выудил из карманов филиппинцев». Вдруг в комнате неизвестно откуда появляется старичок, оказавшийся самим блаженным Августином, основателем ордена августинцев. «Страшный епископ... обрушил удары на голову монаха, полагая, что это наиболее чувствительное место; однако, как назло, голова брата Родригеса была довольно твердой, и посох сломался». Блаженный Августин сообщает монаху причину своего гнева, на небесах основатели других орденов — святой Франциск, святой Доменик, Игнатий Лойола — издеваются над Августином: «Друг мой, — сказал Франциск, он же Джованни Бернадоне, — если богу будет угодно вернуть меня на землю, чтобы проповедовать, как прежде, скотам и птицам, я буду проповедовать в твоих монастырях». Апостол Петр поступает еще хуже: он пропускает в рай филиппинца с книжонками брата Родригеса, «и что тут поднялось!».

Сам господь призывает Августина, велит ему спуститься на землю и сказать членам его ордена: «Я не хочу, чтобы от моего имени они использовали нищету и невежество своих братьев, не хочу, чтобы от моего имени они сковывали ум и мысль, которые я создал свободными». Августин долго раздумывает, как ему наказать брата Родригеса, и наконец решает: «Я приговариваю тебя на всю жизнь к тому, чтобы ты писал и говорил глупости, чтобы публика смеялась над тобой, — ведь то, что ты говоришь, годится только для этого. А в судный день ты будешь наказан по заслугам». — «Аминь!» — ответил брат Хосе Родригес.

После этого видение исчезло, свет лампы снова стал желтым, легкий аромат рассеялся, и на следующий день брат Родригес писал еще большим усердием еще большие глупости.

— Аминь!»

Та же издевка над монахами, но на сей раз без обращения к священным текстам, сквозит и в памфлете «По телефону», где высмеивается другой хулитель романа Рисалья, Сальвадор Фонт, прозрачно переименованный в Сальвадорсито Тонта (что означает «Сальвадоришка Дурак»). Это тот самый Фонт, который дал официальное заключение о «Злокачественной опухоли», назвав ее «позорным пасквилом, полным грубейших ошибок и клеветы». Рисаль не прощает таких отзывов. Памфлет построен в виде телефонного разговора Тонта, находящегося в Мадриде, со своим манильским начальством, «причем столь совершенным был телефон, что была слышна даже тишина, царившая в трапезных, и по чавканью можно было установить, что самый обжорливый из монахов не ел больше пяти раз в день». Обжорство монахов — вечнозеленая тема для протестантов (вспомним Шарля де Костера) и всех вольнодумцев. Вдоволь

натешившись над монахами, Рисаль в конце памфлета предрекает, что их власть («страдания», как иронически пишет Рисаль) кончится, как только они убедятся, что правительство на стороне их врагов. Здесь — пусть неуверенно — вновь проскальзывает нотка надежды на проведение реформ, нотка, которая все реже звучит в произведениях Рисаля после посещения им родины в 1887–1888 годах.

Памфлеты не предназначаются для эмигрантов: их печатают в Барселоне на листах того же размера и под той же обложкой, что и памфлеты брата Родригеса, потом пересылают в Манилу и там вручают прихожанам под видом писаний благочестивого августинца. Это уже серьезно, и по доносу одного из участников движения пропаганды полиция производит обыск на квартире друга Рисаля Мариано Понсе. Часть тиража конфискована. Испанская реакционная печать немедленно поднимает кампанию против подрывного «филиппинского центра» в Барселоне, который якобы имеет целью оторвать Филиппины от «матери-родины», то есть Испании. Возмущение эмигрантов и протесты либеральной прессы приводят к прекращению дела, но это серьезное предупреждение.

Памфлеты пользуются колоссальным успехом. Но все же они не очень близки к непосредственной жизни эмигрантов, которая течет своим порядком. Как ни велико объединяющее влияние Рисаля, оно не в силах предотвратить раскол эмигрантской интеллигенции на два крыла — умеренное и радикальное. Рисаль всячески старается предупредить раскол, зовет к сплочению, но дело продвигается с трудом. В это время в Испании создается смешанная «Испано-филиппинская ассоциация», во главе которой становится Мигель Морайта, либерал, масон, друг филиппинцев и лично Рисаля. Многие филиппинцы весьма прохладно относятся к ассоциации: они опасаются, что руководство в ней захватят испанцы. Валентин Вентура пишет Рисалю, что им не следует присоединяться к ассоциации, «потому что многие ее члены — кастилас (испанцы. — *И. П.*), начиная с президента, сеньора Морайты, который, хотя и является личностью достойной и честной и уже дал доказательства любви к нашей родине, все же не меньше кастила, чем все прочие, а потому его политика, видимо, будет состоять в том, чтобы удержать Филиппины для Испании как можно дольше». Рисаль, очевидно, разделяет эти опасения, поскольку отказывается от предложенного ему поста члена исполнительного комитета. Однако надо спасти Морайту от «потери лица», что, по филиппинским, да и по испанским понятиям, весьма существенно, и потому Рисаль все же уговаривает соотечественников войти в ассоциацию и принимает. пост почетного члена.

Вскоре радикальные круги эмиграции решают создать новую организацию, и 31 декабря 1888 года на традиционной встрече Нового года создают «Ла Солидаридад» («Единство»), что, вообще-то говоря, звучит вызывающе — она создается всего лишь через месяц после основания «Испано-филиппинской ассоциации» и явно в противовес последней. Президентом «Соли» (так сразу же стали именовать организацию, так ее именуют и сейчас) избирается родственник Рисаля Галикано Апасибле, вице-президентом — темпераментный Грасиано Лопес Хаена, аудитором — Мариано Понсе. Все они близкие друзья Рисаля, все — его поклонники и восторженные последователи. Естественно поэтому, что они избивают Рисаля почетным президентом.

Организация основывает газету, тоже называющуюся «Ла Солидаридад», или «Соли», и главным редактором избирают неумного Лопеса Хаену. Но уже в ноябре 1889 года газета перебирается в Мадрид, ее редактором становится Марсело дель Пилар, он же начинает играть первую скрипку во всей организации, что позднее приведет к разного рода недоразумениям. Дель Пилар становится главным редактором не случайно, он — официальный представитель манильского «Комитета пропаганды», который финансирует издание и ведает рассылкой газеты на Филиппинах.

Пока Рисаль даже не подозревает об этом, он считает, что газета — свободный орган филиппинской эмиграции и может стать слишком свободным. Рисаль явно этого опасается. Ведь иберийская журналистика часто не стесняется в выражениях, экстравагантна, не чужда шокирующих личных нападок. Такой она представляется Рисалю, живущему на севере, где люди более сдержанны: он подозревает, что газета может ограничиться лишь двумя «инструментами анализа»: либо дубиной, либо барабаном (первая — для врагов, второй — для друзей), поэтому с самого начала предостерегает Лопеса Хаену: «Будьте осторожны и не публикуйте преувеличений и ложных сведений, не уподобляйтесь другим газетам, которые для достижения своих целей используют нечестные приемы и недостойный язык. Постарайтесь, чтобы газета была справедливой, честной и правдивой, чтобы ее мнение уважали». Рисаль не без оснований побаивается, что пристрастность к пышной элоквенции, столь присущая «латинской» душе испанцев, не чуждая и филиппинцам (особенно именно Лопесу Хаене), снизит общий уровень газеты, более того — превратит ее в инструмент личной борьбы.

«Соли» — не совсем обычная газета, она почти не помещает репортажей о событиях, ибо она «газета мнений», а не «газета фактов». Ее цель — пропаганда. В редакционной статье первого же номера изложена

программа, очень умеренная, как признает сама газета: «Скромны, очень скромны наши цели. Проста, очень проста наша программа: бороться с реакцией, препятствовать движению вспять, приветствовать и принимать все либеральные идеи и защищать прогресс; короче говоря, прежде всего быть пропагандистом идеалов демократии, способствовать их воцарению у всех народов: здесь (в Испании. — *И. П.*) и за морями».

И это все: ассимиляция по-прежнему представляется иллюстрацией главной целью. Им нужно более достойное место в испанском мире, и не больше. И только Рисаль чуть ли не в одиночку делает следующий шаг. Первый номер «Соли» с цитированной выше статьей выходит 15 февраля 1889 года, и всего неделю спустя, 22 февраля, Рисаль пишет Блюментритту: «Ты хочешь, чтобы испанцы заключили нас в объятия как братьев. Но мы не должны со слезами вымаливать это у них, ибо для нас это унижительно. Если испанцы не хотят быть нашими братьями, мы не хотим их любви. Мы не выпрашиваем братские чувства как милостыню, мы не добиваемся сочувствия, мы его не хотим, мы хотим справедливости. Все наши усилия направлены к тому, чтобы просветить наш народ. Просвещение, просвещение, воспитание народа. Просвещение и воспитание». Перелом в сознании Рисаля, происшедший после посещения Филиппин, выражен здесь необычайно четко. Повторяя как заклинание слова «просвещение» и «воспитание», Рисаль все же идет куда дальше требований других деятелей пропаганды. Равенство не в испанском мире, а с испанским миром — вот чего требует Рисаль, призывая на помощь «справедливость», понимаемую им, как и всеми последователями просветителей, в абстрактно-умозрительном смысле. Такого равенства требует справедливость, значит — разум, значит, оно — веление неодолимого прогресса, остановить который невозможно. И значит, всякий здравомыслящий филиппинец должен бороться именно за такое равенство. Но в том-то и дело, что «здравомыслящие» филиппинцы в Мадриде пока и помыслить не могут о таком равенстве. Тут принципиальная разница исходных позиций, что и повлечет впоследствии отход Рисаля от газеты.

Различия четко обозначены с самого начала, но до разрыва пройдет два долгих года, в течение которых Рисаль необычайно плодотворно сотрудничает в «Ла Солидарidad». В ней опубликованы 26 его новых работ. Самая знаменитая из них — эссе «Филиппины через 100 лет». В названии отражается никогда не покидающая Рисаля вера в собственный пророческий дар. Но, как и всякий пророк, Рисаль вещает не столько о будущем, сколько о настоящем и прошлом. Особенно о прошлом — ведь оно обладает для филиппинцев высшей ценностью. «Чтобы прочитать

будущее какого-либо народа, — пишет Рисаль в самом начале эссе, — надо раскрыть книгу его прошлого». Широкими мазками он набрасывает картину прошлого филиппинцев: оно было величественным, но испанцы смяли, сломали его, насадили новые порядки, что привело к «оскотиниванию» филиппинцев. Здесь он впервые употребляет слово «оскотинивание», «брутализация», которое с этих пор все чаще применяет для обозначения испанской политики на Филиппинах. (Не исключено, что и тут не обошлось без столь любимого им Вольтера, который характеризовал роль церкви этим словом.)

Филиппины не могут остаться колонией на прежних условиях, категорически заявляет Рисаль. Проснувшееся чувство национального единства, уязвленная гордость не могут более мириться с рабским положением. Рисаль впервые в истории филиппинской общественной мысли постулирует тезис о существовании филиппинской нации: «Сегодня существует фактор, которого не было раньше: проснулся национальный дух, общее несчастье, общее унижение объединило жителей островов». Не экономический, не политический, а прежде всего психологический фактор является для Рисаля определяющим и, в сущности, единственным. Честь не позволит филиппинцам оставаться рабами.

Что такое честь в понимании испанца? Некоторые западные ученые (особенно из протестантских стран) считают, что она сродни сумасбродству: отец одобряет зятя, убившего его неверную дочь, жалеет, что сам не убил виновницу, и в то же время искренне оплакивает ее. Для испанца бесчестье равносильно смерти, честь — жизни. Защищать честь, убивая нарушителя, не только допустимо, но и должно. Более того, можно отстаивать честь еще до того, как она поругана (допустимо убить жену до измены и тем предотвратить измену и спасти честь). Казалось бы, такая месть, особенно месть тайная, из-за угла, абсурдна. Создается впечатление, что не испанец обладает честью, а честь испанцем — она служит чем-то вроде рока у древних греков. Честь для испанца той эпохи — не личное достояние, а общественное, и защита поруганной (или только могущей быть поруганной) чести считалась защитой общественного блага, ибо оно полагалось зиждущимся на чести. В литературе о Филиппинах не раз высказывалось мнение, что испанское понимание чести схоже с филиппинским, более того, филиппинцы якобы заимствовали его у испанцев. Это далеко не так. Сходство здесь лишь в степени чувствительности, социальные же условия, породившие эти чувства, диаметрально противоположны, а потому радикально различается и концепция чести. Дня филиппинцев с их ориентацией на родовой

коллектив убийство родственника совершенно немыслимо, никакие оправдания соображениями «чести» в испанском смысле для них недействительны (примечательно, что, заимствуя испанский эпос, народное поэтическое сознание филиппинцев неизменно отвергало легенды, связанные с убийством родственников, которыми так богато испанское народное творчество).

Честь по-филиппински требует защиты своего статуса и всех связанных с данным человеком лиц. «Народы Востока вообще, — пишет Рисаль, — а малайцы в частности — народы чувствительные: им присуща утонченность чувств. Мы видим, что даже сегодня, несмотря на связи с западными народами, идеалы которых отличны от его идеалов, филиппинский малаец может пожертвовать всем — свободой, удобствами, благосостоянием, репутацией во имя какого-либо стремления или суетной идеи, будь то идея религиозная, научная или какая-то другая. Но достаточно незначительного слова, задевающего его самолюбие, и он забудет все свои жертвы, весь затраченный труд и навсегда запомнит и уже не забудет оскорбления, которое, как он полагает, было ему нанесено». Без этой цитаты ныне не обходится ни одна работа о национальном характере филиппинцев.

Итак, уязвленная гордость — первое, что не позволит филиппинцам смириться с гнетом. Второй фактор — наличие «многочисленной образованной группы (то есть иллюстрадос), являющейся мозгом страны, а через несколько лет она станет ее нервной системой и заявит о своем существовании во всех областях жизни». Далее: «Просвещение распространяется, а преследования, которым оно подвергается, лишь подхлестывают его». Следовательно, оскотинивание, брутализация больше невозможны. Невозможно и физически уничтожить филиппинцев. Отсюда вывод: «Филиппины, таким образом, либо останутся под испанским господством, но при условии получения больших прав и свобод, либо провозгласят независимость, обагрив себя кровью, но и пролив кровь испанцев». Причем второе ему кажется более вероятным: он возвращается к требованию свободы печати, представительства в кортесах, но тут же оговаривается, что не уверен в успехе, — это просто шанс, которым надо воспользоваться.

Наконец, Рисаль рисует картину будущего независимых Филиппин. Он поочередно перебирает колониальные державы и доказывает, что наличие противоречий между ними не позволит ни одной из них захватить Филиппины. Но тут же делает оговорку, до сих пор приводящую в восторг всех поклонников его пророческого дара: «Разве что великая американская

республика с ее интересами на Тихом океане, не участвующая в разграблении Африки, задумается когда-нибудь о приобретении заморских владений. Такая возможность не исключена, ибо пример других заразителен, а зависть и честолюбие — пороки сильных мира сего». В 1896 году филиппинцы восстанут против испанцев, а в 1898 году США захватят архипелаг.

Эссе заканчивается горькими словами: «Испания, что же сказать Филиппинам, — что ты не имеешь ушей, чтобы выслушать их стороны, и что, если они хотят спастись, пусть спасаются сами?» В эссе чувствуется душевная боль, можно сказать, усталость и некоторая безнадежность.

Второе эссе, «О праздности филиппинцев», начинается печатанием через пять месяцев после первого. Тон его резче и энергичнее — как всегда, в работах Рисаля, посвященных отпору клеветникам на его народ. Собственно, мысли, высказанные во втором эссе, высказывались им и раньше. Новое здесь — рассуждение Рисаля о труде. Разговоры о лени филиппинцев лишены всяких оснований. Но проблема отношения к труду существует. На Филиппинах, как и во многих других странах Востока, труд воспринимается как проклятие. В нем нет достоинства, ибо не он, а неотвратимые высшие силы обеспечивают человеку почетное место в обществе. Благоволение же высших сил приходит (или не приходит) само собой, никакой труд его не принесет. Счастье — дар, а не результат собственных усилий. Нет понимания того, что труд — основа жизни, что только труд обеспечивает существование. Важно понять, что дело тут не в неприятии труда вообще, а в неприятии отчужденного характера труда. Так относился филиппинский крестьянин к труду на помещичьей или монашеской асьенде, так, бывает, он относится к труду на современном промышленном производстве, где отчужденность труда возрастает еще более. И труд этот каторжный — кто видел филиппинского крестьянина, бредущего по колено в грязи за своим буйволом-карабао, у того язык не повернется обвинить его в лени (американский фермер, которому для вспашки своего поля нужно не два-три дня, как филиппинскому крестьянину, а два-три часа, и проводит он их в кабине трактора с кондиционером, слушая стереофонические записи, выглядит по сравнению с филиппинским крестьянином просто сибаритом). Раз труд отчужден, раз труд проклятие — зачем качественно улучшать его? И пока еще никто не убедил филиппинского крестьянина в обратном. Итак, причины негативного отношения к труду — социальные по своей природе.

В «Соли» же Рисаль — при полной поддержке редакции — выступает в защиту каламбеньос, ведет энергичную полемику против врагов

филиппинцев. Один из самых постоянных его врагов — академик Баррантес, задетый им еще в романе «Злокачественная опухоль». Теперь Баррантес публикует серию снисходительных статей о тагальском театре, выдавая себя за знатока филиппинского искусства. Рисаль отвечает ему: «Я очень рад отметить, что ваше превосходительство столь высокого мнения о себе и столь низкого о нас, неспособных и чрезвычайно глупых тагалах, ибо самодовольство есть признак чистой совести, а презрение к другим — признак превосходства, и я искренне радуюсь, обнаружив и то и другое в вашей величественной и интеллектуальной личности».

Нападкам подвергаются не только испанцы. Как бы подтверждая собственные рассуждения о повышенной чувствительности филиппинцев, Рисаль обостренно реагирует на всякую критику в свой адрес (надо сказать, что европейцам, например Блюмметритту, он позволяет гораздо большее и охотно выслушивает их критические замечания). К соотечественникам он нетерпим. И когда известный филиппинский историк Исабело де лос Рейес, несомненно, находящийся по одну сторону баррикад с Рисалем, упрекает его в пристрастии к возвеличиванию прошлого Филиппин, Рисаль отвечает: «Огромная разница между доном де лос Рейесом и моей жалкой личностью, или, лучше сказать, между илоканским историком и Моргой». Такой издевательский тон временами затемняет суть дела, отвлекает от насущных задач борьбы и вызывает малопродуктивные препирательства, обвинения и контробвинения. Столь же резки отзывы Рисаля не только о личностях, но и об органах печати.

Вступив в полемику с газетой «Ла Патриа», упрекнувшей Рисаля в том, что он допустил ошибку в латинской цитате, он резонно замечает, что спорить надо не о грамматике, а о социальных условиях на Филиппинах. Тем не менее весь его ответ вращается вокруг этого упрека, а начинается он его так: «Скверный прием, сеньора «Ла Патриа», она же Круглая Дура, с вашего позволения».

В этих статьях Рисаль активно выступает против монахов и колониальных властей, говорит, что «Испания не может и не должна прикрывать своим прекрасным флагом разные жульничества за морем в ущерб своим сынам». И тем не менее, уже пережив «дело Каламбы», уже десятки раз высказав убеждение, что ждать от Испании нечего, он снова возвращается (хотя все реже и реже) к мысли о том, что не все потеряно, говорит о привязанности и любви филиппинцев к «матери-Испании», закликает испанцев «опомниться». Но к концу работы в «Соли» призывы к испанцам сменяются прямыми призывами к филиппинцам, призывами столь страстными, что в них чувствуется готовность автора самому лечь на

плаху за свои убеждения. «Бог создал человека свободным, — пишет Рисаль (парафраз известной мысли Руссо), — и обещал победу тому, кто дерзает, кто борется, кто справедлив. Бог обещал человеку искупление после жертвы. Так пусть же человек выполнит свой долг, и тогда бог выполнит свой!» Несмотря на религиозную оболочку такого рода высказываний, суть их очевидна: призыв к дерзанию, к борьбе, к отделению. Это уже совсем далеко от идей ассимиляции, ради пропаганды которых и была создана «Ла Солидарвад».

Рисаль первым в истории филиппинской общественной мысли постулирует тезис о существовании отдельной филиппинской нации. Сегодня эта мысль кажется простой и самоочевидной, но ее четкое формулирование — огромная заслуга Рисаля. До него филиппинцы не осознавали себя отдельной от испанцев нацией. Не было своей великой культурной традиции (подобной индийской или китайской), не было своей государственности, не было своей религии — все это принесли колонизаторы. Что же удивительного в том, что многие образованные филиппинцы (илюстрадос) борются за лучшее место в испанском мире и только Рисаль первым возвещает «городу и миру», что есть самостоятельная филиппинская нация.

Правда, Рисаль явно преувеличивает роль психологического фактора. Он считает, что гнет властей порождает общие страдания, страдания — единство. Для Рисаля нация — это прежде всего общность людей, объединенных самосознанием. На главный вопрос: какие материальные условия порождают самосознание? — Рисаль не дает ответа. Моральный фактор, произвол испанцев, порождает уязвленное сознание, и это для него главное. Разумеется, его никак нельзя упрекнуть в том, что он «не поднялся» до материалистического понимания процесса складывания папин. Как писал В. И. Ленин, «исторические заслуги судятся не по тому, чего *не дали* исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они *дали нового* сравнительно со своими предшественниками»^[28].

Дает же Рисаль очень и очень многое. В национальном вопросе он уходит гораздо дальше, чем его предшественники, даже дальше, чем многие современные филиппинские мыслители. Их мысль идет по схеме: до испанцев не было единства филиппинцев, к моменту их изгнания оно уже налицо, значит, они его и создали. Не отрицая большого влияния Испании на Филиппины, следует со всей определенностью сказать: филиппинская нация не есть порождение испанцев, она порождение борьбы против колонизаторов, здесь Рисаль совершенно прав. Говоря

словами Достоевского, тут существенно, кто «заявил волю» — испанцы или филиппинцы, и вопрос этот не праздный, для филиппинцев он имеет глубочайшее значение. Ответ Рисаля гласит: «Не воля колонизаторов, а сопротивление ей, т. е. воля самих филиппинцев». Мысли Рисаля по национальному вопросу все еще играют огромную роль в идеологической борьбе на современных Филиппинах.

Справедливости ради нужно отметить, что Рисаль не всегда последователен. То он пишет: «Я считаю, что уже поздно — большинство филиппинцев утратило все надежды на испанцев. Теперь наша судьба в руках бога и в наших собственных, но никак не в руках правительства». А два года спустя сообщает тому же адресату: «Я внимательно слежу за событиями в нашей стране, Я полагаю, что только разум спасет нас — и в физическом и в духовном смысле. Я все еще настаиваю на этом. Парламентское представительство будет благом для Филиппин. Если бы наши соотечественники были не тем, что они есть, мы должны были бы отвергнуть всякое предложение такого представительства, но поскольку они такие, какие они есть, поскольку они индифферентны, представительство — вещь неплохая. Лучше быть связанным у лодыжек, чем локоть к локтю. Что мы можем поделать!» Здесь нет убеждения в том, что «наша судьба в наших собственных руках», налицо уступка идеям ассимиляции. В жизни Рисаля немало таких компромиссов, можно говорить лишь о постепенном изменении его взглядов, причем в его идейной эволюции такие изменения затягивались на годы. Движения вспять — в смысле отказа от новых взглядов — мы почти не прослеживаем, но не прослеживаем и резкого отказа от прежних убеждений, что иногда производит впечатление непоследовательности, одновременного сосуществования взаимоисключающих установок.

Рисаль не до конца понимает процесс складывания нации. Этот процесс, безусловно, является объективным, он обусловлен социально-экономическим развитием, переходом к капиталистическому способу производства. Когда этот объективный процесс достигает какого-то порога (видимо, неодинакового для разных наций), появляется субъективный фактор — национальное самосознание. Этот субъективный фактор не находится в ряду объективных признаков нации, он произведен от них, но имеет определенную самостоятельность. Надо сказать, что термин «самосознание» несколько затушевывает подлинную картину: складывается впечатление, что нация «сознает», «познает» себя. На самом же деле она — как целое — познает мир и свое место в нем, входит в семью народов; подлинно национальное всегда тесно связано с

интернациональным, и не случайно, что на Филиппинах (как и во многих других странах Востока) выразителем национального самосознания становится человек «мировой культуры» — Хосе Рисаль. Познавая мир, он познает Филиппины и их место в мире. Рисаль первым выражает подготовленное всем ходом исторического развития национальное единство всех жителей Филиппинского архипелага, и филиппинцы признают эту его заслугу. Он «отец филиппинской нации», «первый филиппинец» — такие определения закрепляются за ним в общественной мысли страны. Отчетливо осознавая свою миссию выразителя национального самосознания, Рисаль обретает уверенность в себе, изменяется и тон его произведений, он почти вещает: «Дорогие соотечественники! Отнюдь не пародируя священные слова Христа, я скажу вам их, потому что так я думаю и чувствую: где соберутся двое, трое филиппинцев во имя родины и ее блага, там и я среди них».

Но шаг вперед он делает фактически в одиночку, его почти никто не поддерживает, слишком многие недовольны им. Мы уже говорили о вере Рисаля в свой пророческий дар, проявившийся еще в одиннадцатилетнем возрасте. Разумеется, он не экстатический провозвестник будущего, подобный библейским пророкам, устами которых «говорил бог». Но такой неременный атрибут библейского пророчества, как обличение собственного народа «за грехи», есть и у Рисаля. Страстно борясь за национальное единство филиппинцев, он столь же страстно обличает их за недостаток этого самого единства, за склонность к раздорам по мелким поводам и особенно за тщеславие. «Больше всего, — пишет он, — меня огорчает то, что мои соотечественники... вступают в политические группировки вопреки убеждениям, ищут славы и денег, не боясь выглядеть смешными, не понимая, что такая слава — огонь горящей бумаги, от которой останется только копоть и пепел».

Обвинения нарастают: «Национальный вопрос только-только начинает заявлять о себе, до этого были лишь семейные и племенные чувства и почти не было ощущения страны, и самые идиотские меры не вызывали протеста общественного мнения, разве что когда задевали родственников. Что касается страны в целом, то каждый филиппинец думает так: пусть она сама улаживает свои дела, сама себя защищает, протестует, борется, а я и пальцем не пошевелю, это не для меня, с меня хватит своих забот, страстей и капризов... Они верят, что высказать сожаление, сложить руки и позволить вещам идти своим ходом — это все, что от них требуется». В своих осуждениях Рисаль доходит до утверждений, что «житель Филиппин — это всего лишь отдельная личность, а не представитель нации» и даже

«где собрались два филиппинца, там никакое единство невозможно».

Подобным высказываниям Рисаля нет числа. В них, безусловно, подмечены какие-то объективные свойства национального характера филиппинцев, но все же их следует отнести на счет ригоризма Рисаля, за который он еще в 1882 году был прозван «папой», и на счет его нетерпимости ко всякого рода неорганизованности. Он сам всем своим творчеством доказывает, что национальное единство филиппинцев существует, и обнаруживается оно, в частности, в самом факте появления его работ (они были национальными в подлинном смысле этого слова) и в единодушном принятии филиппинцами его произведений.

По отношению к соотечественникам он выступает как пророк и обличитель. Но пророку трудно рассчитывать на обретение многочисленных приверженцев, его удел — мученичество. Другое дело — сами пророчества, им суждено войти в идейный арсенал будущих поколений, стать святыней. Святыней — но только после гибели — становится и жизнь пророка: она превращается в «житие» с многочисленными домыслами и дополнениями и в то же время — лакунами, если дело касается вещей обыденных. Поэтому так трудно писать биографию Рисаля: все, что свидетельствует о его привязанности к земному, предается забвению (сознательному и бессознательному). Но Рисаль отделен от нас всего одним столетием, поэтому его «земная жизнь» все же поддается исследованию.

Его личная жизнь в этот период течет необычайно бурно, она богата надеждами и разочарованиями. Рисаль много общается с приехавшими в Париж филиппинцами — даже кормит пятерых из них целую неделю, что при его ограниченных средствах весьма обременительно («Ни к чему это», — отмечает он в дневнике). В пятерку входит брат художника Антонио Луна, и вместе с Рисалем они знакомятся с семейством Эдуардо Бустеда. Отец главы семейства носил английское имя Эдвард и был преуспевающим дельцом с главной конторой в Сингапуре и с отделением фирмы в Маниле. От филиппинки у него родился сын, получивший уже испанизированное имя — Эдуардо. Старший Бустед в 1851 году вернулся в Лондон, передав дело младшему.

После смерти отца Эдуардо явился к родственникам в Лондон и предъявил права на наследство. Но он — бастард, незаконнорожденный, что в викторианской Англии означало величайший скандал. Почтенное семейство английских Бустедов не подозревало о его существовании, и, чтобы замять дело, ему предложили крупную сумму отступного при условии, что он никогда не объявится на британской земле. История вполне

в духе того времени. Эдуардо согласился и поселился в Париже, купив также и виллу в Биаррице. Он женился на филиппинке из хорошей манильской семьи, и к моменту появления на горизонте Рисаля и Луны у него были две хорошенькие взрослые дочери — Нелли и Аделина. Как и следовало ожидать, повторяется история с Консуэло Ортига-и-Рей: два пылких филиппинца претендуют на благосклонность Нелли, только теперь соперником Рисаля выступает не Эдуардо де Лете, а его верный соратник Антонио Луна, брат художника. Нелли на три четверти филиппинка, чего, однако, не скажешь по фотографии; видимо, английская кровь взяла в ней верх. За ней богатое приданое, но оба кабальеро как огня боятся даже упоминаний о ее богатстве — не дай бог кто-нибудь подумает, что их интересуют ее деньги, а не она сама. Может быть, именно поэтому оба ведут себя как-то неопределенно, словно уступая друг другу. Правда, Рисаль чаще бывает с Нелли: она сопровождает его на уроки фехтования, они вместе посещают Версаль, устраивают пикники в Булонском лесу, поднимаются на только что возведенную Эйфелеву башню. Иногда их сопровождает сестра Нелли Аделина, иногда — Антонио Луна.

Ситуация запутывается. Осенью Антонио возвращается в Мадрид, и только тогда соперники начинают выяснять отношения — в письмах. В конце концов Луна шлет «тысячи извинений» родителям Нелли, просит соперника передать ей, что он искренне любил ее, и добавляет: «Сделай одну вещь для меня, друга и соотечественника. Спроси ее: она меня любит?.. Напиши откровенно, в сущности, не имеет значения, каков будет ответ, но мне надо знать: не сделался ли я смешным в глазах друзей?» Рисаль попадает в двусмысленное положение, ведь получается, что он оттеснил соперника, и выходит он из него в обычном для него стиле: он просто уезжает, чтобы никто не заподозрил его в неблагодарности по отношению к другу. Достоинство обоих — Луны и Рисаля — спасено, но каково Нелли Бустед, которую ради спасения чести покидают оба поклонника?

Луна, человек темпераментный, ищет выхода для своей ярости. Он пишет в «Ла Солидаридад» под псевдонимом Тагайлог. Испанский журналист Сельсо Мир Деас — бывший офицер, служивший на Филиппинах, решив, что под этим псевдонимом укрывается художник Хуан Луна, обрушивается на него и заодно на всех филиппинцев, называя их «жалким, ничтожным народишком». Антонио Луна рассвирепел окончательно — и из-за брата, и из-за нападок на филиппинцев, и из-за неудачного романа с Нелли. Бросив все, он едет в Барселону, где подвизается Мир Деас, в кафе отыскивает ненавистного журналиста и,

вежливо осведомившись о его имени, которое он тут же переименовывает по созвучию во французское «мерде» («навоз»), плюет ему в лицо, швыряет на стол визитную карточку, присовокупляя: «Жду секундантов сегодня же в любое время». Итог — вызов на дуэль.

Но все знают, что Антонио Луна — великолепный фехтовальщик, мастерски владеет пистолетами (школа Рисаля!), а Сельсо Мир Деас хотя и офицер, но бывший. Мадридские и барселонские журналисты созывают «суд чести» для выяснения вопроса о том, кто кого оскорбил первым. Суд, отказавшись вынести порицание кому бы то ни было, заявляет, обращаясь к Луне: «Установлено, что вы взяли инициативу в свои руки и предприняли действия, которые подобают кабальеро, чья честь поставлена под угрозу». Мир Деас не решается оспаривать мнение суда, но ему вовсе не хочется подставлять лоб под филиппинскую пулю. Он предпринимает другой шаг — доносит полиции на Мариано Понсе, за доносом следует упоминавшийся выше обыск.

Мнение о «драчливости» филиппинцев укрепляется. Излагая Рисалю, своему другу-сопернику, суть дела, Антонио Луна пишет: «А вообще нам везет: Гомес получил письменные извинения от графа Азмира. Считают, что Гомес попадает в муху. Капитан Урбина тоже послал Гарсии всяческие извинения после того, как тот отхлестал его. Словом, нельзя желать лучшего. Жаль только, что больше болтовни, чем дела». Из письма следует, что «храбрые индейцы» никому не дают спуска и вызовы на дуэль — вещь привычная. Причем слава филиппинцев как бойцов столь велика, что вызовы обычно заканчиваются принесением извинений, что несколько разочаровывает воинственного Луну. Семена, брошенные Рисалем за пять лет до того, дают всходы: филиппинцы высоко держат свое достоинство, может быть, даже излишне пекутся о нем, и нередко из-за пустяков следует вызов на дуэль. Но и это — свидетельство перелома: в годы учебы Рисаля в Мадриде филиппинцы и не мечтали говорить с испанцами на равных. Теперь говорят даже свысока...

Сам Рисаль едет в Брюссель, ибо в «Париже слишком шумно»: стали натянутыми отношения с Хуаном Луной (хотя художник сделал младшему брату строгий выговор за размолвку с Рисалем). Неясными остаются отношения с Бустедами: Нелли разочарована, ее родители ничего не понимают. От решительного объяснения Рисаль опять — уже в который раз! — уклоняется и просто покидает место действия. Он надеется в тиши завершить работу над вторым романом.

В Брюсселе, однако, Рисаль попадает в ту же ситуацию, что и в Лондоне. Он снимает две комнаты у семейства Якоби, где тоже две

взрослые дочери — Мари и Сюзанна. Эта последняя («пти Сюзанн» — «маленькая Сюзанна», как она именует себя в письмах к Рисалю) занимает почетное место в любвеобильном сердце Рисаля. Друзья подтрунивают над ним: Марсело дель Пилар пишет ему, что Лондон он покинул по известной причине, из Парижа уехал по той же причине, и в Брюсселе наверняка найдется та же причина. Сюзанна, несомненно, равнодушна к Рисалю, о чем свидетельствуют ее письма: «Пиши чаще. Я стаптываю туфли, бегая по нескольку раз в день к почтовому ящику... В мире не будет другого дома, где тебя бы любили больше, чем в Брюсселе, поэтому, милый шалун, возвращайся скорее!»

Но Рисаль не возвращается — он покидает дом Якоби столь же поспешно, как и дом Бекетов в Лондоне, и по той же причине. Предлог — ему необходимо быть в Мадриде для хлопот по делу Каламбы. Собственно, это, конечно, не предлог, потому что судьба родственников заботит его чрезвычайно, тем не менее все складывается кстати: нечего — смущать девушку несбыточными надеждами. Ведь его ждет — уже больше десяти лет! — Леонор Ривера. Во время пребывания на родине они не встретились, но она по-прежнему верна ему, и он верен ей по-своему.

По прибытии в Мадрид Рисаль, которого беспокоит излишняя задиристость филиппинцев, сам начинает с вызова. Он приезжает хлопотать по делу Каламбы, просматривает испанские газеты и в одной из них, «Ла Эпока», читает такие строки: «Не успел сеньор Хосе Рисаль приехать в Каламбу из Европы, как арендаторы отказались платить ренту — и прежде всего друзья и родственники Рисаля». Статья подписана «Десенганьос» — псевдоним Венсеслао Реганы. В этих строках, собственно, нет ничего нового: со времени возвращения Рисаля с Филиппин прошло уже два года, и в течение этого времени газеты не раз писали о его «подрывной деятельности». Но тут, по мнению Рисаля, затрагивается честь его семьи. Ретана дает живое описание последовавших событий: «Через двадцать четыре часа после появления этих строк в газете ко мне уже стучались секунданты Рисаля... Вызов удивил меня — ведь я не сообщил ничего нового. Один из секундантов счел нужным объяснить все откровенно и сказал: «Сеньор Рисаль не обращает внимания на нападки в свой адрес, но он не потерпит нападков в адрес своих родственников». Ретана без труда доказывает, что не он первый так отзывается о семье Рисаля. Вызов отменяется, и Ретана замечает: «Преданность Рисаля не знает пределов».

И это не единственный вызов. По случаю приезда своего вождя филиппинские эмигранты устраивают прием. Под влиянием винных паров

Антонио Луна бросает не совсем почтительные слова о Нелли Бустед. Рисаль немедленно вызывает соратника — затронута честь женщины! Тут же оба находят секундантов, назначается время и место дуэли. Наутро проспавшийся Луна берет назад свои слова, и конфликт улаживается. Хуан Луна снова делает суровый выговор младшему брату и советует филиппинцам впредь выполнять просьбу самого Антонио — связывать его всякий раз, когда тот хватит лишнего.

Рисаль начинает хлопоты по делу Каламбы, но ему сразу же становится ясно, что оно проиграно, — как раз в это время стало известно, что Каламба сожжена. Это тяжелый удар для Рисаля. Но беда не приходит одна. Эта существующая на многих языках (в том числе и на тагальском) пословица оправдывается применительно к Рисалю самым печальным образом. На этот раз речь идет о Леонор Ривере.

Личная жизнь Рисаля отличается достаточным разнообразием. Но выносить оценки относительно его верности Леонор можно только на основании норм той культуры, к которой принадлежит сам Рисаль. Женщины занимают в его жизни немалое место. Уже после отъезда с Филиппин у него были серьезные увлечения, не говоря уже о временном браке в Японии. Однако с точки зрения филиппинских норм нравственности все это вполне допустимо, даже, пожалуй, необходимо для нормального мужчины. Никому из окружающих, да и ему самому и в голову не приходит, что эти увлечения наносят ущерб его отношениям с Леонор. Только когда дело доходит до «угрозы брака» (а это, напомним, случилось трижды: в Лондоне, в Брюсселе и в Париже), встает вопрос о верности Леонор, и Рисаль всегда решает его в ее пользу.

Но странно — со времени отъезда из Манилы он не получил от нее ни одного письма, хотя пишет ей регулярно, жалуется на молчание, умоляет черкнуть хоть слово. И вот ответ приходит — но какой ответ!

...Как-то раз вскоре после приезда в Мадрид Рисаль принимает у себя Галикано Ацасибле, друга детства, бывшего «мушкетера», неизменно хранящего верность своему «капитану де Тревилю». «Капитан» излагает план дальнейшей кампании борьбы, говорит о том, что существует единая филиппинская нация, а раз так, не пора ли отказаться от политики ассимиляционизма? Не пора ли задуматься над обретением полной независимости от испанцев? Что дадут представительство в кортесах, распространение на Филиппинах испанских законов? Ничего. Хуже того, это утяжелит цепи зависимости. Галикано все это внове, и он слушает своего «капитана», стараясь не пропустить ни слова. Открываются новые горизонты, ставятся новые задачи, будущее Филиппин предстает совсем в

ином свете...

Монолог Пепе прерывает стук в дверь. «Письмо сеньору Рисалю», — возмущает хозяйка пансионата. Досадливо поморщившись, Пепе отворяет дверь, берет письмо и хочет положить его на стол, не читая, чтобы не прерывать беседу. Но это письмо из Манилы, и написано оно рукой Леонор — первая весточка за два года. Забыв о присутствии гостя, Пепе тут же вскрывает письмо и жадно читает. Сначала он ничего не понимает, перечитывает письмо еще раз, и, когда смысл прочитанного доходит до него, его буквально парализует. Галикано усаживает друга на диван, дает воды. Дорогого Пепе, стойкого и мужественного «капитана», душат рыдания. «Он плакал как ребенок», — вспоминает Галикано годы спустя.

...Леонор пишет, что выходит замуж. Это необходимо, этого требуют родители, прежде всего мать. Будущий муж Леонор — англичанин, инженер Генри Киппинг. Он строит железную дорогу из Манилы на север, а в Дагупапе, родном городе Леонор, его контора. Он стал желанным гостем в доме Ривера и особенно приглянулся матери Леонор, Елизавете Ривере. Сахи Киппинг — достойное порождение викторианской Англии, джентльмен до кончика пальцев. Леонор по настоянию матери согласилась стать его женой, по честно рассказала жениху, что помолвлена с Рисалем. Для британского джентльмена это не препятствие — он с уважением относится к прошлым чувствам своей будущей супруги, но требует, чтобы всякие отношения были прерваны отныне и навсегда. Елизавета Ривера разрешает дочери написать письмо бывшему суженому, но, разумеется, это письмо должно быть единственным и последним.

В конце письма Леонор объясняет, что произошло. Оказывается, она тоже уже два года не получает писем от дорогого Пепе. И вот однажды, когда мать уехала в Манилу, она перехватывает почтальона, и тот вручает ей письмо от Рисаля, в котором он горько жалуется на молчание Леонор — а ведь она пишет ему регулярно! Это происходит уже после того, как Леонор дала слово Генри Киппингу. По возвращении матери Леонор робко просит объяснений. Без тени смущения Елизавета Ривера говорит, что задерживала всю их переписку — и письма Леонор к Пепе, и письма Пепе к Леонор, — и тут же достает пухлую связку.

Не следует думать, будто мать, или дочь, или даже сам Рисаль видят в этом поступке что-то предосудительное. Елизавета Ривера поступает так, как и должна поступить любящая филиппинская мать. Она обязана думать о счастье дочери, а какое может быть счастье с изгнанником, флибустьером, которого так клянут монахи? Ведь Пепе в свой приезд перессорился со всеми, ему грозит тюрьма, ссылка, может быть, казнь. И все несчастья

падут на голову жены флибустьера. Какая мать не уберезет дочь от такого мрачного будущего? Это понятно всем. Елизавета Ривера вовсе не оправдывается перед дочерью, она просто объясняет. И объяснения эти не могут не быть приняты. Но теперь Леонор знает, что Пепе остается верным ей.

Однако слово дано, и надо следовать своей судьбе. Леонор просит только, чтобы на свадьбе ее мать была также и посаженной матерью, чтобы ее никогда больше не заставляли петь (а поет она весьма недурно) и чтобы ее пианино, пока она жива, стояло на замке. Почти мелодрама, но вполне в духе времени. Для филиппинцев Леонор остается образцом поведения: волю матери она воспринимает как волю бога (именно поэтому Елизавета Ривера — посаженная мать на свадьбе), она остается верна возлюбленному (и потому не может больше петь) и своему слову (и потому выходит замуж за Киплинга). Леонор становится верной женой английского инженера, по ей суждена короткая жизнь. Два года спустя она умирает — и не от какой-либо болезни, а просто угасает. Все, кто ее знает, говорят, что если когда-либо на земле женщина умирала от несчастной любви, то эта женщина — Леонор Ривера.

Своим горем Рисаль спешит поделиться с Блюментриттом, причем в письме он отнюдь не осуждает Леонор — скорее себя: «Когда моя возлюбленная оставила меня, я понял, что она права, но сердце мое кровоточит... Она собирается выйти замуж за англичанина — он инженер на железной дороге, и первый удар по костылю будет ударом по мне; и все же так лучше, нежели прежняя неопределенность. Когда я получил это известие, я думал, что сойду с ума, но теперь это прошло, я должен улыбаться — слезы не помогут. О, не удивляйся, что филиппинка предпочла имя Киппинг имени Рисаль, нет, не удивляйся: англичанин — свободный человек, я — нет».

Всегда честный и преданный Блюментритт на сей раз не до конца понимает все тонкости сердечных дел своего филиппинского друга и советует ему забыть о происшедшем: «Брат мой! Твое последнее письмо опечалило нас. После всех обрушившихся на тебя несчастий твоя возлюбленная покидает тебя. Моя жена не понимает, как женщина, которую Рисаль почтил любовью, может отказаться от него, она сердита на нее... Но у тебя храброе сердце, другая возлюбленная с любовью взирает на тебя — твоя родина». Но Рисаль думает иначе: он сам недостойн счастья, потому что отмечен злым роком, его удел — приносить несчастье другим, в первую очередь своим близким и дорогим... С этого времени Рисаль берет себе псевдоним Лаонг Лаан, что по-тагальски означает «давно осужденный,

приговоренный». Так он подписывает стихотворение, которым откликается на разрыв с Леонор. После получения письма Рисаль уходит в себя, не принимает друзей, не участвует в жизни эмиграции. На действия властей поэт может откликнуться острой публицистической статьей, на личную драму — только стихотворением. Называется оно «Музе», его главная мысль — все бесполезно, надо распрощаться со всем, что было дорого, распрощаться и с музой, но также и с Леонор:

*Где вы, любовь и покой,
дни, когда в тихом просторе
робкий цветок полевой
в душу глядел как живой,
был утешением в горе?*

Единственное утешение — борьба. Но борьбе нужны не сладкозвучные поэты, «ныне рапира нужней», поэзия — плохое оружие, стоит ли петь, если нужны не песни:

*Стоит ли петь? Нас зовет
К думам суровым судьбина.
Грозная буря ревет,
И филиппинский народ
Кличет в заступники сына.*

Все так, но когда-нибудь в будущем, за которое надо бороться, снова придет время песен:

*Но ты придешь, святое вдохновенье,
чтоб разбудить фантазию мою;
когда клинок сломается в бою...
А если увенчает наш народ
победа и страна объединится,
жемчужиной блеснет из тусклых вод
просторов пламенеющих денница, —
дай силы мне, чтобы воспеть восход,
священным гимном над землей пролиться,
которую и в глубине могил*

мы воспоем, отдав ей весь свой пыл!

Отключившись от борьбы на несколько недель, Рисаль вновь возвращается к активной политической жизни. И с удивлением обнаруживает, что за время его затворничества произошли весьма существенные — и неприятные для него — перемены.

Психология эмигрантов достаточно подробно описана в мировой литературе. Почти всегда эмигрант — раздвоенная личность: душой и сердцем он на родине и добивается признания там, где его нет, осуждает условия, царящие в покинутой отчизне, и жаждет вернуться туда, несмотря ни на что. Там, где он находится, он не может быть счастлив, но там, где он мог бы быть счастлив, он не может находиться. Отсюда нередко — психическая неустойчивость, фрустрация, поразительно высокий процент самоубийств. Товарищей по эмиграции не выбирают, их поставляет необходимость. Расшатанная психика делает необычайно сложной проблему совместимости, а отсюда неурядицы, ссоры; у филиппинцев, как мы видели, даже дуэли. Отсюда же чрезмерная чувствительность, уязвимость и ранимость, раздражительность. Пока Рисаль руководил филиппинцами издали — из туманного Лондона, веселого Парижа, добропорядочного Брюсселя, — все признавали его авторитет. С его приездом в Мадрид негативные аспекты эмигрантского бытия с неизбежностью дают о себе знать; личное общение не выдерживает напряжений и нагрузок, которыми богата жизнь в изгнании.

Слово Рисаля — самое весомое, он — вождь, это никто не подвергает сомнению. Но Марсело дель Пилар уже почти два года как сменил Грасиано Лопес Хаену на посту редактора «Ла Солидарidad». Он определяет курс газеты, отбирает материал, заказывает статьи, а значит, практически руководит всей политической деятельностью эмигрантов. С появлением Рисаля встает вопрос: кто первый? Схватка неизбежна.

Эмигрантам она представляется как расхождение по не столь уж существенным моментам, на деле же борьба за первенство есть борьба двух политических линий, в принципе несовместимых. Борьба за «филиппинское дело» есть борьба политическая, а в политике главное — вопрос власти. И Рисаль, и дель Пилар исходят из того, что на Филиппинах реальная власть принадлежит Испании — это самоочевидно. Поначалу борьба шла лишь за то, чтобы «очеловечить» эту власть, сделать ее более гуманной, ограничить всевластие монашеских орденов, наделить филиппинцев равными с испанцами правами. Словом, на первых порах

речь шла о том, чтобы превратить Филиппины в органическую часть Испании — такова программа ассимиляционистов. Рисаль полностью разделял эти взгляды, благодушно прислушивался к голосам, сулящим именно ему кресло в кортесах (он даже заметил как-то, что один из его предков уже занимал это кресло). Но пребывание на родине, «дело Каламбы», тщательное изучение испанской политики на Филиппинах, глубокое понимание сути колониального режима лишают его всяких иллюзий. Не всегда последовательно, но тем не менее отчетливо он проводит мысль о том, что филиппинцы должны бороться за полную независимость, что испанский колониализм — заклятый враг филиппинского народа. А если так, то что такое ассимиляционизм? В лучшем случае — пустая иллюзия, в худшем — пособничество колонизаторам.

Таковы новые взгляды Рисаля. Другим деятелям пропаганды они кажутся непоследовательными, даже граничащими с предательством. В самом деле, рассуждает Марсело дель Пилар и с ним многие эмигранты, кто заклятый враг ассимиляции? Монахи. Кто еще? Оказывается, сам Рисаль, признанный вождь эмиграции и всего филиппинского народа! Рисаль смыкается с монахами! Рисаль не хочет свободы печати, не хочет представительства в кортесах — не хочет ничего из рук испанцев. Не иначе как на него нашло затмение — может быть, под влиянием личной драмы. Впрочем, он и раньше писал как-то «путано», а теперь из-под его пера выходят и вовсе непонятные сентенции. Часто в одном и том же номере «Ла Солидарidad» соседствуют статьи дель Пилара и Рисаля, которые никак не согласуются друг с другом. Дель Пилар призывает к благородству испанцев, к их здравому смыслу, апеллирует к долгосрочным интересам Испании на архипелаге. Рисаль же совсем не верит в это благородство, считает, что здравый смысл покинул испанцев, апеллирует к национальному чувству филиппинцев, утверждает, что интересы Испании и Филиппин расходятся радикально. Сторонников у него немного — Мариано Понсе, Галикано Апасибле, неистовый Антонио Луна, но и они идут за ним скорее замороженные его авторитетом вождя, нежели по принципиальным соображениям. Много позднее им суждено будет увидеть, насколько глубже Рисаль понимает насущные задачи движения.

А пока этот вышедший из добровольного заточения вождь, осунувшийся, с темными кругами под глазами, опять, как и восемь лет назад, предъявляет явно непомерные требования. Нетерпим, раздражителен, своенравен. Пожалуй, стоит указать ему место — не грубо, разумеется, но надо заставить его подчиниться общему мнению. Кончается

1890 год, предстоит традиционная новогодняя встреча, надо обязать его быть на ней — и не в качестве рядового участника, а в качестве устроителя, например, предложить ему уплатить за шампанское для всех (за кофе согласен платить дель Пилар, за сигары — Кунанан). Это самый большой взнос, но ведь Рисаль вождь. Дель Пилару и Кунанану о решении сообщают заранее, к Рисалю обращаться как-то боязно.

Он вообще против излишнего увлечения горячительными напитками. За новогодним столом, не расслышав слов дель Пилара (Рисаль по скромности отказался сесть во главе стола) о том, что «за шампанское платит наш дорогой Рисаль», он начинает сбор «по песете с человека». Вот как дель Пилар описывает происходящее: «Я понимал всю горечь, которую вызвал поступок Рисаля. Сам он ничего не понял, был весел и остроумен, а я все ждал, что вспыхнет ссора. Сбор по песете начался с левой стороны и дошел до середины стола, но дальше никто не захотел платить. Послышались замечания в адрес Рисаля, некоторые очень колкие и саркастические. Рисаль, кажется, не понимал, против кого они направлены. Я встал, подошел к тем, кто сидел справа от меня, и шепотом попросил их не портить братскую встречу. Меня послушались, и до конца встречи выпадов против Рисаля больше не было».

Конечно, дело здесь не в стычке из-за уплаты за шампанское. Расхождения были куда более принципиальны. Но тем, кто недоволен Рисалем, это дает повод поставить под сомнение его лидерство. После банкета Рисалю разъясняют ситуацию, и он понимает, что ему брошен вызов, причем крайне недостойно, по обвинению в скупости. Той же ночью, собрав своих сторонников, Рисаль требует, чтобы колония решила, кто ее вождь. Его надо избрать демократическим путем, тайным голосованием. Несомненно, он сильно задет и хочет ясности. Он готов рискнуть своим положением.

На следующий день Рисаль и его сторонники являются к дель Пилару, прерывают его послеобеденную сиесту, предлагают созвать всю колонию и выбрать вождя, которому подчиняется все существующие организации филиппинцев, в том числе и их печатный орган «Соли». Дель Пилар туманно возражает, говоря, что у филиппинцев и без того достаточно организаций и вождей. Но рисалисты настаивают. С трудом избирается комитет «по выработке процедуры», куда входят Рисаль, Льоренте и полуодетый дель Пилар. Комитет немедленно поручает Рисалю составить процедурные правила. Рисаль тут же набрасывает их и дает прочитать двум другим членам комитета. Дель Пилар принимает правила, не заглядывая в них, но под нажимом Рисаля начинает читать. И тут же возражает против

первого пункта, где сказано, что избранный вождь будет определять всю политику филиппинцев и руководить их печатными органами. «Газета, — разъясняет дель Пилар, — подчиняется «Комитету пропаганды» в Маниле, который ее и финансирует».

Это известие просто ошарашивает Рисаля. Надо признать, что он считал «Соли» до известной степени своим органом: он слал менторские наставления редколлегии, указывал, какие материалы публиковать, и его наставления и указания принимались. Выборы вождя, по мнению Рисаля, должны узаконить такое положение. Рисаль и не подозревал, что «Соли» подчиняется манильскому комитету, дель Пилар умело и вовремя выставил этот аргумент. Но отступить сейчас — значит «потерять лицо», чего Рисаль допустить не может. Он говорит, что сам будет голосовать за дель Пилара, и, следовательно, возражения последнего — пустая риторика: ведь когда его изберут, все останется по-прежнему.

Начинается обычная эмигрантская свара: филиппинцы в Мадриде делятся на пиларистов и рисалистов. Каждый день возникают новые комбинации: кто-то переходит из пиларистов в рисалисты, кто-то — наоборот (именно в эти дни Рисаль бросает свою горькую фразу: «Где соберутся два филиппинца, там никакое соглашение невозможно»). Голосуют по нескольку раз в день, и никто из кандидатов — ни Рисаль, ни дель Пилар — не может собрать требуемых двух третей голосов. Тогда многие пиларисты уступают и переходят к рисалистам: они понимают, что авторитета у Рисаля побольше и в Маниле не простят поражения последнего. При шестом голосовании Рисаль наконец-то получает квалифицированное большинство. Но он прекрасно сознает, какой дорогой ценой досталась ему победа: победить при шестом голосовании не так уж почетно. Этого он явно не ожидал.

Как бы то ни было, вождь наконец-то избран. Назначается день принесения присяги. Первым берет слово Рисаль. И начинает с того, что отказывается от полученного с таким трудом поста. Он горько упрекает дель Пилара за то, что тот не снял свою кандидатуру с самого начала и тем выставил Рисаля на позор. Достается и другим пиларистам. Ведь они выбрали его не ради его заслуг, а только для того, чтобы не смущать комитет в Маниле. Его честь, продолжает он, требовала, чтобы он добивался поста вождя, но та же честь не позволяет оставаться на этом посту. Рисаль вежливо откланивается и покидает ошеломленное собрание. Он отправляется на вокзал, берет билет и первым же поездом уезжает в Биарриц к Бустедам.

Несомненно, тут надо учесть душевное состояние Рисаля. Он тяжело

переживает несчастье семьи, только недавно пришло сообщение о замужестве Леонор, отношение к нему эмигрантов он воспринимает как предательство. Он слишком требователен, это мешает ему быть хорошим политиком.

Вся его деятельность — в его собственной формулировке — направлена на обретение филиппинцами достоинства (в рамках испанского мира, как продолжает настаивать дель Пилар; вне его, как по-новому ставит задачу Рисаль). Но борьба за «обретение достоинства» есть политическая борьба (против монашества, как полагает дель Пилар; против всего колониального режима, как теперь утверждает Рисаль). А политическая борьба требует особых качеств. Тут мало видеть цель, надо обладать способностью неуклонно идти к этой цели. Рисаль определяет цель глубже и вернее, чем дель Пилар, но этот последний обладает большими способностями к политической борьбе. Вовлеченность в политику всегда порождается сердцем, но делаться она должна головой, на основе трезвого расчета. Политическому лидеру мало благих намерений, он обязан учесть все: и силы противника, и человеческие качества тех, кто идет за ним, их сильные и слабые стороны. Он обязан заранее учесть все возможные последствия своих действий. У всякого политика есть последователи, «человеческий аппарат». Политик обязан учесть его запросы, иначе аппарат сбросит данного политика и найдет другого либо просто распадется. Плохой политик может либо оторваться от этого аппарата, погрузившись в сферу прекрасных идей, либо, напротив, стать слишком зависимым от него, потеряв из виду цель. И то и другое означает поражение политика. С Рисалем, как представляется, происходит первое.

Он слишком художник, слишком пророк; он блестяще формулирует цели, ставит задачи и в то же время чрезмерно сурово обрушивается на тех, кто не видит этих целей так же ясно, как он сам. Вера в свой пророческий дар мешает ему снизойти до слабостей соотечественников. Собственно, пророку это и ни к чему, его удел — быть непонятым, одиноким. Поэты редко бывают хорошими политиками, но все же бывают. Но тогда им приходится четко разграничивать две сферы деятельности: поэтическую и практическую — политическую. Это удалось Гете, который был не только великим поэтом, но и недурным — по тем временам — министром в Веймаре и однажды сказал, что если бы в своем «министерском качестве» действовал как поэт, то принес бы немало бед. Рисалю же не совсем удается сочетать в себе поэта и политика. Поэт-пророк, он громит своих соотечественников «за грехи». Те сознают (или не сознают) правоту обвинений, но на такой основе последователей не удержишь. Рисаль это

чувствует и потому решает уйти сам. Это не умаляет его величия: ведь его идеи вдохновили первую в Азии национально-освободительную революцию, но объясняет его личную трагедию как вождя филиппинцев.

Есть горькая правда в словах дель Пилара, обращенных к Рисалю: «Да, я голосовал против тебя, это верно. Почему я это сделал? О причине я говорил не раз: я считаю, что ты не можешь переломить себя и приспособиться к людям». Надо отдать справедливость дель Пилару: хотя он через месяц занимает оставленный Рисалем пост вождя, он требует от всех филиппинцев уважения к Рисалю. «Я считаю, — говорит он, — что мы любой ценой должны избегать осуждения Рисаля. Его репутация не должна пострадать». Но заканчивает он это послание такими словами: «Беда этого человека в том, что он воспитывался в библиотеках, а при таком воспитании действительность редко принимается в расчет, когда настает пора действовать».

Уход Рисаля не только его личная трагедия, это трагедия всего движения пропаганды. Верно, что остается дель Пилар, более практический политик, но верно и то, что с Рисалем уходит более глубокое понимание сущности борьбы филиппинцев за свое освобождение. Многие это чувствуют, если не умом, то сердцем, и отходят от «Ла Солидарidad». Сам Рисаль окончательно порывает с газетой. О причинах разрыва он уведомляет Блюментритта: «Я потерял веру в Испанию. По этой причине я не напишу больше ни строчки в «Ла Солидарidad». Мне это кажется бесполезным». Итак, не личная обида (хотя не будем забывать и о ней), а «потеря веры в Испанию», то есть переход от ассимиляционизма к сепаратизму, — вот чем Рисаль объясняет свой уход.

И все же одна статья Рисаля появляется в «Соли» уже после его отъезда в Биарриц, ибо он сдал ее в редакцию еще до разрыва. Это критический разбор книги испанского философа и общественного деятеля Пи-и-Маргалья «Борьба наших дней». Пи-и-Маргаль — республиканец. Вообще-то говоря, Рисаль не питает особых симпатий к республиканцам, но для Пи делает исключение, ибо тот для него «единственный республиканец, чье имя в течение длительного времени ассоциируется с ученостью, последовательностью и честностью». Отметим, что столь же высокую оценку Пи-и-Маргалью дает Энгельс, хотя и по другим основаниям: «Среди официальных испанских республиканцев Пи был единственным социалистом, единственным человеком, признававшим, что республике необходимо опираться на рабочих»^[29].

Книга Пи-и-Маргалья построена в виде диалогов, в которых вольтерьянец и ортодоксальный верующий спорят о боге, о смысле бытия.

При разборе книги Рисаль формулирует и свои взгляды, которые, однако, не всегда легко отделить от взглядов Пи-и-Маргалья. Рисаль не оставил систематизированного изложения своих философских взглядов, и попытки построить единую философскую систему из его высказываний малопродуктивны. Таких «реконструкций» может быть построено (и действительно было построено) великое множество, но как раз эта многочисленность и настораживает: полученные непротиворечивые системы принадлежат все же авторам подобных реконструкций, а не самому Рисалю. У Рисаля такой системы нет, его философские высказывания не всегда согласованы и нередко определяются последней прочитанной им книгой. Можно очертить лишь круг общефилософских идей, усвоенных Рисалем.

Вся философская мысль Филиппин, ждущая своего исследователя, исходит из политических предпосылок и направлена на решение политических задач. XIX век на Филиппинах — век секуляризации сознания, освобождения его от церковных пут, и просветительство составляет основу как литературных, так и философских воззрений Рисаля. Он верит в Разум и Прогресс (что не отменяет деистической веры в бога), верит, что «земной рай» уже где-то за углом и что гонения только приближают его. Догматизм мышления — а для Рисаля это прежде всего догматизм религиозный — представляется ему главным препятствием на пути человечества к уже близкому счастью. Поэтому он так охотно откликается на рассуждения Пи-и-Маргалья о пользе сомнений. Пи с одинаковой убедительностью отстаивает два противоположных: < мнения: «сомнение — болезнь нашего века» и «сомнение — добродетель нашего времени». Рисаль целиком на стороне второго тезиса. «Сомнение — шпоры прогресса, — пишет он. — Если бы люди не сомневались, многие истины остались бы неизвестными нам и мы разделяли бы представления примитивных времен».

Дальше Рисаль — вслед за Пи-и-Маргалем — разбирает вопрос о существовании души. Признавая, что существует «нечто», Рисаль пишет, что мы узнаем это «нечто» (душу) по проявлениям, душа же создана высшей силой: «Разве всемогущая мудрость не могла наделить соответствующим образом организованную материю интеллектом, волей к действию и разумом?» Здесь налицо характерное для Рисаля признание высшего божественного начала, а дальше — действие естественных причин: «Зачем допускать (если это вообще можно допустить) существование нематериального существа, чтобы объяснить феномен нашего «я»?» Духовные свойства, по Рисалю, есть принадлежность

материи: «Не душа воздействует на природу, но природа на душу. Душа лишь испытывает влияние природы, понимает ее и истолковывает».

Что касается Христа, то для Рисаля он всего лишь человек, который к тому же взывал исключительно к чувствам, не к разуму, проповедовал повиновение и «не сказал ни единого слова любви к тем, кто посвятил себя развитию разума с целью принести пользу братьям своим — вот только некоторые пробелы в религии Назарейнина». Отсюда — постоянная борьба католицизма с силами прогресса. И если, заключает Рисаль, даже меч не может заставить людей признать это так называемое божественное откровение, то чем оно отличается от дел человеческих?

Такова последняя статья Рисаля в «Соли». Несмотря на все попытки дель Пилара вернуть Рисаля в газету, тот отказывается наотрез. Дель Пилар спрашивает: «Если ты обижен, забудь обиду, если ты считаешь, что я виноват, — но ведь всякую вину можно простить, прости и ты меня». На что Рисаль отвечает: «Ты просишь меня снова начать писать для «Ла Солидаридад» — я признателен за приглашение, но, скажу тебе откровенно, у меня нет ни малейшего желания, и ты, конечно, догадался почему... В «Соли» печатались статьи, которые идут вразрез с моими убеждениями. Может быть, ты находишь меня сверхчувствительным; да, согласен, я именно таков. Когда человек в ответ на добрую волю, любовь, самоотречение встречает нападки — поверь мне, тогда человеку надо изменить линию поведения... А что я могу поделать со своею нетерпимостью, склонностью к деспотизму?» Дель Пилар пишет Рисалю крайне сдержанно и осторожно, но как раз в эти дни жалуется жене: «Этот человек не делает ничего положительного, наоборот, он разрушает то, что с таким трудом создавали понемногу другие. Делает он это непреднамеренно, но его импульсивность приведет только к краху». Дело, конечно, не в импульсивности Рисаля, хотя как черта характера она была ему свойственна. Речь идет о принципах, но и «историю с шампанским» Рисаль помнит. «У меня есть недостатки, — пишет он дель Пилару, — я могу простить, но не могу забыть... Бокал шампанского растворил идола из глины. Но если он был из глины, то к чему жалеть о нем?»

Рисаль не хочет раскола. Он не намерен собирать сторонников — а они у него все же есть — и создавать новую партию. Он ответит на все вопросы своим новым романом. А пока надо уладить дела личные.

Письмо Леонор означает, что Рисаль свободен от обязательств по отношению к ней. Но тогда, может быть, попытаться устроить жизнь с Нелли Бустед? Он едет к ним на виллу — ему давно сказано, что он там всегда желанный гость. Биарриц — моднейший курорт со времен Второй

империи, тут отдыхают все плутократы Европы. Целый месяц Рисаль, по его собственному выражению, «зализывает раны» — и делает предложение Нелли. Друзья говорят о его женитьбе как о деле решенном. Но настоящий кабальеро не может действовать в обход соперника и друга, Антонио Луны, и уже из Биаррица Рисаль запрашивает, как тот отнесется к его возможному браку. Антонио отвечает: «Между мною и ею все кончено — осталась только дружба. Слово чести. Я любил ее, мы переписывались... Она добрая девушка, природа наделила ее многими добродетелями, думаю, она сделает тебя — или любого другого достойного человека — счастливым».

Но и тут Рисаля ждет разочарование. Эдуардо Бустед не возражает — он требует только, чтобы молодая семья оставалась в Европе. С мадам Бустед дело несколько сложнее. Как и сеньора Ривера, она считает Рисаля неподходящей партией. Кто он, в самом деле? Журналист, которому платят гроши, — хирург без практики, хуже того — бунтовщик, из-за которого семья лишилась состояния. Впрочем, пусть решает сама Нелли, говорит мать, неодобрительно поджав губы. Рисаль чрезвычайно боится, что в нем увидят всего лишь охотника за приданым. Поэтому с Нелли он говорит исключительно о вещах возвышенных, в том числе и о боге. Нелли же убежденная католичка, и вольнодумство Рисаля ее просто шокирует. Она согласна «выслушать предложение», но при одном непременном условии: Пепе должен отречься от своих «заблуждений». Этого он — при всей искренности его чувств — сделать не может.

В начале марта 1891 года он покидает Биарриц. Нелли согласна ждать его. Но он пишет, что сомневается в ее чувствах к нему — любящие женщины таких условий не ставят. Нелли крайне удивлена: «Твое письмо поразило меня. Хорошо еще, что оно не попало в руки родителей... Когда ты спросил о моих чувствах к тебе, я сказала, что не могу дать ответа, пока не буду уверена, что ты принимаешь христианство так, как я, как все, кто верит, что нельзя творить добро без Его помощи и милости... Согласен ли ты? Я хотела просить тебя не писать мне больше, но даю тебе еще одну возможность». Нелли дает ему не одну, а несколько возможностей и требует недвусмысленного ответа, но Рисаль не уступает, и в мае они обмениваются последними письмами.

Рисалем овладевает навязчивая идея: он во что бы то ни стало должен вернуться на Филиппины, раз в Европе для него все кончено: друзья его предали, Нелли от него отвернулась (так он воспринимает происходящее). Он даже шлет Басе письмо с просьбой прислать денег на дорогу до Гонконга. Но второй роман уже почти закончен, его надо издать. Прожив несколько дней в Париже, он отправляется в Брюссель, где лихорадочно

работает над романом. Книгопечатание в Брюсселе дешевле, чем в других городах, но скоро соотечественник, живущий в Генте, сообщает, что там издатели берут еще меньше — не 80 франков за лист, а всего 60. Для Рисаля это существенно, и 5 июня 1891 года он перебирается в Гент. Но средств все равно не хватает. Рисаль мечется в поисках денег, готов отказаться от издания и уехать (уже в июле пароходная компания уведомляет, что на его имя заказан и оплачен господином Басой билет до Гонконга), но в сентябре соотечественник Рисаля Валентин Вентура добровольно, не дожидаясь просьбы Рисаля, присылает ему сумму, необходимую для издания. Книга быстро набирается и выходит в свет. Хосе Алехандрино, будущий генерал революции, живущий в Генте, проникается важностью происходящего и принимает на себя обязанности посыльного — забирает из издательства корректуры, относит исправленные листы. Он — первый читатель нового романа Рисаля.

*

«Мятеж»^[30] есть прямое продолжение «Злокачественной опухоли» как по развитию фабулы, так и по действующим лицам. Так смотрит на свое творение и сам Рисаль — во втором романе встречаются ссылки на первый («Читавшие первую часть этой повести...»). Напомним, что 1889–1891 годы — это годы интенсивной научной работы, годы активной публицистической деятельности, наконец, годы борьбы за «дело Каламбы». Все это находит непосредственное отражение в романе, более того, определяет его лицо. Это особенно справедливо в отношении «дела Каламбы» — перипетии борьбы и ее исход сказываются на идейном и сюжетном построении романа. Второй роман получается не столь «веселым», по выражению самого Рисаля: «Я писал его с большим жаром сердца, чем «Злокачественную опухоль», и хотя он получился не столь веселым, он, на мой взгляд, глубже и совершеннее».

Если первый роман был диагнозом, то второй — роман-предостережение, роман-прогноз. Он показывает, что произойдет с Филиппинами, — тут опять сказывается вера Рисаля в свой пророческий дар. Герой романа — ювелир Симон (в русском тексте Симоун), не кто иной, как Ибарра, герой «Злокачественной опухоли». После смерти Элиаса ему удалось бежать. За истекшие годы он составил значительное состояние, на Кубе познакомился с испанским майором, купил ему должность генерал-губернатора Филиппин и тем приобрел неограниченное на него влияние.

Замысел Симона состоит в том, чтобы, усиливая гнет, унижая и оскорбляя филиппинцев, вывести их из терпения и поднять на восстание против испанцев. Его цель на первых порах — личное мщение за поруганную честь, за ущемленное самолюбие.

Группа студентов подает генерал-губернатору петицию с просьбой учредить академию испанского языка. В числе просителей — знакомый по первому роману Басилио, тот самый несчастный служака, чья мать сошла с ума и чьего брата забили до смерти. Он узнает в Симоне Ибарру, и тот решает привлечь его на свою сторону, зло высмеивая его надежды на Испанию: «Вы объединяетесь, чтобы общими усилиями связать вашу родину с Испанией гирляндами роз. На самом же деле вы куете для нее цепи тверже алмазных! Вы просите уравнивания в правах, испанизации своих обычаев и не понимаете, что то, чего вы просите, — это смерть, это гибель вашей национальной самобытности, уничтожение вашей родины, освящение тирании! Чем вы станете? Народом без национального характера, нацией без свободы, все у вас будет взятое взаймы, даже пороки». Сепаратистское кредо и отказ от идеи ассимиляции тут выражены необычайно четко.

Симон готовит восстание, используя недовольную молодежь, разбойников и даже беспринципного китайского коммерсанта Кирогу — у него он хранит оружие, объясняя китайцу, что ружья «подбросят потом в разные дома и сделают обыск. Кое-кто окажется в тюрьме, а мы с вами заработаем, похлопотав об освобождении арестованных». Для Кирогги такая провокация — способ заработать, для Симона — способ скомпрометировать местную верхушку, вызвать против нее репрессии властей и тем толкнуть ее в лагерь повстанцев.

Затем Рисаль вдруг отвлекается от деятельности Симона и несколько глав посвящает постановке французской оперетты в Маниле, что дает ему возможность описать манильский высший свет. На вечер спектакля Симон назначает восстание и еще раз пытается привлечь на свою сторону Басилио. Того арестовывают, но скоро выпускают. Симон говорит, что народ надо будет заставить примкнуть к восстанию жестокими репрессиями: «Помните — вы должны беспощадно убивать на месте не только врагов революции, но всех мужчин, которые откажутся взять в руки оружие и идти с вами!» Неудивительно, что к Рисалю в наши дни обращаются и левоэкстремистские элементы.

Восстание терпит крах. Симон укрывается в доме падре Флорентино, филиппинского священника, и рассказывает ему историю своей жизни. Падре Флорентино дает ему суровую отповедь: «Вы полагали, что жизнь,

запятнанную, изуродованную преступлением и несправедливостью, можно очистить и исправить еще одним преступлением, еще одной несправедливостью! Пагубное заблуждение!..Нет, избавление дается лишь как награда за добродетель, самопожертвование, любовь!» И эти мысли Рисаля находят сегодня сторонников на Филиппинах.

Идейная эволюция Рисаля отчетливо прослеживается при сопоставлении «Мятежа» со «Злокачественной опухолью». В первом романе главный враг — монашеские ордены, они и есть «опухоль», которую должны удалить благожелательные колониальные власти вместе с филиппинцами. Во втором — колониальные власти вместе с монахами противостоят филиппинцам как единое целое. В первом романе разграничение шло по линии: разум и прогресс против невежества и деспотии, причем оба лагеря (особенно первый) обрисовывались несколько абстрактно. Во втором романе разграничение идет по линии: колонизаторы против филиппинцев, и «национальная идея» выражена в нем гораздо отчетливее. Это не шаг назад от общечеловеческого к частному, филиппинскому, это шаг вперед от несколько прекраснодушной умозрительности либерального толка к суровой правде жизни; это проникновение в глубины бытия своего народа и тем самым в глубины общечеловеческого, ибо, как говорил еще Достоевский, путь к общечеловеческому лежит только через национальное.

Если юный Рисаль в своих ранних стихотворениях пел гимны испанским колонизаторам, гордился своей причастностью к «открывателям», а не к «открываемым», то теперь он пишет: «Как удивительна судьба иных народов!.. Из-за того, что мореплаватель причалит к их берегу, они утрачивают свободу, оказываются в подчинении, в рабстве не только у этого мореплавателя, но и у всех его соотечественников, и не на одно поколение, а навсегда! Какое странное понятие о справедливости! После этого, пожалуй, признаешь за человеком право уничтожать всякого незваного пришельца как самое опасное чудовище, извергнутое морской пучиной!»

Два взаимоисключающих начала проявляются в описании методов достижения независимости. С одной стороны, Симон готовит кровавую бойню, не останавливаясь перед провокациями и используя народ, который он, несомненно, любит, но который, по его мнению, все равно не способен понять свое благо, а потому должен послушно приносить жертвы, не понимая, во имя чего он это делает. Рисаль не раз заявлял, что и сам может оказаться вынужденным прибегнуть к насилию, причем насилие понималось им прежде всего как заговорщическая деятельность узкого

круга руководителей, использующих все доступные средства для провоцирования выступления масс.

С другой стороны, утонченный иллюстратор, впитавший в себя весь комплекс либерально-демократических идей Европы, не мог не ужасаться предстоящему кровопролитию. Для него существует дилемма: либо кровавая революция, либо постепенное «созревание» для свободы. О широком революционном выступлении масс, в ходе которого как раз и осуществляется наиболее последовательно и быстро духовное преобразование народа, он даже не помышляет. Здесь сказывается его классовая ограниченность: честный демократ остается иллюстратором и в своем предвидении будущего не находит места для революционной самостоятельности народа.

Монахи по-прежнему гнусные негодяи, занимающиеся на страницах романа саморазоблачениями. Заданность персонажей не изжита и здесь — они слишком прямо выражают взгляды автора. Читатель, воспитанный на иных литературных нормах, не может не воспринимать это как недостаток. Однако идейно-эстетические запросы филиппинского читателя иные: убедительность образа для него только выигрывает благодаря откровенной заданности. А Рисаль пишет для филиппинцев, его творчество есть этап, притом этап важнейший, в становлении филиппинской литературы, а не в процессе развития европейской, точнее, испанской словесности. Подразумеваемый читатель романа — филиппинец, и только филиппинец. В романе масса реалий, которые испанцу просто непонятны. Приведем один пример.

Зло высмеивая филиппинцев, старающихся подражать испанцам, Рисаль пишет, что один из них пытается без всяких оснований прослыть метисом, на что собеседник возражает:

«— Но ведь дочери-то у него совсем белые...

— Да, да, поэтому-то рис и поднялся в цене, хотя они питаются исключительно хлебом!»

Рисаль даже не утруждает себя разъяснением, которое здесь явно необходимо: филиппинские красавицы (и по сей день стремящиеся выглядеть побелее) густо пудрятся рисовой мукой — отсюда повышение цен на рис. Но такие разъяснения и не нужны тем, кому адресуется роман, то есть филиппинцам.

Рисаль много занимался психологией филиппинцев, проникнув в такие ее глубины, что его выводы и поныне сохраняют научную ценность. В романе он дает не менее глубокое художественное описание этой психологии. Не раз он пишет об амоке, психическом расстройстве,

встречающемся у малайских народов (в европейской литературе его хорошо изобразил Стефан Цвейг). Амок — состояние безумия, вызываемое неспособностью выполнить свой моральный долг (например, бедняк не в силах прокормить семью). В приступе амока человек убивает всех без разбора — бывает, жену, детей, всех подвернувшихся под руку, пока его самого не прикончат. Амок есть патологическая попытка распадающейся личности самоутвердиться, уже находясь за гранью безумия. Нам неизвестно клиническое описание амока, но в литературе стран, где он встречается, неизменно указывается на два признака: багровый туман и звон в ушах. Вот как Рисаль описывает реакцию своего героя Талеса на известие о том, что у него отняли землю: «Бедняга побледнел, в ушах у него зазвенело, перед глазами поплыл красный туман, и в этом тумане возникли образы его жены и дочери, бледных, истощенных, умирающих от болотной лихорадки». И еще раз: «В ушах у Талеса зашумело, в висках будто застучали молотки, багровый туман поплыл перед глазами, он снова увидел трупы жены и дочери, а рядом увидел этого хохочущего негодяя и монаха, хватающегося за живот».

Художественное время во втором романе воображаемое (Рисаль пишет о будущем), но привязка к календарю не вызывает трудностей. Действие происходит через тринадцать лет после событий, описанных в первом романе, о чем Рисаль упоминает неоднократно. Из этого следует, что события, описанные во втором романе, должны произойти, по мнению Рисаля, в 1895 году, то есть через четыре года после написания. Антииспанская национально-освободительная революция начнется в 1896 году, на год позже срока, предсказанного Рисалем, и по своим методам будет схожа, особенно на первых порах, с методами Симона. Это свидетельствует о том, что Рисаль хорошо чувствует пульс истории и прекрасно знает психологию своего народа.

На втором романе еще больше, чем на первом, сказывается влияние европейской приключенческой литературы. Как уже говорилось, Симон — это филиппинский Монте-Кристо, и его личная месть служит стержнем всего повествования. Влияние Дюма сразу же отмечается современниками и ставится Рисалю в заслугу. По выходе романа в свет филиппинская колония в Барселоне обращается к нему со следующими торжественными словами: «Прославленный патриот! Твое новое произведение, стиль которого сравним только со стилем Александра Дюма, читается с захватывающим интересом всей филиппинской колонией в Барселоне; оно является образцом, бесценной жемчужиной для испанской литературы, ныне находящейся в упадке. Твои периоды полны энергии и силы, что

заставляет вспомнить страстность прокламаций... Его (романа. — И. П.) страницы — это поток возвышенных и патриотических мыслей... Как новый Моисей, своей бессмертной работой ты дал филиппинцам десять заповедей, выполнение которых приведет к политическому освобождению и человеческому благородству».

Оставим на совести авторов послания утверждение об упадке испанской литературы, усомнимся и в том, что труд Рисаля есть образец для нее. Но отметим то, что нами уже неоднократно подчеркивалось: заимствования (в данном случае у Дюма-отца), сентенции политического характера («страстность прокламаций») и возвышенный язык для филиппинских читателей неоспоримое достоинство. Таковы читательские запросы аудитории, таково и внутреннее понимание писателем своих обязанностей.

Восторженных отзывов много. Лопес Хаена, братья Пардо де Тавера, Хуан Луна и, конечно, верный друг Блюментритт восхищаются романом и спешат поведать автору о своем восторге. Но есть отзывы и противоположного характера, причем не все они необоснованны.

Наиболее важно для Рисаля мнение дель Пилара. Он заранее ждет отрицательного отзыва, что видно из сопроводительного письма, посланного вместе с экземпляром романа: «Лучше поручить отрецензировать роман тому, кто хуже всего о нем думает, или вовсе обойтись без рецензии. Как хотите... Лучше было бы, если бы «Соли» подвергла мою работу нападкам, тогда она завоюет репутацию противницы подрывных идей... «Соли» может создать рекламу, когда я уеду, но лучше не стоит, мне все равно, все бесполезно».

Дель Пилар откровенно пишет, что роман ему не нравится, на что Рисаль отвечает: «Благодарю тебя за отзыв о моей книге, я высоко ценю твой вердикт — «Мятеж» хуже «Ноли». Говоря откровенно, без всякой иронии и двусмысленности, я и сам разделяю твое мнение. И для меня «Фили» хуже «Ноли», поэтому я не без горечи читаю письма тех, кто считает наоборот. Блюментритт, все друзья в Париже и Барселоне твердят мне, что «Мятеж» лучше, потому что они хотят быть любезными; я приписываю это их доброте, ты — первый, кто говорит мне правду и чье мнение совпадает с моим. Мне это льстит — значит, я еще не потерял способность оценивать себя».

Заметим, что неодобрение романа дель Пиларом скорее всего вызвано несогласием с сепаратистскими идеями, выраженными в нем. В обоих письмах Рисаля звучит глубокое разочарование, усталость. А ведь всего за несколько недель до того он писал, что считает второй роман «более

глубоким и совершенным».

Эпоха творчества Рисаля — это эпоха зарождения филиппинской литературы. Рисаль произносит «первое слово», и не все сказанное им выдерживает проверку временем. Но то, что выдерживает, усваивается надолго: его темы, его герои, даже метафорику легко распознать и в современной филиппинской литературе.

Для своего времени и для своей страны значение романов Рисаля просто колоссально. Они становятся не просто фактом литературы и культуры, но и средством национальной самоидентификации. До их появления национальному самосознанию не на что было опереться в духовной сфере для отграничения себя от метрополии: религия была общей с колонизаторами, устное народное творчество сильно испанизировано, исторического предания, собственной государственности, признанных центров культуры и власти не существовало. В сущности, филиппинцы в конце XIX века все еще определяют себя как обращенных в католичество жителей далекого архипелага, как периферию испанского мира. Только теперь филиппинцы начинают осознавать, что их судьбы отличны от судеб испанцев и отныне определяют себя как людей, у которых есть Рисаль, есть «Ноли» и «Фили». Не случайно сокращенное название первого романа становится популярным женским именем, а слово «Рисалино» (что по-латыни означает «принадлежащий Рисалю») — мужским. Для многих жителей архипелага быть филиппинцем означает «принадлежать Рисалю».

Но все это впереди. Рисаль глубоко разочарован кажущейся неудачей романа. Это наслаивается на прочие беды и углубляет состояние депрессии, в которой пребывает Рисаль. В письмах душевный кризис проявляется особенно отчетливо: все чаще Рисаль говорит о безысходности, его преследует мысль о смерти. Второй роман он посвящает памяти казненных мучеников 1872 года — Гомесу, Бургосу и Саморе. Он не раз возвращается к мысли о том, как встретит смерть, сравнивает себя с «тремя мучениками»: «Если бы Бургос, умирая, проявил смелость Гомеса (ошибка Рисаля — Гомес перед казнью лишился рассудка, мужественно вел себя Самора. — *И. П.*), филиппинцы наших дней были бы иными. Однако неизвестно, как управлять собой в такой высший миг, и, возможно, я, столько думающий об этом, поведу себя в подобный момент еще трусливее, чем Бургос. Жизнь так хороша, и так страшно быть казненным молодым, полным надежд...»

Уподобляя себя Бургосу, Рисаль считает, что и он кончит свои дни в 30 лет^[31]. «В детстве, — пишет он в эти тяжелые дни, — я твердо верил — сам не знаю почему, — что не переживу тридцати лет». В 1891 году,

принесшем Рисалю столько несчастий, ему как раз исполняется тридцать лет. Рисаль готов к смерти, ждет ее, она его не страшит. Ведь он — Лаонг Лаан, «давно обреченный». По мере приближения рокового 1891 года, который он сам назначает себе как год смерти, в его письмах все чаще появляются мысли такого рода: «Надо ехать на Филиппины и дать там убить себя за свои убеждения; умираешь только один раз, и если умираешь без смысла, теряется прекрасная возможность, которая уже никогда не представится... Раз уж суждено умирать, надо умереть в своей стране и за свою страну».

В октябре 1891 года жестоко разочарованный Рисаль, преследуемый неотступной мыслью о смерти, выезжает в Гонконг с почти полным тиражом только что отпечатанного романа (лишь несколько экземпляров он разослал друзьям в Европе — на сей раз он хочет доставить весь тираж на Филиппины, ведь роман — руководство к действию). Завершается второй европейский период творчества Рисаля. Уже с борта парохода он пишет Блюментритту: «Чем ближе я к своей родине, тем сильнее желание вернуться на Филиппины. Я знаю, все считают это глупостью. Но что-то толкает меня. Что это — судьба или несчастье? Не могу не увидеть родину».

ОТ ГОНКОНГА ДО ДАПИТАНА

*И возможно, домой возвратившись,
не найдет он родного угла,
а увидит руины под снегом,
и могилы, и ту, что его предала.*

Хосе Рисаль. Песнь странника

Рисаль поднимается на борт в крайне угнетенном состоянии духа. Но ничто не действует на него так успокаивающе, как морские путешествия. Вот и сейчас он быстро восстанавливает душевное спокойствие, чему способствует размеренный ритм жизни. Он плывет на пароходе «Мельбурн», конечно же, первым классом — ведь он так любит комфорт. О комфорте позаботился Хосе Мария Баса, знающий привычки своего друга. Рисаль любит морскими видами, записывает в дневнике: «Прекрасный закат: фиолетовые облака отделены от горизонта оранжевой полосой. Вот на фиолетовых облаках появились золотые блики, и море начинает полыхать огнем... Солнце садится и становится все краснее, а оранжевая полоса — ярче». Отметим насыщенную цветовую палитру в описании Рисаля — его не привлекают переходы, полутона, он отмечает только яркие цветовые контрасты, столь любимые филиппинцами. По той же эстетике контрастов он строит и свои произведения. «Красивое — значит яркое и контрастное» — таково эстетическое кредо филиппинцев.

В первом классе восемьдесят пассажиров, народ образованный, и Рисаль, верный своей привычке не упускать случая завести знакомство, быстро сходится почти со всеми. На палубе первого класса часто прогуливаются мужчина и женщина, судя по всему — английская супружеская чета. Сочтя момент благоприятным, Рисаль подходит к ним, вежливо приподнимает котелок и просит разрешения представиться. О да, он понимает, что представляться самому — некоторое нарушение респектабельности, но ведь им предстоит длительное совместное путешествие, и кто знает, может быть, общение с попутчиками скрасит долгий путь... Возражений нет — Ада и Уильям Прайер в значительной мере утратили английскую чопорность. Ведь Уильям с 1878 года живет на Северном Борнео, Ада всегда при нем. Он служит в пароходной компании, фрахтует суда, но вот теперь решил заняться освоением земель на

Северном Борнео. Он возвращается из Лондона, где директора компании одобрили его проект и обещали всяческое содействие. Где именно будут осваиваться земли? Возле Сандакана, новая компания будет называться «Бритиш Норс Борнео девелопмент корпорейшн». Уильям станет ее управляющим. Но вот беда — район этот малонаселенный, народу явно не хватает.

Слова Уильяма Прайера («человека типа Стэнли», — записывает Рисаль в дневнике) и Ады Прайер («женщины прямой и энергичной», — гласит запись в том же дневнике) западают в душу Рисаля. Уединившись в каюте, он обдумывает услышанное, а после ужина, во время вечерней прогулки по верхней палубе, вновь подходит к супружеской чете. Как они отнеслись бы к идее заселить территорию вокруг Сандакана филиппинцами? Прайер — деловой человек и тут же схватывает открывающиеся возможности: это было бы превосходно. Условия? Пока говорить рано, но, полагает он, землю можно было бы предоставить по низкой цене, в сущности — символической. Сколько земли? Сколько угодно, многие тысячи акров. Предложение Рисаля настолько увлекает Прайера, что скоро просителем становится он, а не Рисаль. Сколько людей может поставить мистер Рисаль? Кто согласится поехать на неосвоенный остров? Рисаль излагает ему то, что обдумал, уединившись в каюте: на Филиппинах есть множество людей, подвергающихся преследованиям властей, прежде всего в его родной Каламбе. Они опытни в обработке земли, имеют все необходимые навыки. «Прекрасно!» — восклицает мистер Прайер. Политические взгляды будущих поселенцев его не интересуют, главное — они умеют работать на земле. Он заставляет Рисаля дать слово, что тот приедет к нему в Сандакан и сам все посмотрит на месте. Этот проект они обсуждают каждый день, уточняют детали. «Я опять долго разговаривал с сеньором Прайером о колонизации», — чуть ли не каждый день записывает Рисаль в дневнике...

Мысли о смерти напрочь исчезают с его страниц. Рисаль явно одушевлен открывшейся новой перспективой: собрать вместе всех преследуемых, зажить общей жизнью... Правда, это явное отступление от ранее высказанных более радикальных суждений о необходимости борьбы за свободу. Ведь остается вопрос: а что же станет с любимыми Филиппинами? Но это как-нибудь потом, сейчас главное — помочь каламбеньос, всем страдающим. Ведь их сотни, даже тысячи. Жить с ними, открыть перед ними новые возможности, пусть в ограниченном масштабе, но осуществить свою мечту — создать «нового филиппинца», — что может быть лучше?

Рано утром 23 октября «Мельбурн» втягивается в Александрийский порт. Рисаль сходит на берег в сопровождении испанской супружеской пары, с которой он тоже близко сошелся, и они вместе отправляются на розыски испанского консула. После визита к консулу Рисаль осматривает антикварные лавки, выражает сомнения в подлинности выставленного на продажу антиквариата, отбивается от назойливых вымогателей бакшиша и возвращается к полудню на пароход. И видит на верхней палубе нового пассажира: безупречно одетый господин в бороде-эспаньолке, с несколько одутловатым лицом внимательно рассматривает окружающих, держится необычайно корректно. Все выдает в нем бывшего путешественника. Его внимание тоже привлекает невысокого роста господин в котелке (это несмотря на жару), с изящными манерами, с огромными карими глазами (все, кто общается с Рисалем, отмечают его красивые глаза: большие, с легкой косинкой разреза, напоминающие о далеких китайских предках). Движимый природной любознательностью, Рисаль подходит к новому пассажиру и заводит непринужденный разговор на французском языке: «Мсье из Александрии?» — «О нет, он плывет из Одессы, вообще же он из Санкт-Петербурга, русский ученый-натуралист». — «А как зовут мсье?» — «Мишель Березовский». Рисаль называет себя, и завязывается знакомство.

Испанским языком, к сожалению, мсье Березовский не владеет, но по-немецки, французски и английски говорит свободно. Ученые XIX века считают своей Меккой Германию, скоро обращение «мсье» вытесняется почтенным немецким «герр». Оба ученых мужа говорят о своих научных интересах. Герр Березовский действительно не новичок в путешествиях. Он увлекается фотографией, вообще же он географ и орнитолог, в 1884–1887 годах совершил вместе с Г. Н. Потаниным путешествие в Китай, написал книгу по орнитологии Китая, она только что издана Императорской академией наук — он с удовольствием покажет ее своему ученому спутнику.

Приведем выписки из дневника Рисаля, касающиеся его отношений с «русским натуралистом». Запись от 1 ноября: «Вчера вечером у меня был разговор с русским натуралистом о политических условиях в моей стране. Он спросил меня, патриот ли я. Не очень, ответил я. Потом он спросил, несчастна ли моя страна, а я ответил вопросом: что составляет несчастье страны и несчастна ли его собственная страна? Он сказал: «Русский несчастен, ибо ему не хватает образования; из-за недостатка образования он не обрабатывает землю как положено». Мы говорили о социализме и о Льве Толстом. Я спросил, каковы его цели, он ответил, что колеблется, что он человек не без способностей, но не имеет направления. Говоря о

разнице между европейцами в колониях и европейцами в Европе, он сказал мне: «Конечно, они (европейцы в колониях. — *И. П.*) думают только о том, как набить карман». Он сказал мне, что только у социализма есть идеи, у других (учений. — *И. П.*) их нет. Я сказал ему, что подвергаю осуждению недостатки правительства, а не народа».

Следующие записи гораздо короче: «У нас был спор о воле и надежде. Русский сказал, что надежда есть слабость, японец — что надежда бесполезна и все достигается волей; а я сказал, что без надежды нет и воли». Запись от 6 ноября в Коломбо: «Я опять сошел на берег вместе с русским, и мы совершили прогулку». В Сингапуре: «Вместе с сеньором Березовским я немедленно отправился в отель «Европа». И в тот же день: «Поскольку погода была великолепной, Березовский и я пошли назад пешком». В Сайгоне: «Мы с ученым русским натуралистом сошли на берег... Со мной был сеньор Березовский, посланный Санкт-Петербургским географическим обществом для сбора образцов». И последняя запись: «Мы вернулись на корабль в три часа, русский сделал несколько снимков. Он показал мне свою книгу, в которой описывает птиц, и трехствольное ружье, изготовленное в Москве».

Не будем преувеличивать значение случайной дорожной встречи, но укажем, что во всех дневниковых записях Рисаля (как в этом путешествии, так и в предыдущих) никому из попутчиков не уделено столько внимания, сколько Березовскому. Даже встреча с Суехиро Тетчо, оставившая столь заметный след в японской литературе, почти не находит отражения в дневниках и письмах Рисаля. А тут — столь детальные записи. Видимо, личность Березовского производит сильное впечатление на Рисаля. Видимо, можно даже говорить об известном «созвучии душ»: Березовский не скрывает своих социалистических убеждений («только у социализма есть идеи»), оба они сходятся в том, что «несчастья» их стран в недостатке образования, на которое и Рисаль возлагает преувеличенные надежды; единодушны они и в осуждении колониализма (оба считают, что колонизаторы только стремятся «набить карман»). Но особенно интересно здесь упоминание о Л. Н. Толстом. Рисаль, воодушевленный беседами с Прайерами, лелеет план создания филиппинской колонии на Северном Борнео, которая мыслится им также и как духовное сообщество. Именно в это время в России популярны толстовские колонии, в которых живут люди, объединенные общими идеалами, живут трудом рук своих, отстраняясь от зла мира сего. И филиппинцам, страдающим от зла, особенно подвергающимся преследованиям каламбеньос, хорошо бы собраться вместе на Северном Борнео...

Михаил Михайлович Березовский (1848—5.IV.1912), исследователь Монголии, Тибета и Китая, подвергавшийся в свое время преследованиям за «социалистическую агитацию», отличается прогрессивными взглядами, изучает труды Кропоткина, глубоко интересуется вопросами этики. Он охотно беседует с любознательным и корректным в манерах попутчиком, рассказывает об опыте толстовских колоний. Рисаль внимательно слушает, изредка вставляет слово, задает дельные вопросы. Несомненно, опыт русских заслуживает изучения. Надо постараться применить его. 19 ноября 1891 года Рисаль и Березовский тепло прощаются в Гонконге и расстаются навсегда^[32].

Гонконг в 1891 году представляет собой любопытный феномен с точки зрения социальной и расовой стратификации. До договора 1898 года, когда британская колония расширится за счет так называемых «новых территорий» на материке и будет уступлена метрополии на «99 лет» (число, излюбленное колонизаторами), остается еще семь лет. Пока же Гонконг — только остров, и расти ему некуда, а жить вместе гордым бриттам и цветным невыносимо. Законодательным путем устанавливаются границы расселения по высоте: англичане не имеют права селиться на высоте менее 450 футов от уровня моря, китайцы не имеют права строить жилища выше отметки в 150 футов, полоса между ними — для португальцев, метисов, индийцев и прочих азиатов. Социальное и расовое расслоение предстает весьма наглядно. Рисаль с помощью Басы находит себе квартиру в промежутке между этими границами, на высоте 200 футов, на Реднакселатэрас. Улиц с домами по обеим сторонам в Гонконге почти нет, город расположен уступами, террасами, отсюда и «тэрас» вместо «стрит» (что до Реднакселатэрас, то, несомненно, какой-то затейник назвал ее по своему имени: слово Rednaxela, прочитанное с конца, дает Alexander, то есть Александр).

Рисаль уехал на Восток с мыслью найти свою смерть на родине. Однако морское путешествие и знакомство с Прайерами и Березовским примирили его с жизнью, открыли новые перспективы. Решено: он останется в Гонконге, но политической деятельностью заниматься не будет. С него хватит разочарований. Он приобретет практику как глазной хирург. Для начала он снимает приемную «в самом низу» — на уровне моря, в районе явно непрестижном. Судя по коротким часам приема (2 часа в день), он, видимо, делит приемную с другими врачами. Но он быстро находит себе пациентов, несколько удачных глазных операций приносят ему приличное вознаграждение, и уже через шесть недель он переносит свою приемную повыше. Слава о блестящем глазном хирурге облетает Гонконг, к

нему устремляется богатая публика, а самого его именуют не иначе как «испанский доктор» (напомним, что во время пребывания на Филиппинах его звали «немецким доктором»). Едут к нему пациенты и из соседних стран. Наконец-то Рисаль может взять на себя заботу о семье, которую, ему кажется, он так обременял в течение десяти лет.

По тайным каналам, через Басу, он уведомляет родителей, брата и сестер, что ждет их всех в Гонконге, Испанские власти на Филиппинах тоже не дремлют: как только генерал-губернатор узнал, что Рисаль возвращается на Восток, он тут же отдал приказ сослать Пасиано и зятя Рисаля Убальдо еще дальше — с острова Миндоро на остров Минданао. Но конец XIX века еще не знает жесткого паспортного режима, что до виз, то они появятся только после первой мировой войны. По получении приказа о своем переселении Пасиано и Убальдо немедленно скрываются, через несколько дней под чужими именами появляются в Маниле, без всяких хлопот приобретают себе и дону Франсиско билет на первый же пароход, и скоро все трое благополучно прибывают в Гонконг.

С женщинами дело обстоит сложнее. Одновременно с приказом о дальнейшей высылке Пасиано и Убальдо власти возбуждают против доньи Теодоры судебное дело и арестовывают ее. Причина ареста — чистейший вздор: ее обвиняют в том, что она называет себя Теодора Алонсо, а не Теодора Рисаль и тем якобы скрывает свою родственную связь с «опаснейшим флибустьером». Как уже говорилось, Рисаль единственный в семье носит эту фамилию и не совсем по праву. Но преследователям недоступна логика, снова, как и 20 лет назад (теперь уже в 64 года!), мать Рисаля четыре дня идет пешком под палящим солнцем, поддерживаемая под руки дочерьми. Тупой чиновник и на сей раз отказывается нанять лодку, хотя донья Теодора предлагает заплатить и за себя и за конвой. Города Санта-Крус она достигает в таком ужасном состоянии, что губернатор провинции приказывает тут же освободить ее, более того, дает разрешение покинуть колонию. И к рождеству (менее чем через полтора месяца после прибытия Рисаля в Гонконг) мать Рисаля вместе с дочерьми Люсией, Хосефиной и Тринидад присоединяется к мужу и сыновьям. Рисаль пишет гневное письмо лейтенанту гражданской гвардии, конвоировавшему донью Теодору, и излагает все, что он о нем думает, заканчивая письмо словами о том, что такое поведение недостойно даже дикарей.

Как бы то ни было, вся семья опять вместе — вроде бы ничто больше не грозит ей, главное обязательство Рисаля — спасти семью от несчастий — выполнено. «Теперь мы живем здесь все вместе, — пишет он

Блюментритту. — Мои родители, сестры, брат живут мирно, вдали от преследований, нас здесь не настигнут... Отец стал строже в суждениях и не хочет возвращаться на Филиппины. «Я хочу умереть здесь, я не хочу возвращаться домой, жизнь там невыносима», — говорит он. Из-за слепой ненависти монахов даже моя престарелая мать, которая всегда была такой набожной, сомневается в вере. Она говорит, что все ложь, что у монахов нет ни веры, ни религии. Она верит только в бога и в деву Марию, больше ни во что... Смотри, Испания, смотри, католицизм, — вот плоды твоей политики!»

Надобность в возвращении на Филиппины как будто отпадает — ведь Рисаль выполнил свой долг почтительного сына и младшего брата, что для филиппинца превыше всего. Но Рисаль уже не просто традиционно мыслящий филиппинец, у него есть высшие обязательства — перед родиной. Она рядом, она зовет его.

Пока же он с головой уходит в гонконгскую жизнь, через Басу расширяет круг знакомств. Особенно близко он сдружился с доктором Лоренсу Перейра Маркешом, своим соседом, личностью яркой и своеобразной. Вообще Рисаль редко сходится с заурядными людьми, он явно предпочитает людей необычных и даже сумасбродных. Эксцентричен Блюментритт, эксцентричен лондонец Рост, явно эксцентричен и Маркеш. Недовольный положением дел в монархической Португалии, он уехал в Дублин изучать медицину и стал республиканцем, а затем принял британское подданство и отправился в Гонконг, где работает судебным врачом, — ему, как «выскочке», закрыт доступ в высший свет Гонконга, состоящий из чистокровных англичан. Свое недовольство Маркеш изливает в не совсем обычных поступках, пламенных речах и столь же пламенных статьях, которые он печатает в газете «Гонконг Телеграф».

Ее издает еще более необычный человек, тоже ставший другом Рисаля, — Роберт Фрейзер-Смит, бесстрашный боец против всякой несправедливости, склонный в то же время к мелодраме и сенсационности, причем в погоне за ней он нередко переступает границы дозволенного. Однажды, полагая, что площадка для крикета, которой пользуется замкнутый клуб высокомерных англичан, расположена на земле, принадлежащей муниципалитету, он велел поставить там столик, обложился нужными книгами и спокойно готовил очередной номер газеты под открытым небом, пока полиция не препроводила его в узилище. Вся история газеты «Гонконг Телеграф» представляет собой непрерывную цепь судебных процессов по делам о диффамации; Фрейзера-Смита неизменно приговаривают к тюрьме или штрафу, а поскольку пребывание в тюрьме

обходится дешевле и способствует рекламе газеты, он упорно предпочитает отсидку. В Гонконге тех лет с полным основанием утверждают, что «Гонконг Телеграф» редактируется в тюремной камере, где температуру эксцентричному редактору измеряют столь же эксцентричный тюремный врач Маркеш. Рисаль близко сходится с обоими, и его статьи — главным образом о «деле Каламбы» и положении на Филиппинах — часто появляются на страницах знаменитой в то время газеты^[33].

Рисаль — частый гость в доме Басы, где собираются все филиппинцы. Верный своей привычке, Рисаль учит молодежь фехтованию и стрельбе: на крыше дома Басы он оборудует площадку для фехтования, а в подвале — тир. И неизменно поражает всех своей меткостью; как-то во время прогулки по морю он, почти не целясь, навскидку стреляет по бутылкам, кинутым в море, и по монетам, подброшенным в воздух. Ни одного промаха. «Каждый филиппинец, — не устает повторять Рисаль, — должен уметь постоять за свою честь». На детей Басы он производит столь глубокое впечатление, что они годы и даже десятилетия спустя с восторгом вспоминают о госте, посещавшем их дом. А Рикардо Баса (самый младший) расскажет и о том, как «дядя Пепе» учил их испанскому языку, а сам учился у них китайскому: придя в дом, он прежде всего выстраивал в шеренгу всех детей (а их у Басы десять!) и, обходя строй, каждому говорил слово по-испански и в ответ слышал то же слово по-китайски. И даже месяцы спустя помнил все китайские слова и воспроизводил их с правильным тоном, что так важно для овладения мудреным китайским языком. Младшие же Баса, к стыду своему, часто забывали испанские слова уже к следующему визиту гостя.

Бывают визитеры и у Рисаля. После Нового года неожиданно заходит монах-августинец, что-то вынюхивает, выпрашивает. Но в целом настроен благодушно и разговаривает с Рисалем, как положено разговаривать испанцу с «индейцем», на «ты», свысока, снисходительно, «по-отечески», а под конец беседы даже ласково треплет Рисаля за ухо. Человека с обостренным чувством собственного достоинства, обладающего безупречными манерами европейского джентльмена, такое поведение просто корбит. Но Рисаль сдерживается, однако, когда монах распускает руки, он тоже треплет бесцеремонного августинца за ухо, приговаривая: «Вы, падре, тоже этого заслуживаете». Разъяренный монах хочет вцепиться в Рисаля, но тот перехватывает кисть руки, выкручивает ее (ведь недаром же он тренируется каждый день), и изумленный монах падает на колени. «А вот этого, падре, вы никак не ожидали!» — говорит Рисаль и выставляет незваного гостя за дверь. Монах, несомненно лазутчик, строчит донос в

Манилу: «Флибустьер вконец распоясался, надо принимать меры». Вечером Рисаль с веселым видом рассказывает семье о случившемся, но у них рассказ вовсе не вызывает смеха: все же монах испанец, Пепе так неосторожен. Но все молчат: сейчас Пепе главный, он содержит семью, и все-таки...

Рисаль старается отвлечься от дум о родине, о недавнем разрыве в Мадриде. Днем этому помогает обширная практика, приносящая солидный доход и славу врача-чудотворца, вечера он старается отдать писательству. Но никак не может сосредоточиться: замыслы огромны, а вот реализация их оставляет желать лучшего.

Визит назойливого августинца обращает мысли Рисаля в другую сторону: он еще не вдоволь посмеялся над монахами, надо создать еще одну сатиру. Он лихорадочно пишет ее — и не заканчивает. Эта работа — вершина антицерковных, антимонашеских памфлетов Рисаля, начатых еще в 1884 году. Но если в ранних работах Рисаль вкладывал насмешки над религией в уста земных людей, то теперь главным действующим лицом становится сам бог-отец, комическое снижение которого дает неотразимый эффект: он выступает как добродушный и немного рассеянный старик.

«Прошли века, — пишет Рисаль, — с тех пор как бог-отец забросил дела нашего мира, поручив управление им святым и другим модным идолам, которых люди в своем безумии стали обожествлять. Он увлекся другими солнцами и планетами, побольше и получше наших». Спыхватившись, господь решил посмотреть, что же происходит на земле, и взор его упал на Филиппины. «Все там скакали и несли вздор, посвящая и прыжки и вздор ему, предвечному отцу... Предвечный отец решил, что он бредит. Он поправил очки и присмотрелся повнимательнее».

Призвав архангела Гавриила, бог-отец просит объяснить происходящее. Тот разъясняет, что такого поведения требует монах. Гавриил кратко излагает историю земли, и бог-отец возмущается захватом Филиппин Испанией и папами, правящими от его имени. Он выведен как забывчивый, во честный старик:

«... Так как ты их называешь?

— Монахи.

— А, ну да, монахи. Странное название. Не помню, когда я их создал».

Гавриилу надоедают расспросы, и он сваливает дальнейшие разъяснения на апостола Андрея, покровителя Манилы. Святой Андрей страшно пугается:

«— О боже, я здесь ни при чем. Я не виноват, я не хочу иметь дела с этими людьми, я честный святой, да и красноречием не отличаюсь. Я ведь

человек неученый. Пусть они оставят меня в покое, мне и так хватает забот.

— Но ведь ты покровитель Манилы?

— Нет, нет... то есть да... нет, отче... да, отец... я хочу сказать, да, конечно, но нет... нет».

Наконец кто-то предлагает выслушать самих филиппинцев, и мысль эта так понравилась богу-отцу, что он, не сдержавшись, восклицает по-французски: «A la bonne heure!» — «В добрый час!» Однако же филиппинцы несут такую чушь, что бог-отец только разевает рот. Он возмущается, что святой Петр пускает на небеса всякий сброд. Осерчав вконец, бог-отец велит гнать всех прочь, а Иисусу приказывает спуститься на землю и разобраться во всем, что там творится во имя его.

Иисус и Петр спускаются на землю. Здесь, как всегда у Рисаля, тон резко меняется, от сатиры он переходит к мелодраме — небесные посланцы скорбят при виде происходящего на земле. Они решают сначала побывать в Гонконге, чтобы подготовиться к путешествию на Филиппины. Иисус принимает облик филиппинца, Петр — китайца. Когда посланцы небес попросили у монахов ночлега, их, как людей безденежных, просто выставляют за дверь. Наконец они садятся на пароход и прибывают в Манилу, где опять-таки убеждаются в богатстве доминиканцев, хотя, говорит святой Петр, «если я правильно помню, Доминик уверял меня, что его последователи приняли обет бедности». На таможне у них отбирают деньги, Иисуса Христа обзывают реформатом, а найдя записи, которые он ведет для отчета богу-отцу, также и бунтовщиком и заключают в тюрьму. Святому Петру удается улизнуть — он и на сей раз предаст своего господина. На этом повествование обрывается, и каковы дальнейшие приключения Иисуса и Петра на Филиппинах, мы не знаем.

Это блестящее литературное произведение остается незавершенным — мешают дела с колонизацией Северного Борнео. Прайер обещал землю, Березовский рассказал, как на ней живут «по правде», — существуют же толстовские колонии в России! След Березовского затерялся, но с Прайерами он поддерживает оживленную переписку, и они настойчиво зовут его приехать и все увидеть самому. В марте он совершает короткую поездку в Сандакан — в то время небольшое селение с китайским базаром, с немногими деревянными домами для европейцев, а в остальном — свайные туземные хижины. Но земли богатые. Уильям Прайер предоставляет в его распоряжение несколько лодок, и Рисаль тщательно осматривает окрестности: здесь можно сразу же заложить дома, здесь придется корчевать джунгли, а здесь необходимо осушение.

Но возникают трудности юридического порядка: поселенцы должны

жить по британским законам, им не будет предоставлено особое законодательство, но свободы гарантируются в той же мере, как* и для других подданных: налоги одинаковы, воинской повинности нет. Вызывая немалое удивление Прайеров, Рисаль требует письменной гарантии, что филиппинцы не будут подвергаться дискриминации в области образования и даже что «им будет разрешено красить дома в любой цвет» (этот кажущийся нелогичным пункт объясняется тем, что испанцы на Филиппинах даже за разрешение выкрасить дом взимали особую плату). Пожимая плечами, Прайер пишет нелепые, с его точки зрения, бумаги.

Теперь надо получить подтверждение этих гарантий от британского губернатора Прайер всего лишь делец, только власти могут распоряжаться и землей и людьми. Но губернатор в отпуске, его замещает Александр Кук, к которому Рисаль и отправляется с официальным визитом. Изнывающий от жары чиновник, небрежно взглянув на листки, говорит, что все это чепуха, вещь само собой разумеющаяся, и тут же предлагает Рисалю 5 тысяч акров земли бесплатно, с освобождением от налогов на три года. Рисаль ошеломлен, но соглашается.

В тропиках с колонизаторами случается всякое — бывает, от жары (и виски) они перестают соображать и, стремясь укрыться в тени, где тянет ветерком, готовы дать любое обещание и подписать любые бумаги. Это, видимо, и происходит с Куком: он не может не знать, что по закону за каждый акр надо платить три доллара (вроде бы недорого, но за 5 тысяч акров это уже 15 тысяч, а Рисаль намерен получить несколько таких участков), не может не знать и того, что колониальный чиновник не имеет права подписывать соглашения с кем бы то ни было от имени британской короны без особых на то полномочий. Тут же получается так, что Рисаль вступает с ней в отношения чуть ли не на правах самостоятельного государства. Все бумаги подписаны, и Рисаль в прекрасном расположении духа уезжает в Гонконг.

Вернувшийся из отпуска губернатор тут же дезавуирует Кука, о чем Прайер уведомляет Рисаля. Тот огорчен, но не все потеряно — остается возможность договориться на иных условиях. Однако его решимость продолжать хлопоты заметно слабеет, он уже занят другими идеями, другими делами: он опять вступает в борьбу за «филиппинское дело».

Собственно, он был несколько наивен, когда рассчитывал отойти от борьбы: не может человек такого масштаба незаметно уйти в сторону. Его слишком хорошо знают, его ищут и в Европе и на Филиппинах — и без труда находят. Узнав о разрыве Рисаля с эмигрантами в Мадриде, комитет пропаганды в Маниле собирается на экстренное заседание. И тут

происходит раскол, но в большинстве остаются рисалисты: они создают новый комитет, который объявляет, что он безоговорочно на стороне Рисалья. Комитет собирает значительную сумму — 700 песо — и предлагает Рисалю субсидию в 100 песо в месяц при условии, что он учредит новую газету и будет редактировать ее. Рисалисты пишут ему из Манилы: «Мы оформились в вашу партию». Рисалю эти вести, несомненно, приятны — значит, он нужен, значит, у него есть верные сторонники, может быть, действительно не стоит самоустраняться?

Пишут ему и совершенно незнакомые люди. Некий Лоренсо Миклат, о котором Рисаль никогда не слышал, приветствует его «как незаметный сын страны и, следовательно, ваш брат». Миклат предлагает немедленную финансовую помощь «для патриотической работы», которую — Миклат в этом уверен — Рисаль должен возглавить. Таких писем немало. Пишут и соратники: Антонио Луна, брат художника и бывший соперник Рисалья безоговорочно встает на его сторону, объявляет себя сепаратистом, хотя и не призывает к свертыванию ассимиляционистской кампании: «Филиппинцы, — пишет он Рисалю, — должны организоваться по-новому, они должны быть готовы добиваться своих прав силой... не отказываясь, однако, от кампании в Мадриде... Пропаганда за ассимиляцию необходима, но сепаратистская пропаганда должна быть сильнее; собственно, уже сейчас надо искать людей, готовых сбросить ярмо». Для достижения этих целей Луна берется издавать новую газету и даже бороться с «Ла Солидаридад».

Рисаль и сам склоняется к решительным методам борьбы. В одном из писем (сохранилось лишь частично, но, судя по тому, что написано на тагальском языке, предназначается оно соотечественникам): «Не надо обманывать себя. Помочь делу мы можем только своей жизнью, в своей стране. Вся ошибка в том, что мы думаем, будто можно помочь ей издалека. Пора приблизить лекарство к больному. Поле битвы — Филиппины, и там мы должны сойтись». О том же он пишет Блюментритту: «Борьба теперь идет не в Мадриде». Блюментритт сразу делает вывод: если не в Мадриде, значит, на Филиппинах, а если на Филиппинах, значит, насильственными, революционными методами. Он тревожится за своего друга и дает совет: «Я хотел бы, чтобы печатались небольшие памфлеты на филиппинских языках, которые насаждали бы в массах человеческое достоинство, вселяли бы в них любовь к своему народу, к свободе, к образованию». Не так давно Рисаль и сам стремился к чему-то подобному. Но сейчас он уже мыслит по-другому. Как уже не раз бывало, он не принимает совета своего австрийского друга. «Даже если бы все газеты, — отвечает он, — если бы

вся литература кричала о наших правах, то и тогда, мне кажется, это было бы впустую. Я обращаю взор в другую сторону. Чего мы добились кампанией «Ла Солидаридад», кроме вейлериады (то есть бесчинств генерал-губернатора Бейлера. — *И. П.*) и трагедии Каламбы? Мне кажется, что споры с правительством — пустая трата времени».

Куда же Рисаль «обращает взор»? Безусловно, на Филиппины, но думает он не о «маленьких памфлетах», которыми призывает ограничиться Блюментритт, а о создании новой организации. Называется она «Филиппинская лига». Устав Лиги Рисаль написал еще в конце 1891 года, а в январе 1892 года печатает его и отправляет в Манилу видным деятелям пропаганды, прежде всего — рисалистам из реорганизованного комитета. Цели Лиги таковы:

1. Объединение всего архипелага в сплоченное, мощное, единое целое.
2. Взаимная помощь в беде и нужде.
3. Защита против насилия и справедливости.
4. Развитие образования, сельского хозяйства и торговли.
5. Изучение и проведение реформ.

Казалось бы, куда умереннее? Но для достижения этих целей Рисаль намерен создать тайную организацию, охватывающую всю страну. Иерархическая сеть советов (народные советы подчинялись провинциальным, провинциальные — Верховному) должна стать структурой политической организации, основанной отчасти на масонских принципах. Каждый член Лиги должен: 2) слепо и беспрекословно выполнять все приказы главы совета; 3) сообщать фискалу своего совета обо всем, что он увидит или услышит, имеющем отношение к «Филиппинской лиге»; 4) хранить в строгой тайне все решения совета... 7) при вступлении в Лигу каждый должен принимать кличку». Требования устава явно не столь невинны, как цели Лиги.

Лига, разверни она свою деятельность, могла бы превратиться в организацию типа политической партии, и партия эта сыграла бы важную роль в росте политического сознания масс, в конечном счете — не исключено — в завоевании независимости. Но как раз этого и не происходит, о чем ниже.

Есть на ней и отпечаток масонства, как и на всем движении пропаганды. Филиппинские иллюстрадо, да и рядовые филиппинцы, питают к нему явное пристрастие. Одна из причин этого — склонность к театральности, карнавалу: филиппинцам чрезвычайно импонируют внешние атрибуты масонства — знаки, символы, клички, тайные сборища лож. В 1890 году создается филиппинская ложа «Ла Солидаридад» (в нее

входит и Рисаль) — ответвление испанской ложи «Гран Ориенте Эспаньолы», существующей по сей день и по сей день тесно связанной с филиппинскими масонами.

Сам Рисаль не придает масонству особого значения. Главное для него — борьба за дело Филиппин; если масонство может помочь в этой борьбе, он готов допустить его, но при условии подчинения интересам борьбы. Рисаль вступил в масоны давно, скорее всего еще в 1883 году, во время первой поездки в Париж. По ступеням посвящения он восходит крайне медленно и поднимается всего до третьей ступени, тогда как его соратники достигают тридцать третьей ступени. Свою масонскую кличку Димасаланг он использует как один из псевдонимов.

Уже в 1892 году Рисаль считает, что масонство скорее препятствует борьбе филиппинцев за освобождение, чем способствует ей, и высказывается прямо против масонства. Дель Пилар в одном из писем перечисляет свои разногласия с Рисалем, но указывает, что сходится с ним в одном: «Масонство на полуострове (то есть в Испании. — *И. П.*) для нас есть средство пропаганды. Но если масоны там (на Филиппинах. — *И. П.*) пытаются превратить масонство в орудие для достижения наших идеалов, они очень ошибаются. Нужна особая организация, посвященная филиппинскому делу, хотя некоторые из ее членов могут быть масонами, важно, чтобы она не зависела от масонства. Кажется, именно это пытается осуществить Ф. Л.». «Ф. Л.» — это, несомненно, «Филиппинская лига». Итак, даже противник Рисаля признает, что Лига — не масонская организация, хотя налет масонства на ней есть.

Положительные отзывы о пока еще не созданной Лиге (есть устав, но нет организации) побуждают Рисаля пересмотреть свое отношение к газете «Ла Солидаридад», и он подумывает о возобновлении сотрудничества с ней, хотя незадолго перед этим клятвенно уверял, что не напишет в газету ни строчки. Теперь же он решает поместить в ней статью о столь лелеемом им проекте колонизации Северного Борнео.

Но он так и не посылает уже готовый материал, потому что за несколько дней до отплытия почтового парохода получает от Басы очередной номер газеты, в которой он когда-то столь активно сотрудничал. Он и сейчас с меланхоличной грустью тщательно прочитывает каждый номер от корки до корки. И на первой же странице своей газеты видит статью «Трехгрошовые спасители». Он начинает читать и меняется в лице. Статья эта дает наглядное представление о нравах филиппинской эмиграции и о приемах борьбы за руководство.

Действие ее происходит в мифическом городе Вильяилуса, то есть в

Городе иллюзий, население которого страдает от Дурного правления.

«И был среди них некто, более отважный, чем все прочие, который, поверив, что он призван богом, с великими трудами утвердил себя учителем и, возвысив голос и помазав себя наподобие апостола из Евангелия, так обратился к угнетенному народу, вещая почти апокалипсически:

— Да знаете ли вы, что жалобы — удел слабых? Да как вы можете и дальше терпеть рабство, унижающее вас?.. Вот я даю вам скрижали Закона, вот ваши права: «Не хотим, чтобы вы правили нами!» Вот ваш боевой клич против власть имущих! К оружию! К борьбе! К смерти!

Так он вещал и, сойдя с подмостков, служивших ему рострами, стал в позу трагического отчуждения, скрестив руки на груди на манер Наполеона.

— Но, прекрасный сеньор, — попытался возразить какой-то бродяга, похожий на страдающего похмельем философа, — что толку в скрижалях, если народ их не понимает и если, помимо того, у нас нет хотя бы одного плохонького мушкета?

— Что ты там бормочешь, несчастный? Какие могут быть возражения? Деньги? В них нет нужды. Сердце и меч — вот в чем секрет. Какой ты патриот? Пресса? Написано уже достаточно, больше нечего ждать ни от губернатора, ни от алькальда, ни от священника. Понял? А я разве мало делаю, произнося речи и ведя вас к битве? Сам-то я сражаться не буду, ибо жизнь моя священна, а миссия возвышенна. А когда вы победите, я, так и быть, возьму на себя труд управлять вами, а между декретами буду потчевать вас песнями и гимнами победы или романтическими и героическими историями. Нужны средства? Они упадут с неба, которое всегда благоволит правому делу, а нет — затяните потуже пояса. Оружие? Купите его. Военная организация? Создайте ее. Корабли? Доберетесь вплавь... Одежда? Ходите голыми. Врачи? Умирайте так, ибо этого требует патриотизм.

— А потом? — воскликнул кто-то воспламенявшийся с каждым его словом.

— Потом — я! (величественно)».

Вдохновленные речью сумасшедшего пророка, его сторонники пытаются захватить город с кличами: «Смерть тиранам! Да здравствует революция!! Да здравствует Илусо Первый (т. е. Визионер. — *И. П.*)!»! Но правитель велел разогнать «сброд», что и было сделано без труда. Часть повстанцев отправили на эшафот, часть в ссылку, и все оправдывались тем, что они только повторяли слова Илусо Первого, «нашего спасителя».

«— Так где же этот сеньор? — спросил правитель.

Но Илусо так и не появился. Он был далеко и горько оплакивал несчастья родины. Ведь он уже доказал свой патриотизм речами!»

Кто такой Илусо Первый — ясно всем, прежде всего самому Рисалю. Издеваются над ним, и обвинения тяжелые: это он страдает манией величия, это он отсиживается в безопасном Гонконге, посылая соотечественников на верную смерть. И вся его деятельность — пустая болтовня, но с кровавыми последствиями. Издеваются даже над его сочинениями: он собирается потчевать будущих подданных «песнями и гимнами», да и весь его патриотизм — всего лишь «поэзия, упражнения в изящной словесности».

Противники стараются ударить побольнее, и это им удастся — вспомним, что говорил сам Рисаль о чувствительности филиппинцев. От таких обвинений нельзя просто отмахнуться, они задевают его за живое, и он чувствует, что обязан делом доказать неправоту злопыхателей. Литературная работа заброшена, проект колонизации Северного Борнео забыт. Надо ехать на Филиппины и там принять смерть за свои убеждения. Удар, нанесенный ассимиляционистами, не оставляет ему выбора: руководить Лигой из Гонконга — значит подтвердить их обвинения. Пусть семья, ради спасения которой, как говорил ранее Рисаль, он собирался вернуться на Филиппины, уже вне опасности, пусть родственникам ничто не грозит, остаются Филиппины, его родина, за которую надо умереть и тем смыть грязь со своего имени.

Мысль о необходимости принести себя в жертву не оставляет его на протяжении всех семи месяцев пребывания в Гонконге. Он ни с кем не делится ею — все равно никто не поймет. Разумных доводов вроде нет: семья с ним, доходы растут, полное благополучие. Он и сам временами гонит эту мысль, он совершенно искренен, когда пишет Блюментритту, что устал, отказался от борьбы и хочет жить «если не счастливым, то умиротворенным». Но наряду с этим мысль о возвращении на Филиппины не то чтобы зреет — она созрела давно, — а как бы овладевает всем его существом и временами превращается в навязчивую идею. С нею он не делится ни с кем — разве что с генерал-губернатором Филиппин. Ни слова не говоря родным, он пишет ему несколько писем. Первое датировано 23 декабря 1891 года, когда семья только воссоединилась в Гонконге и слышать не хочет о Филиппинах. Рисаль обращается к новому генерал-губернатору Эулохио Деспухолу со следующими словами: «Я тоже, ваше высокопревосходительство, стремлюсь к благу страны и готов пожертвовать для нее и прошлым и будущим, что я, собственно говоря, уже

сделал (намек на отказ от политической борьбы. — *И. П.*), но не оставил надежд и упований, ибо я верю в справедливость ее (страны. — *И. П.*) дела. Заслуженно или нет, но меня поставили во главе прогрессивного движения на Филиппинах и приписывают мне определенное влияние на него. Если ваше высокопревосходительство полагает, что мои скромные услуги могут быть полезны для вызволения страны из несчастий, для исцеления нанесенных ран и исправления недавних несправедливостей, то вашему высокопревосходительству стоит только сказать, и, полагаясь на ваше слово кабальеро, что мои права не будут ущемлены, я немедленно предоставлю себя в ваше распоряжение...».

Рисаль, как видим, все же не оставляет надежды на «разумную политику» Испании. Отметим также уверенный тон письма. Он знает себе цену и отчетливо сознает, что стоит во главе «прогрессивного движения». Раньше такой тон для него был немыслим, раньше он постоянно подчеркивал собственную незначительность, теперь же отбрасывает риторические ухищрения, необходимые по правилам испанской и филиппинской элоквенции. «Их высокопревосходительство» не удостоивает Рисаля ответом и не дает ему «слова кабальеро», как будет утверждать позднее Деспухоль, он считает, что Рисаль просит официального разрешения на возвращение для свержения режима. Граф Каспе, он же генерал-лейтенант Деспухоль, глубоко не прав — честность Рисаля всегда выше всяких подозрений.

Но как раз в это время на архипелаг начинают поступать первые экземпляры «Мятежа». Осторожный Баса, понаторевший в засылке на Филиппины нелегальной литературы, направляет их не через Манилу, а через провинциальные порты. Но и власти настороже: через монахов в Гонконге они осведомлены о деятельности Рисаля и Басы, и им удается захватить большую партию книг. Результат: цена за экземпляр второго романа подскакивает до 400 песет. Граф Каспе чуть ли не ежедневно получает доклады о подрывной деятельности рисалистов в колонии.

Не получив ответа на первое письмо, Рисаль перед отъездом в Сандакан шлет второе. Рисаль с достоинством повторяет сказанные в первом письме слова о том, что он стоит во главе прогрессивного движения на Филиппинах. Если же, заключает он, генерал-губернатор не желает иметь с ним дела, то тогда пусть он разрешит филиппинцам эмигрировать на Северный Борнео. И снова: просьба о гарантии личной безопасности, о «слове кабальеро» — тогда Рисаль готов немедленно прибыть в Манилу и обсудить все дела с главой колониальных властей лично.

И на сей раз ответа нет, но когда Рисаль возвращается из Сандакана,

его приглашает к себе испанский консул в Гонконге. Его высокопревосходительство получил письма сеньора Рисаля — и поручил консулу сообщить, что он не одобряет проект колонизации Северного Борнео. Это так непатриотично — уезжать из страны, где много неосвоенных земель. «Любой филиппинец, — говорит консул, — может трудиться для процветания страны где угодно на самих Филиппинах». Опытный дипломат не уточняет, говорит ли он в данном случае от своего имени или от имени «его превосходительства». Если принять вторую версию, то ведь эти слова можно истолковать как косвенное разрешение Рисалю вернуться на родину, но твердой гарантии прав, «слова кабальеро» Рисаль так и не получает.

Переписка с генерал-губернатором идет параллельно с созданием Лиги, с хлопотами по освоению Северного Борнео. Злосчастная статья разом лишает Рисаля возможности заняться каким бы то ни было делом, она оставляет ему один путь — на родину. Причем он отлично сознает, что его ждет опасность, может быть, даже смерть. Доказательство этому — два письма от 20 июня 1892 года, сразу после празднования своего дня рождения. Первое письмо адресовано родителям, брату, сестрам, друзьям. В нем он пишет: «Любовь, которую я испытываю к вам, продиктовала этот шаг, и только будущее покажет, разумен ли он... Я знаю, что заставил вас много страдать, но я не раскаиваюсь в содеянном, и если бы мне пришлось начать сначала, я сделал бы то же самое, потому что таков мой долг. Я уезжаю с радостью, — чтобы подвергнуть себя опасности... Я рискую жизнью, чтобы спасти столько невинных... Кто я такой?

Одинокий человек без своей семьи, разочаровавшийся в жизни. Много раз я ошибался, и будущее мое мрачно, если оно не озарится светом, зарей моей родины. А между тем есть много существ, полных надежд, и, может быть, с моей смертью все они станут счастливыми».

Напомним, что адресаты письма живут с ним в одном доме, но не им передает он конверт, а своему португальскому другу Маркешу. Ему же он оставляет второе письмо, адресованное филиппинцам. В нем он пишет: «Шаг, который я предпринимаю, несомненно, опасен, и нет нужды говорить, что я долго его обдумывал. Я знаю, почти все против него, но я знаю и то, чего почти никто не знает, — что происходит в моем сердце... Если я умру, многие будут торжествовать, так как ждут моей гибели. Но что делать? Долг совести для меня превыше всего... Кроме того, я хочу показать тем, кто отказывает нам в патриотизме, что мы умеем умирать за наше дело и наши убеждения. Что значит смерть, если умираешь за родину и за тех, кого обожаешь?»

На другой день, 21 июня 1892 года, Рисаль пишет третье письмо Деспухолу. Он уже не требует никаких гарантий, а сообщает, что плывет на Филиппины на том же судне, которое везет это письмо. «Друзья и посторонние, — обращается он к генерал-губернатору, — пытались отговорить меня от этого шага, указывая на опасности, которым я подвергаю себя, но я верю в справедливость вашего высокопревосходительства, который защищает всех испанских подданных на Филиппинах, в справедливость моего дела, в чистоту моей совести...»

Для семьи решение Рисаля — тяжелейший удар. Но он непоколебим. Когда он считает нужным, он идет даже против воли родителей. Жертвенность его натуры, желание показать пример соотечественникам и тем отвести упреки, высказанные в злосчастной статье, делают его возвращение на Филиппины неизбежным. Поняв, что сына и брата не переубедишь, семья принимает его волеизъявление как волю Божию — пусть едет. Но пустить его одного нельзя, и на семейном совете решено, что его будет сопровождать сестра Люсия — она одна не подвергалась преследованиям властей, остальным появляться в Маниле опасно. 21 июня 1892 года Рисаль и Люсия садятся на пароход и в полдень 26 июня прибывают в Манильский порт. Мысли Рисаля настолько заняты предстоящей на родине встречей, что он впервые не ведет дневника во время путешествия.

*

А встреча ему уготована если не торжественная, то внушительная. В 1887 году его приезд прошел незамеченным, теперь же, пишет он, «меня встречали много карабинеров во главе с майором. Кроме того, там были капитан и сержант гражданской гвардии». Пассажиры сходят на берег, Рисаль беседует со встречающими, а тем временем в другом помещении таможенники досматривают багаж. Досмотром руководит юркий молодой человек, который оказывается не кем иным, как племянником архиепископа, сам же архиепископ давно досаждал генерал-губернатору требованиями не пускать в страну «флибустьера», если же тот осмелится появиться — немедленно расправиться с ним. Ему, как и всем церковникам, крайне нужны доказательства подрывной деятельности Рисаля. Что же удивительного в том, что в подушке и в тюфяке Люсии юркий молодой человек находит листовки под названием «Бедные монахи»? Ни у кого не вызывает сомнений, что их подсунули Люсии. Путешественникам же пока

ничего не сообщают. Получив багаж, Рисаль и Люсия отправляются в отель «Ориенте», а оттуда Рисаль, даже не переодевшись, спешит в Малаканьянг, дворец генерал-губернатора. Тот велит передать через адъютанта, чтобы Рисаль зашел попозже. Вежливый гость почтительно приподнимает котелок и покидает дворец.

Между тем весть о возвращении на родину Рисаля, борца за свободу, доктора-чудотворца, а для многих верующих даже мессии, успела облететь всю Манилу, и у ворот дворца его встречает гудящая толпа. Больные жаждут немедленного исцеления, борцы за свободу ждут немедленных указаний, фанатики стараются поцеловать его руку или полы одежды. Он несколько сбит с толку, всем больным советует принимать шотландскую эмульсию, Людям, спрашивающим о судьбах страны, обещает дать ответ в свое время, что до ловающих полы его одежды, то тут он в полном недоумении: ведь он всегда выступал против суеверий, против сотворения кумиров! И вдруг сам ощутил себя таким кумиром. Стараясь освободиться, Рисаль ускоряет шаг, возбужденная толпа бежит за ним. Встречные монахи недоуменно спрашивают, в чем дело, а узнав, сокрушенно качают головами: «Какой дикий фанатизм! Какое ужасное заблуждение! И как легко эти индейцы уклоняются с пути истины! И сколь, должно быть, опасен этот флибустьер! Нет, этому решительно надо положить конец — любой ценой!»

Рисаль укрывается в доме своей сестры Нарсисы (это ее сын Леонсио расскажет потом о том, как встречали филиппинцы его дядю), а вечером, в семь часов, снова появляется во дворце генерал-губернатора. Монахи уже донесли Деспухолью о восторженном приеме, оказанном Рисалю, и требуют немедленно арестовать его: ведь у генерал-губернатора достаточно власти. Но Деспухоль, хоть он отнюдь не симпатизирует Рисалю, не любит, когда на него оказывают столь явное давление. Вот иезуиты обещали кое-что придумать, так что надо подождать и посмотреть, что же предпримет этот «флибустьер». Не ему, испанскому кабальеро и генералу, бояться какого-то индейца, монахи явно преувеличивают. Правда, игнорировать их тоже нельзя. В общем, посмотрим.

Деспухоль удостоивает Рисаля краткой аудиенции, милостиво дарует прощение его отцу и Пасиано, но пока, увы, он не может помиловать сестер. Пусть сеньор Рисаль посетит его через три дня, в среду, — тогда поговорим и об этом. Генерал-губернатор отпускает гостя и тут же отдает приказ полицейской службе немедленно установить тщательную слежку за Рисалем.

На следующий день рано утром Рисаль отправляется в короткую

поездку по острову Лусон. Он едет по той самой железной дороге, которую построил муж его возлюбленной, Леонор. Горькие мысли одолевают его, но на первой же остановке, в городе Малолосе, они рассеиваются. Ибо и здесь гремит его слава, все ждут, что он исцелит, уврачует раны и, конечно же, покончит с владычеством Испании. В первом же доме некий пожилой филиппинец, не зная, что говорит с Рисалем, неясно вещает о возвращении в страну «великого героя и освободителя». Рисаль вынужден назвать себя. Когда говоривший почтенный филиппинец убеждается, что перед ним действительно Хосе Рисаль, он молча подносит его руку ко лбу. Это не фанатизм, это традиционное филиппинское признание старшинства.

Здесь не то, что в эмиграции, здесь все считают его вождем. Но готов ли он к этой роли? Ведь он приехал за смертью, а тут требуют вести филиппинцев на борьбу. Еще совсем недавно он говорил в Генте Хосе Алехандрино: «Я никогда не встану во главе революции... ибо не хочу отягощать свою совесть бесполезным и жестоким кровопролитием; но кто бы ни возглавил революцию на Филиппинах, я буду рядом с ним». Потом он отказался от борьбы, затем, в Гонконге, принял было решение снова вступить в нее, но та статья отбила у него всякую охоту.

Объехав три провинции, Рисаль убеждается, что от него ждут практических действий. Он возвращается в Манилу, и в среду, 29 июня, как и было условлено, предстает перед генерал-губернатором. На сей раз их беседа продолжается полтора часа: увлекшись, Рисаль излагает свои взгляды на будущее Филиппин. Генерал внимательно слушает, изредка сам вставляет слово. Рисаль без всякого почтения говорит о монахах, но генерал и сам их недолюбливает, монахи считают его чуть ли не врагом. Правда, это не означает, что генерал симпатизирует филиппинцам вообще и вот этому европеизированному «индейцу» в частности. Все-таки он, пожалуй, неудобная фигура. Из-за него не стоит обострять и без того натянутые отношения с монахами. Да, они в чем-то и правы: слишком уж он смел, слишком уж льнут к нему туземцы. Ладно, послушаем его еще раз. Генерал дает понять, что разговор близится к концу. Нет, он пока не может даровать помилование сестрам («Завтра еще поговорим об этом — будьте здесь в семь часов тридцать минут»).

Назавтра речь идет о Борнео: генерал решительно против выезда филиппинцев из страны — это ведь означает, что правительство не в состоянии управлять колонией. Впрочем, об этом побеседуем через два дня, в воскресенье. В воскресенье, 2 июля, они беседуют, как пишет Рисаль, «о разных разностях». Деспухоль спрашивает, не думает ли сеньор Рисаль снова вернуться в Гонконг. Да, сеньор Рисаль склонен вернуться.

Генерал просит снова пожаловать к нему в среду, 5 июля, и под конец беседы сообщает, что решил даровать прощение также и сестрам Рисаля.

Удивительна эта серия встреч Рисаля с генерал-губернатором Деспухолем, графом Каспе. Сановник словно прощупывает своего собеседника, заставляет его высказаться, сам же говорит мало. Разъяренные монахи, и в первую очередь сам архиепископ Носаледа, требуют от него немедленной расправы с «главным врагом Испании». В тюрьму его, под суд, расстрелять! Иезуиты, которым генерал доверяет больше, советуют действовать осторожнее — лучше всего отгородить его от мира, попробовать «образумить» заблуждающегося доктора. Генерал отлично понимает, какой блестящий эффект это произвело бы в Мадриде. Но за что сослать? Пока, судя по донесениям полиции, этот «индеец» ведет себя прилично, а граф любит думать о себе как о человеке порядочном. Надо подождать — именно поэтому он назначает одно свидание за другим.

И на следующий день судьба идет навстречу генералу. Вечером в понедельник Рисаль присутствует на собрании в доме некоего Доротео Онхунгко. Собирается человек тридцать — те, кто отличается прогрессивными взглядами, кто думает о лучшем будущем страны, кто встал на сторону Рисаля и организовал новый комитет пропаганды. Люди видные: юристы, бизнесмены, интеллектуалы. Но есть и представитель низов — Андрес Бонифасио, который давно чтит Рисаля как вождя филиппинцев, не расстается с его романами. Есть тут и осведомители.

Рисаль произносит речь. В ней он как бы отвечает на призывы повести филиппинцев на борьбу. Взвешенно, спокойно он анализирует положение дел. Кампания пропаганды в Мадриде исчерпала себя, она не в состоянии предотвратить бесчинства властей, не в состоянии покончить с всевластием монахов. Освобождение должно прийти не извне, а из самой страны, отсюда. Центр тяжести перемещается из Мадрида в Манилу. Филиппинцы должны бороться против несправедливостей здесь же, на самих Филиппинах. Лучший инструмент борьбы — организация. Он предлагает создать «Филиппинскую лигу». Многие из присутствующих уже знакомы с программой и уставом. Согласны ли они принять их и тут же, на месте, избрать руководство? Под почти единодушное одобрение всех присутствующих программа и устав принимаются, избирается руководство во главе с доктором Хосе Рисалем. И только восторженный поклонник Рисаля, Андрес Бонифасио, несколько недоумевает: опять мирная организация, опять всего лишь пропаганда, пусть на сей раз и на Филиппинах? А когда же братья за оружие? Но пока он скрывает свое недоумение и молчит.

Но не молчат осведомители — во дворец спешно летит донос об имевшем место собрании. Генерал-губернатор, ознакомившись с донесением, удовлетворенно кивает: это уже кое-что, Рисаль раскрывает свои намерения. Правда, дело не бог весть какое серьезное, цель Лиги — объединение, экономическое процветание, распространение образования. Но все же создание организации с таким уставом есть явное покушение на прерогативы власти.

А между тем и на следующий день Рисаль снова на собрании, куда приглашают тех, кто не сумел прибыть накануне. Рисаль повторяет свое выступление, все присутствующие тут же вступают в Лигу. Генерал-губернатору доносят и об этой встрече. И тогда он отдает приказание утром одновременно произвести обыск во всех домах, которые посетил Рисаль, — как в столице, так и в провинции. Во время обысков изымаются романы «Злокачественная опухоль» и «Мятеж», антимонашеские листовки, в их числе и «Бедные монахи». Тут уже можно говорить о целой подпольной сети, созданной Рисалем за короткое время. И только сейчас на стол генерал-губернатора кладут сообщение из таможни об изъятии у Рисаля листовки «Бедные монахи». Вот теперь все на месте.

В среду, как условлено, Рисаль вновь появляется во дворце. Он уже знает об обысках и готов к худшему. Генерал-лейтенант теперь может опираться на факты, в частности на изъятые в таможне листовки. Странно, правда, что об этом доложили не сразу, ну да ничего. Однако начинает генерал-губернатор совсем с другого. По-прежнему ли сеньор Рисаль намерен вернуться в Гонконг? Да, он не оставил этого намерения. Значит, приехал он сюда только для создания подрывной организации, которой намерен руководить издали, решает генерал, и только теперь ледяным тоном заводит речь о листовках. Рисаль категорически отрицает сам факт провоза листовок. «А кому принадлежат подушка и тюфяк?» — неожиданно спрашивает генерал. «Моей сестре, Люсии», — недоуменно отвечает Рисаль.

Вот оно — то, чего ищет Деспухоль. Он все время испытывает неудовлетворенность. Будучи, он убежден, человеком порядочным, ему приходится поступать непорядочно по отношению к Рисалю. В таких случаях подсознательно человек ищет «темные пятна» у своей жертвы (впоследствии фрейдисты назовут этот защитный механизм проецированием: проецированием на жертву вины палача). Рисаль пытается свалить вину на сестру, беззащитную девушку! Да он не достоин никакого снисхождения, ему нельзя давать пощады! Чело генерала светлеет, он обретает полную уверенность в себе. Отстранившись

внутренне от своей жертвы, генерал без всякого волнения объявляет, что вынужден заключить сеньора Рисаля в форт Сантьяго. Не давая Рисалю сказать слова, он вызывает стражу, и Рисаля ведут в крепость.

Деспухоль находит то, чего так долго искал, — в таких случаях всегда находят. Ему нужен предлог, оправдание самого себя. Рисаль, рыцарь в подлинном смысле этого слова, до конца дней своих не забудет этого оскорбления: его посмели заподозрить в том, что он пытается свалить вину на женщину, свою сестру! Это оскорбление прозвучит публично, в декрете о ссылке, где будет сказано: «Он тщетно пытался отрицать свое преступление и напрасно старался свалить вину на собственную сестру». В дневнике Рисаль оставляет лишь несколько строк, описывающих его встречу с генерал-губернатором: «Он сказал, что у меня в багаже были листовки. Я сказал — нет. Он спросил, кому принадлежат тюфяк и подушка. Я сказал — сестре. Тогда он сказал, что отправит меня в форт Сантьяго».

В форте Рисаля тщательно стерегут. «Охрана, — пишет он, — получила приказ стрелять во всякого, кто попытается подать мне сигнал с берега. Мне запретили писать, разговаривать я мог только с начальником караула».

Через день в манильских газетах публикуется декрет о высылке Рисаля, но место ссылки предусмотрительно не указывается. Характерно, что в декрете нет ни слова ни о Лиге, ни об ее уставе и программе. В нем говорится о листовках (причем подчеркивается не столько их антиколониальный, сколько антипапский характер), затем Рисаль обвиняется в написании романа, «посвященного памяти трех предателей нации (то есть Испании. — *И. П.*)», в попытках подорвать католическую веру, «что равносильно лишению филиппинской земли национальной сущности, ибо она всегда будет испанской и, следовательно, католической». «Теперь, — гласит в заключение декрет, — можно считать неопровержимо доказанным, что цель его работ и писаний — вырвать из груди лояльных филиппинцев бесценное сокровище — нашу святую католическую веру, этот нерушимый краеугольный камень национального единства в сей земле».

«Ла Солидарidad», надо отдать ей справедливость, сразу встала на защиту Рисаля, несмотря на разрыв с ним. Газета пишет, что, хотя законы Испании и ее уголовный кодекс признают за католичеством «религиозное превосходство», все же они провозглашают уважение и к другим верованиям, и нельзя ссылать и вообще преследовать человека только за то, что он «плохой католик». Испанская печать в целом возмущена ссылкой.

«Эль Глобо» пишет, что Рисаль сослан в угоду монахам, и даже такая консервативная газета, как «Ла Корреспонденсия Милитар», считает декрет «инквизиторским», а газета «Эль Пайс» называет Деспухоля «генералом доминиканцев». Но все это возмущение не имеет никаких практических результатов.

Однако на самих Филиппинах ссылка Рисаля тут же дает одно очень важное практическое последствие. Седьмого июля, в день, когда публикуется декрет о ссылке Рисаля, Андрес Бонифасио собирает группу своих сторонников, которые учреждают новое — на этот раз революционное — тайное общество под названием Катипунан, что по-тагальски означает «союз». Всего за четыре дня до того Бонифасио присутствовал при создании несостоявшейся «Филиппинской лиги» и счел эту организацию слишком умеренной. Ссылка Рисаля показывает ему, что надо переходить к решительным, революционным действиям, и действия эти призван возглавить и осуществить Катипунан, цель которого — вооруженное восстание против испанцев. Катипунан вдохновляется идеями Рисаля, но сам он ничего не знает о нем. Впоследствии судьи будут утверждать, что Лига и Катипунан — одна и та же организация (полагая, что слово «катипунан» есть всего лишь перевод слова «лига» на тагальский язык), а Рисаль — ее основатель и бессменный руководитель. Но до той поры пройдет четыре томительных года ссылки.

Решение о ней принимается не сразу. Со времени заключения Рисаля в крепость до его отправки проходит девять дней. Монахи, особенно августинцы, считают ссылку слишком мягкой мерой наказания, они вообще предпочли бы видеть Рисаля мертвым. Дело не только в том, что Рисаль показал их подлинное лицо, он еще и жестоко высмеял их. Никто не смел подвергнуть их осмеянию, Рисаль же «урезал их до абсурда», и они испытывают бессильную ярость. Не расположенный к августинцам, доминиканцам и францисканцам, Деспухоль куда охотнее прислушивается к иезуитам. Их глава на Филиппинах, «провинциал» Пабло Пастельс, в свое время был учителем Рисаля, и именно о нем в юные годы Пепе писал: «Мой лучший друг, самый выдающийся из миссионеров-иезуитов». Пастельс знает, что в отрочестве Рисаль был искренне религиозен, и надеется возродить былые чувства. Правда, Пепе сильно переменялся, явно порвал с церковью и даже иезуитов осмелился поместить «позади телеги прогресса», но кто знает, может быть, брошенные некогда семена еще дадут всходы, если создать «благоприятные условия». Скажем, изолировать отступника от внешнего мира, окружить его «достойными людьми», то есть опять же иезуитами. Какой это будет триумф для церкви и, что

немаловажно, для ордена! Иезуиты всегда не прочь показать другим орденам их никчемность. Только они, иезуиты, достаточно дальновидны, только они — надежная опора святейшего престола. Кто знает, может быть, Пепе не только отречется от заблуждения, но и поставит свой талант на службу католицизму. Тогда — полное торжество.

Все эти соображения Пабло Пастельс излагает Деспухолу, и тот заинтересованно внимает ему: если план иезуитов осуществится, тогда и он предстанет в Мадриде в чрезвычайно выгодном свете. Да и поставить на место монахов других орденов тоже неплохо — уж очень много доносов на него шлют они в Мадрид. И решение принимается: Рисаль будет сослан на остров Минданао в Дапитан, где приходами управляют иезуиты. Место это беспокойное, поэтому власть там осуществляют не гражданские лица, а военные, которыми руководит команданте Дапитана Рикардо Карнисеро. При военном правлении оправданы любые ограничения, налагаемые на ссыльного: он будет лишен права покидать места проживания, будет обязан два раза в день отмечаться у команданте. Остальным займутся иезуиты.

Тем временем Рисаль томится в форте. Впрочем, условия довольно сносные, к нему для прислуги даже приставляют солдата. 14 июля его уведомляют, что в 10 часов вечера он будет депортирован, но пока не сообщают куда. В десять никто не приходит, и Рисаль спокойно засыпает — это свидетельствует о том, что он обрел спокойствие духа. Только в начале первого адъютант генерал-губернатора прибывает в карете своего начальника. Под усиленным конвоем карета направляется в порт. Там ее ждет генерал Аумада, начальник манильского гарнизона. Адъютант и два стражника прыгают в лодку, туда же спускается Рисаль. Несколько взмахов весел — и лодка подходит к борту парохода «Себу». Рисаля встречают капитан и выделенная охрана, его препровождают в каюту. У дверей замирает часовый. Пароход почти тут же отправляется. Куда — никто не знает, даже капитан. По инструкции он должен вскрыть пакет с местом назначения только в открытом море. Пройдя остров Коррехидор и покинув Манильскую бухту, корабль плывет дальше на запад. Пора вскрывать конверт. Капитан в присутствии помощника и начальника конвоя вскрывает конверт. Место назначения — Дапитан.

Два дня спустя «Себу» бросает якорь в бухте Дапитана. Капитан, начальник конвоя и три стражника сопровождают Рисаля. Он отмечает в дневнике: «Берег показался мне мрачным, было темно, и наш фонарь освещал заросшую травой тропу. В городке нас встретил команданте, капитан Рикардо Карнисеро, Антонио Масис — бывший депутат и сенатор, и Косме — студент-практикант. Мы поднялись в здание комендатуры,

которое показалось мне большим».

Так начинается ссылка. Судя по всему, Рисаль воспринимает ее как полную неожиданность. Не к этому он готовился: он хотел принять смерть, дать пример жертвенности соотечественникам, кровью смыть гнусные обвинения. А вместо этого он оказывается в глуши, вдали от друзей, как ему кажется, забытый ими. И он принимает решение жить отшельником, не вмешиваясь ни во что, особенно в политику. Он уже получил удар в Мадриде и тогда же объявил о решении отойти от активной деятельности; в Гонконге его вновь уговорили вернуться к борьбе, а вместо благодарности преподнесли статью в «Ла Солидаридад»; он поехал в Манилу, чтобы смыть грязь со своего имени, и вместо этого — объявил о создании Лиги, то есть снова включился в борьбу. И вот результат: забвение и ссылка. А раз так, пусть его оставят в покое, он больше не откажется от принятого в Мадриде решения, теперь-то его никто не собьет с толку. Он не только не вождь, он уже не участник борьбы. Рисаль как борец против колониального гнета перестает существовать с июля 1892 года. Он даже отказывается обратиться за помощью к влиятельным знакомым в Мадриде (а ведь был же он когда-то вхож к министрам), хотя обратиться к ним советует не кто иной, как сам команданте Карнисеро.

С Карнисеро происходит та же история, что и с Хосе Тавиелем де Андраде в 1887 году. Почтенный команданте проникается симпатией к своему поднадзорному, и они становятся до известной степени друзьями: вместе ходят на охоту, на экскурсии, наконец, команданте предлагает * Рисалю поселиться у него, и они питаются за одним столом. Но и в отдаленном Дапитане полно соглядатаев, получивших инструкцию не спускать глаз со ссыльного. Весть о nepозволительной близости между команданте и «флибустьером» летит в Манилу, и оттуда следует приказ о переводе команданте в другое место. В начале 1893 года приезжает новый команданте, Хуан Ситхес, который отказывает Рисалю от дома, но скоро попадает под обаяние ссыльного, и между ними устанавливается в общем благожелательные отношения, хотя и не столь близкие, как при прежнем команданте.

Дружба дружбой, вежливость вежливостью, но Карнисеро остается добросовестным служакой и шлет в Манилу подробнейшие донесения о речах и поведении Рисаля, остающиеся ценнейшими источниками сведений об образе жизни и размышлениях Рисаля во время ссылки. Его сепаратистские идеи тускнеют, и он возвращается к мысли о возможности получения реформ из рук Испании. Вот как Карнисеро излагает (видимо, достаточно точно) содержание своей беседы с Рисалем:

«— Скажите мне, друг Рисаль, какие реформы вы считаете необходимыми в этой стране?

— Что ж, я скажу. Прежде всего дайте стране представительство в кортесах, и тогда многие злоупотребления прекратятся. Проведите секуляризацию, и тогда власть этих господ (то есть монахов. — И. П.), которую они делят с правительством, кончится; передайте приходы, по мере их освобождения, белому духовенству из филиппинцев или испанцев с полуострова. Реорганизуя управление. Поощряйте начальное образование, освободите его от влияния монахов, повысьте жалованье учителям. Дайте половину мест в администрации филиппинцам, а половину оставьте испанцам. Поднимите мораль чиновников. Откройте коммерческие и технические школы в провинциальных центрах с населением свыше 16 тысяч человек... Вот мои реформы. Если их осуществят, Филиппины будут счастливейшей страной в мире».

Как видим, Рисаль просит весьма умеренных реформ: представительство в кортесах, секуляризация монашеских приходов, реорганизация системы управления, реформа образования. Это как раз те требования, с которых началось все движение пропаганды, в сущности, это программа ассимиляционистов. Более того, Рисаль уже не требует изгнания монахов, с чем никак не согласился бы такой лидер ассимиляционистов, как Марсело дель Пилар.

Разумеется, свидетельству Карнисеро не следует доверять безоглядно, ибо Рисаль мог и не говорить всего своему стражнику. Но он не стал бы говорить неправду кому бы то ни было, даже врагам. Показательно, что и друзья Рисаля по борьбе убеждены, что он сложил оружие, и это действительно так: он отказался от сепаратистских идей. Основания для такого отступления есть — напомним, что Рисаль всегда, даже высказывая самые радикальные суждения, даже призывая к насильственной борьбе, не забывал добавить, что лучше было бы обойтись без нее. Теперь, испытав жесточайшее разочарование, он отступает на этот всегда оставляемый им плацдарм. И на сей раз окончательно — больше мы уже не услышим от него призывов к борьбе. Двойственность, противоречивость, прослеживаемые на протяжении всей его активной деятельности, позволяют, видимо, осуществить отказ от борьбы без большого внутреннего напряжения, ибо он всегда может сказать себе: «Я всегда так говорил», и это правда, хотя говорил он не только «так».

Рисаль как идеолог национально-освободительного движения, как политический вождь перестает существовать, но все сказанное им прежде продолжает жить своей, независимой от него жизнью.

Чтобы отвлечься от невеселых дум, Рисаль с головой погружается в предпринимательскую деятельность и проявляет при этом недюжинные способности. Он ведь не раз утверждал, что обвинения филиппинцев в лени, в отсутствии деловых навыков и в нежелании их приобретать лишены оснований. Выиграв в лотерею около 6 тысяч песо (билет он купил в доле с Карнисеро и еще одним испанцем), он вкладывает большую часть в плантационное хозяйство (2 тысячи песо он, как почтительный сын, посылает отцу), которое скоро начинает приносить доход благодаря умелому ведению дела. Он полагает, что дает филиппинцам пример, достойный подражания, но и сам он, возможно, следует примеру обожаемого им Вольтера, который уже в фернейский период своей жизни не раз говаривал, что «нет ничего приятнее, как самому составить себе состояние».

В своей предпринимательской деятельности Рисаль сталкивается с ожесточенной конкуренцией китайского капитала: китайцы, пользуясь забитостью и пассивностью филиппинских крестьян, по дешевке скупают у них абаку и с выгодой перепродают в Маниле. У них же в руках вся розничная торговля, где цены, наоборот, повышенные, и Рисаль пишет матери: «Я поклялся ничего не покупать у них, а потому временами испытываю немалые трудности». Но Рисаль не сдаётся, он не может допустить, чтобы иностранцы наживались за счет филиппинцев, и предпочитает заказывать товары в Маниле, чем брать их в китайской лавке.

Вводит он и еще одно новшество: оказывается, местные дамы не носят чулок, и Рисаль как-то замечает, что это недопустимо. Его слова облетают Дапитан, и скоро дапитанские красавицы требуют в китайской лавочке чулки. Их нет, ибо никто отродясь здесь чулок не носил, но предприимчивый лавочник-китаец тут же шлет заказ в Манилу. И вот к очередной воскресной мессе все дапитаньяс гордо демонстрируют друг перед другом удивительную обнову. Иезуит Висенте Балагер, узнав о причине такой популярности этой части дамского туалета, с амвона обрушивается на прихожанок: да знают ли они, что в Париже чулки носят только «эти женщины»? Слово священника на Филиппинах пока еще закон, местные дамы спешат домой, снимают чулки, чтобы никогда их больше не надевать, и китаец-лавочник несет убытки. Это немного утешает Рисаля — все-таки польза.

Карнисеро советует генерал-губернатору разрешить Рисалю взять к себе семью и даже дать ему пост провинциального хирурга, «который он не сможет оставить, и тогда Рисаль в Дапитане откажется от всего; надолго, а может быть, и навсегда забудет и друзей и политику. А в то же время мы

сумеет выявить подлинных флибустьеров на этих островах». Семье действительно разрешают присоединиться к Рисалю (у него наездами бывают мать, сестры, племянники), что до флибустьеров, то два кабальеро — Карнисеро и Деспухоль — надеются добиться успеха перлюстрацией писем Рисаля, на этот счет Карнисеро получает детальные инструкции. Однако Рисаль действительно прекращает почти всякую переписку с соратниками по борьбе, так что команданте ограничивается изъятием писем на языках, которых он не понимает.

В делах слежки Карнисеро и Деспухоль рассчитывают на помощь иезуитов, которые надеются вернуть «блудного сына» в лоно церкви.

Сразу после высылки Рисаля в Дапитан туда на место приходского священника назначается не кто иной, как Франсиско де Паула Санчес — тот самый, который обучал юного Рисаля испанской поэтике и был его первым наставником в служении музам. Рисаль все еще глубоко уважает его — тем более что во время первого визита на Филиппины в 1887–1888 годах Санчес не побоялся публично выступить в защиту «Злокачественной опухоли». Назначение Санчеса — поистине «иезуитский» замысел, но он не приносит успеха. Рисаль и его бывший учитель вместе преподают в школе, симпатизируют друг другу, но в вопросах веры Рисаль остается негибким, о чем Санчес и доносит своему начальству.

Тогда миссию возвращения «заблудшей овцы» берет на себя сам провинциал ордена иезуитов на Филиппинах Пабло Пастельс. Через Санчеса он передает Рисалю подарок — книгу, а в письме к другому дапитанскому иезуиту, Обачу, лестно отзывается о Рисале и просит довести этот отзыв до сведения ссыльного. Требования филиппинской и испанской учтивости, которые, как хорошо знают иезуиты, для Рисаля непреложны, просто обязывают его ответить на эту любезность. 1 сентября 1892 года, через полтора месяца после прибытия в Дапитан, Рисаль пишет письмо ученому иезуиту, начинающееся словами: «Достопочтенному П. Пастельсу. Отец мой! Хотя я и не имел чести заслужить письмо от вашего преподобия, ценный подарок, который вы сообразовали передать мне через любимого учителя, и строки, которые вы посвятили мне в письме к отцу Обачу, обязывают меня написать Вам, ибо в Маниле у меня нет никого, кто мог бы отблагодарить Вас от моего имени».

Так начинается явно спровоцированная иезуитами знаменитая переписка Рисаля с Пастельсом, в которой Рисаль наиболее полно излагает свои философско-религиозные воззрения. С каждой стороны будет послано четыре длинейших письма, и каждое из них представляет целый трактат по богословию и философии.

К этому времени взгляды Рисаля на религию вполне устоялись. Ученик иезуитов отверг религию как основу нравственности и открыто заявил, что отворачивается от католического бога. Его взгляды на религию в отличие от политических взглядов характеризуются последовательностью, здесь нет двойственности, нет компромиссов. И к тому времени, когда Пабло Пастельс вкуче с Франсиско де Паула Санчесом берется за иезуитскую обработку Рисаля, у последнего столь четкие воззрения на веру, что поколебать их невозможно.

Разумеется, иезуиты действуют куда более ловко, чем монахи, других орденов. Если августинец Хосе Родригес писал, что романы Рисаля «написаны ногой», то иезуит Пастельс, напротив, всячески восхваляет талант Рисаля, сокрушаясь в то же время о его заблуждениях: «Я восхищаюсь блестящими проявлениями твоего гения и прекрасными фразами, столь естественно стекающими с твоего отточенного пера; и в то же время не могу не воскликнуть: «О, как жаль, что молодой человек столь выдающихся способностей не расточает своего таланта для защиты более достойного дела!» Как видим, по красотам стиля Пастельс не отстает от мастеров испанской и филиппинской элоквенции; вообще же его письма написаны в том смиренно-высокомерном тоне, которым мастерски владеют иезуиты.

Рисаль отвечает почтительно, но твердо, не уступая под напором латинских цитат, и только напоминает своему оппоненту, что он-то лишен возможности заглянуть в книги и вынужден полагаться на себя, а не на авторитеты. Но авторитет все же есть, хотя Рисаль и не называет его. Это Вольтер, труды которого Рисаль изучил досконально. Спор разгорается вокруг нескольких вопросов: о бытии бога, о божественности Иисуса Христа, о сути откровения, о непогрешимости католической религии. По вечерам удачливый бизнесмен превращается в философа и при свете лампы пишет длинные послания.

Признавая бытие бога, Рисаль отказывается признать монополию католицизма на его истолкование. «Кто, рассуждая здраво, может назвать себя подлинным выразителем этого Света (то есть божества. — *И. П.*) на нашей маленькой планете? Все религии утверждают, что они обладают истиной». И еще: «Я твердо уверен в существовании создателя, ибо так говорит мне разум и необходимость, а не вера». Рисаль и раньше утверждал, что верит в бога, утверждает он это и сейчас: «Как я могу сомневаться в его существовании, если я уверен в своем? Признать следствие — значит признать причину. Сомневаться в бытии бога — значит сомневаться в своем существовании, сомневаться в своем сознании, а

сомневаться в своем сознании — значит сомневаться во всем, а в таком случае какова же цель жизни?» Современные филиппинские клерикалы с большой охотой цитируют эти слова Рисаля, забывая указать, что первое предложение есть, в сущности, раскавыченная цитата из Вольтера, а дальнейшее рассуждение повторяет ход известной мысли Вольтера: «Я существую, следовательно, нечто существует. Если нечто существует, то нечто должно было существовать в вечности, ибо то, что есть, есть само по себе или получило свое бытие от другого. Если оно есть само по себе, оно существует необходимо, оно всегда было необходимо, оно и есть бог; если же оно получило свое бытие от другого, а это от третьего, то последнее, от чего все они получили бытие, должно быть богом».

У Рисаля, как и у Вольтера, бог есть логическое звено рассуждений, он — от логики, не от веры, он — геометр, а не бог откровения. Рисаль сохраняет веру в существование бога (точнее, допускает его как необходимое звено рассуждений), но отодвигает его в туманную даль первопричин, фактически не допуская его вмешательства в дела им же созданного мира. Конечно, отсюда еще не близко до подлинно научной картины мира, но не следует забывать, что Рисаль — порождение определенной страны и определенной культуры, в рамках которых провозглашение подобных взглядов есть гигантский шаг вперед на пути высвобождения разума от гнета церковных догматов.

Что до попыток представить себе бога, то Рисаль резонно замечает, что каждый представляет его себе в меру собственного воображения, присовокупив известную со времен античности мысль, что, «если бы бык мог представить себе бога, он вообразил бы его с рогами, громко мычащим». Всякий добрый католик просто проклял бы автора подобных сентенций, но иезуита Пастельса пронять нелегко. Он пишет в ответ, что бог создал человека, а не наоборот, и может общаться с ним: «Он, создавший глаза, и не видит? Он, создавший уши, и не слышит?», на что Рисаль, подхватив декламационный стиль Пастельса, отвечает от имени все того же быка: «Он, создавший рога, и не бодается?»

Итак, бог Рисаля таков, что сказать о нем, в сущности, нечего. Человеку он предстает как нечто безликое, стоящее за предметами и явлениями мира, в которых он только угадывается. На место живого любящего бога ставится, как говорят католические теологи, унылый рок.

Относительно откровения Рисаль заявляет, что в нем отчетливо слышится голос человека, голос эпохи. «Я, — пишет Рисаль, — верю в откровение, но только в живое откровение природы, окружающей нас, в могучий голос — вечный, непрекращающийся, непогрешимый, ясный,

отчетливый и универсальный, как и существо, от которого он исходит». И здесь вера в творца, но при этом отрицание его вмешательства в дела мира, которым правят естественные законы.

Как следствие не признает Рисаль и авторитета католической церкви; «Католическая церковь, — пишет он Пастельсу, — представляет собой институт более совершенный, чем другие, но институт человеческий, со всеми пороками, ошибками и недостатками, свойственными творениям человека. Она (эта церковь. — *И. П.*) более ученая, более ловко построенная, чем многие другие религии, поскольку она — прямая наследница наук, религии, политики и искусства Египта, Греции и Рима. Ее основания — в сердце народа, в фантазиях толпы, в женской любви». Отношение Рисаля к католической церкви не такое непримиримое, как у Вольтера (в одном из писем Рисаль говорит, что в вопросах религии Вольтер был слишком пристрастен), — для последнего она была «гадиной», для Рисаля же «гадина» не вся католическая церковь, а только монашеские ордены.

Такова суть ответов Рисаля Пастельсу. Не следует думать, что в общей картине спора Пастельс только обороняющаяся сторона и что его доводы выглядят жалкими в сравнении с доводами Рисаля. Провинциал иезуитов — опытный полемист, закаленный в спорах с еретиками. Он тонко выводит все нападки Рисаля на религию из его личных обид, и Рисалю приходится доказывать, что это не так; легко находит источники высказываний Рисаля. Отнюдь не отрицая разума, Пастельс восхваляет науку и требует лишь осветить ее «божественным светом»; соглашается, что у церкви есть много недостойных служителей, ловит Рисаля на неточностях и т. п. Но в главных вопросах он непримирим и утверждает, что без бога разум протитутуируется, свидетельство чего — французская революция, деятели которой «воздвигли статую богини разума, натурщицей же для нее послужила шлюха». Пастельс сознательно уклоняется от споров о политике, радуется, что Рисаль все же сохраняет веру в творца, и уговаривает его «сделать всего один шаг», приводя легенду о блудном сыне.

Рисаль этого шага не делает и в лоно церкви не возвращается. В последнем письме он заявляет, что предпочитает показаться невежливым, чем отказаться от своих убеждений. Это вызывает раздражение Пастельса, его заключительное послание не так убедительно, и почти все доводы в нем основываются на текстах из Священного писания, а как раз эти доводы Рисаль и не признает. Попытка вернуть в стадо «заблудшую овцу» не удается, переписка прекращается.

Ведя ожесточенный философско-богословский спор с Пастельсом, уделяя много времени предпринимательству, Рисаль осваивает еще одну сферу деятельности — педагогику. Будучи просветителем по своим убеждениям, он верит, что распространение образования само по себе способно изменить условия жизни. Он на себе познал все отрицательные последствия управляемой монахами системы просвещения, посвятив ей немало горьких страниц в «Злокачественной опухоли» и особенно в «Мятеже». На протяжении всей жизни он мечтает заняться педагогической деятельностью, чтобы на практике осуществить свои идеи.

Возможность применить их на практике представляется Рисалю только в Дапитане. Вначале он преподает вместе со своим бывшим учителем Франсиско де Паула Санчесом, а после его отъезда открывает свою школу, где собирает нескольких мальчиков и учит их испанскому и английскому языкам, математике, «а главное, я учу их вести себя как подобает мужчинам». Рисаль не берет плату за учебу, поскольку родители его учеников бедны. После отъезда Санчеса другой иезуит, уже упоминавшийся Обач, высказывает подозрение, что Рисаль сеет в юных сердцах не добрые семена, но плевелы, и школу закрывают.

В Дапитане же Рисаль — поначалу против воли — возобновляет медицинскую практику. Прежде всего он удаляет катаракту у приехавшей к нему матери, что у местных жителей вызывает потрясение: слепая становится зрячей. Сам Рисаль сердится: донья Теодора, ошеломленная удачным исходом операции, абсолютно не слушается сына. «Воодушевленная удачей, — жалуется он, — мама не слушается меня, сама встает, хлопчет по хозяйству, снимает повязку, а мне говорит, что ничего не будет. И вот результат — воспаление... Ее никто и ничто не может удержать, она читает, ходит на свету, трет глаза. Это же просто невысказано! Теперь я понимаю, что врачам надо действительно запретить лечить членов своей семьи».

За Рисалем еще с Каламбы и Гонконга тянется слава врача-чудотворца, и больные приезжают к нему из многих стран, и все с записками: то от Басы, то от других соратников, то от родственников, то от колониальных чиновников. «Меня осаждают пациенты, — пишет Рисаль. — Принять их негде, оборудования почти никакого». Но отказать он не может. На вырученные от ведения плантационного хозяйства деньги он строит дом для приезжих больных, заказывает в Париже медицинское оборудование для глазной клиники и скоро получает несколько ящиков: линзы, искусственные глаза, необходимые приборы, в том числе микроскоп за 2000 франков. Все это стоит дорого, не говоря уже о пересылке, и ставший

расчетливым Рисаль тяжело вздыхает: вряд ли расходы окупятся, ведь многие пациенты бедны — как с них потребуешь плату? Кое-кто пытается обмануть его: только что он сделал сложную операцию одной испанке, она жаловалась на бедность, и он взял с нее пять песо, а она потом всюду раструбила, как ловко обманула доверчивого доктора. Оказывается, она привезла с собой для уплаты доктору 200 песо, но не могла же она упустить возможность надуть его!

В целом он считает, что живет спокойно, размеренно, и так пишет о своей каждодневной жизни Блюментритту: «Опишу тебе, как мы живем. У меня три дома, один квадратный в плане, один шестиугольный и один восьмиугольный — все они сделаны из бамбука и пальмы нипа. В квадратном доме живут мама, сестра, Тринидад, мой племянник и я. В шестиугольном доме живут мои мальчики (ученики. — *И. П.*), в восьмиугольном — пациенты. Держу кур. Из моего дома слышно журчанье кристально чистого ручья — он бежит со скал. Виден пляж — у меня там две рыбацкие лодки типа каноэ. Много фруктовых деревьев. Есть кролики, собаки, кошки. Встаю рано, в 5 часов. Обхожу плантации, кормлю кур, бужу свой народ, отдаю распоряжения на день. В 7.30 завтрак — чай, булочки, сыр, сласти и т. д. Потом принимаю больных, которые приезжают ко мне. Затем надеваю костюм и на лодке отправляюсь в город, принимаю больных и там. Возвращаюсь в 12 и обедаю. После обеда — занятия с ребятами до четырех, а потом занимаюсь хозяйством. Вечерами — чтение и наука».

Судя по письму к Блюментритту — полная идиллия уединенной сельской жизни, судя по письмам к другим лицам, случаются и весьма драматические события. Рисаль знает, что за ним следят, и не только официальные лица, которым слежка вменена в обязанность, но и, так сказать, добровольцы. Как-то расчувствовавшись, дапитанский врач признается, что и он не без греха: следит и за Рисалем и за команданте. Это он написал в Манилу, что Рисаль не ходит к мессе, он же сообщил о непозволительной близости Карнисеро и Рисаля. Рисаль глубоко возмущен: он верит в благородство медицинской профессии, а тут врач добровольный доносчик. «Не позор ли это!» — восклицает ой в одном из писем, переданных с верной оказией.

Случаются вещи и похуже. Как-то вечером в ноябре 1893 года недавно назначенный команданте Ситхес сидит на веранде командансии (комендатуры) и вдруг замечает подозрительного человека, который, прячась за деревьями, пробирается в сторону Талисая, где находится поместье Рисаля. Команданте бросается было в погоню, но человек

исчезает в сгущающихся сумерках. Команданте пожимает плечами и возвращается на веранду. Кто знает, может быть, ему только показалось, что человек ведет себя подозрительно...

Но наутро к нему приходит сам Рисаль и заявляет, что накануне вечером к нему явился человек, назвавшийся Пабло Меркадо и заявивший, что он родственник Рисаля, что его послали «друзья» и что он готов «передать все бумаги и вообще помочь осуществить любые планы». Манеры у незнакомца, по словам Рисаля, отталкивающие: тот курил без разрешения, без конца плевал в окно. Видимо, Рисаль сразу почувствовал, что перед ним провокатор, и выставил было его за дверь, но, поскольку было уже темно, все же разрешил незнакомцу остаться на ночь. Но утром он твердо предложил незнакомцу покинуть его дом и больше не появляться. Обо всем этом он и докладывает команданте.

Тот немедленно отряжает солдат, и скоро в командансию приводят подозрительного незнакомца. Выясняется, что его зовут Флоренсио Наманан, что вовсе он не родственник Рисаля, хотя имеет при себе его фотографию, — несомненно, для опознания. Задержанный ничуть не смущается, он лишь просит остаться с Ситхесом наедине. Просьба удовлетворяется, и тогда Наманан развязно сообщает команданте, что его послали монахи, августинцы-реколеты (босоногие августинцы), с поручением войти в доверие к Рисалю, получить компрометирующие документы, а за это его ждет приличное вознаграждение, причем задаток уже получен. Задержанный прозрачно намекает, что его миссия не сводится к этому — пусть команданте запросит Манилу.

Осторожный Ситхес все же заключает Наманана под стражу и шлет подробное донесение в Манилу. Очень быстро приходит ответ: доставить задержанного в Манилу. Команданте под конвоем отправляет Наманана, но в Маниле его тут же освобождают. Наманан появляется во всех увеселительных заведениях Манилы и везде хвастается, что его послали с поручением убить Рисаля, да вот излишнее рвение команданте нарушило планы.

Дело объясняется довольно просто. За это время сменяется не только команданте Дапитана — генерал-губернатором Филиппин стал генерал Рамон Бланко. Если Деспухоль конфликтовал с монахами, то Бланко считает их опорой колониального режима. Он охотно склоняется к их плану действий: окончательно дискредитировать Рисаля, возбудить новое дело, может быть, прямо расправиться с ним. Разумеется, он, испанский кабальеро, не может отдать приказ об «окончательном решении» дела Рисаля. Все говорится туманно, полунамеками, слово «убийство» вообще

не произносится. Но вот если инициативу возьмут на себя монахи, он мог бы закрыть глаза на имеющие произойти события... События не происходят, но все же генерал-губернатор выручает незадачливого наемника, чем ставит в неловкое положение команданте Дапитана, ибо Рисаль узнает об освобождении Наманана по своим каналам. «Он узнал все подробности раньше меня, — жалуется Ситхес в письме к генералу, — по приезде Меркадо в Манилу, и о том, что его встретил офицер гвардии, и о том, что Пабло сразу же выпустили».

Надо сказать, что реколеты, поручая Наманану добыть компрометирующие Рисаля бумаги, строили свои расчеты не на песке. Они знают, что Рисаль все же переписывается с деятелями пропаганды. Крайне редко — письмо-два в год — с надежнейшими людьми он шлет свои послания прежним соратникам. Но это не письма вождя и даже не письма товарища по борьбе. Он обозлен на прежних друзей. Ему кажется, что они забыли его, даже радуются его ссылке, ибо он им теперь не мешает. Более того, он обвиняет их в том, что они препятствуют его освобождению. «Я глубоко разочарован, — пишет он матери, — они давали мне столько надежд, а теперь мне остается только горькая улыбка. У меня столько врагов! И даже мои соотечественники и друзья в Мадриде делают все возможное, чтобы я не выбрался отсюда... Да воздаст им бог по заслугам!»

Рисаль явно несправедлив к соратникам. Они всячески стараются помочь ему. На первых порах, когда он еще не составил себе состояния, они посылают к нему на лечение заведомо здоровых людей, чтобы помочь ему гонорарами. Он быстро разгадывает их маневр и пишет: «Пусть присылают сюда лишь тех больных, которым действительно нужна моя помощь, а не тех, кто рассчитывает поддержать меня гонорарами». Такая непрошенная забота больно ранит его филиппинскую чувствительность. Он отказывается — так он уверяет в письмах — покинуть место ссылки. Эти заявления он делает потому, что знает: соратники готовят его побег. Заговор возглавляет Хосе Мария Баса, он привлекает и сестру Рисаля Тринидад. Та находит сообщников и пишет Басе об одном из них: «Беру на себя смелость рекомендовать вам замечательного человека, Тимотео Паэса, на которого возложена опасная миссия освобождения моего брата. Сеньор Паэзе даст вам отчет обо всем, что мы предполагаем сделать для осуществления нашего замысла. Он наш друг, мы обязаны ему многим, и он заслуживает нашего доверия. Он собирается нанять судно в Гонконге». (Впоследствии «замечательный человек» и «наш друг» даст показания против Рисаля на суде.)

Узнав от родственников об этом замысле, Рисаль наотрез отказывается.

В письме гонконгскому другу, португальцу Лоренсу Маркешу (тому самому, которому он оставил письма-завещания), он срочно пишет: «Мне предлагают бежать, но, поскольку мне не в чем упрекнуть себя, я не хочу, чтобы меня называли беглецом. Более того, потом это не позволит мне вернуться на родину». Соратники приходят в недоумение. «Все согласны, — пишет один из них, — что лучшее решение — побег, я всегда стоял за него. Не могу понять, почему наш друг, всегда такой храбрый и отважный, не принимает этот план». Технически осуществить побег нетрудно. Но, как писал сам Рисаль, «в критические минуты жизни я всегда поступал вопреки своим подлинным интересам». Так и сейчас, лелея обиду на друзей и соратников, он не желает принимать от них помощь, а кроме того, он, рыцарь, не может нарушить слово, данное команданте.

Тогда деятели пропаганды замышляют другой план, совершенно фантастический. Приближаются выборы в кортесы, испанский парламент, и Антонио Рехидор предлагает начать кампанию за избрание Рисаля. «Если мы преуспеем в этом, — пишет он, — им придется его выпустить, потому что председатель палаты вытребует его у генерал-губернатора, несмотря на противодействие преподобных отцов... Я готов ехать в Испанию, подобрать избирательный округ и выдвинуть кандидатуру Рисаля». Естественно, из этого плана ничего не выходит.

Рисаль и слушать не желает о побеге. У него дел хватает — хозяйство, врачебная практика, преподавание, наука. Науке он отдается со всей страстью своей натуры, наука для него сейчас тоже форма эскапизма, она компенсирует уход от политической борьбы. Он еще со времен работы в библиотеке Британского музея мечтает посвятить себя научным занятиям, а философская баталия с Пастельсом стимулирует его научные разыскания.

Рисаль возобновляет научную переписку с Ростом. Рост тут же отвечает: «В моем доме царит радость: я кричу: «Письмо от Рисаля!» — и все домочадцы требуют, чтобы я громко прочел его вслух». Рисаль уведомляет своего ученого друга, что вновь погружается в лингвистику, на что Рост предлагает заняться «малыми языками» Филиппин. «Не могли бы вы, — пишет он Рисалю, — использовать вынужденное безделье для написания работ по местным языкам Минданао? Я напечатал бы их в журнале Королевского азиатского общества». Рисаль решает систематизировать накопленные к тому времени сведения о родном тагальском языке и в 1893 году заканчивает работу «Исследование о тагальском языке», посвятив ее своему учителю иезуиту Франсиско де Паула Санчесу.

Но Рисаль не только лингвист-теоретик, он владеет многими языками.

(Рисалеvedы утверждают, что он знал 22 языка, но сюда включены и те, которые он знал лишь лингвистически.) Практически он владеет семью языками: тагальским, испанским, немецким, французским, английским, итальянским и японским. Его рабочие языки — испанский и тагальский, на них он создает свои основные произведения, на французском пишет критические сочинения, а на немецком и английском — научные статьи. Современники утверждают, что Рисаль владел и русским языком. Причем один из них, Максимино Патерно, сообщает, что Рисаль овладевает русским языком как раз во время дапитанской ссылки: «Когда он был сослан в Капитан, он выучил русский язык, пользуясь одним романом вместо грамматик и словаря». Видимо, это соответствует действительности, потому что в ноябре 1893 года Рисаль обращается к А. Б. Мейеру, директору Дрезденского музея, с просьбой прислать ему книги, среди которых упомянуты:

Тургенев (Иван). «Отцы и дети»...

Тургенев. «Дым»...

Полное собрание работ Гоголя (на немецком языке)

Владимир Короленко

Данилевский.

Пометка «на немецком языке» стоит только после «Полного собрания работ Гоголя». Обращает на себя внимание подборка русских авторов: она «индивидуальна» в том смысле, что не отражает господствующих на Западе представлений о русской литературе (нет Толстого и Достоевского, но зато есть Короленко). Возможно, Рисаль составил этот список за два года до того, под влиянием бесед с М. М. Березовским, взгляды которого, как мы видели, требовали обращения как раз к трудам такого рода. Просимые книги Рисаль получает в 1894 году, о чем немедленно оповещает Блюментритта: «Сегодняшняя почта доставила мне огромную радость — прибыло много книг Гоголя, Тургенева, Данилевского...» Короленко здесь не упомянут. Вполне возможно, что одна из этих книг и есть тот роман, по которому Рисаль учит русский язык.

Обращение к А. Б. Мейеру, крупнейшему ученому, некогда рекомендовавшему Рисаля в члены Берлинского этнографического общества, не случайно. Исчезновение Рисаля, ученого мирового масштаба, с научного горизонта не может пройти незамеченным. Блюментритт доводит до сведения всех европейских коллег весть о ссылке Рисаля и уже в мае 1893 года пишет ему: «Французские, английские, голландские и немецкие лингвисты интересуются тобой. Они спрашивают меня, как ты живешь, как с тобою обращаются, оказывают ли тебе снисхождение,

которого человек твоего таланта и репутации в ученом мире Европы заслуживает... Они хотят знать, позволяют ли тебе испанские власти заниматься научной работой?..» Ученые со времен Возрождения образовывали в Европе «государство в государстве» — они не знали границ и всячески поддерживали друг друга. Это известно и испанским властям, они не могут пренебречь мнением ученого мира и, хотя Карнисеро и Ситхес задерживают многие письма (именно по этой причине Рисаль и Блюментритт переходят в переписке с немецкого на испанский), не решаются запретить Рисалю научные занятия.

В Лейтмериц, Берлин, Дрезден, Прагу, Штутгарт, Лейден, Лондон и другие города идут из Дапитана письма и посылки с этнографическими материалами, чучелами животных, змей, рыб, энтомологические коллекции, редкие раковины и гербарии, приводящие в восторг хранителей лучших музеев Европы. В некоторых из них экспонаты, присланные Рисалем, хранятся по сей день. Дотоле незнакомые ученые хотят получить у Рисаля научную информацию по вопросам, о которых тот не имеет ни малейшего понятия. Вулканолог из Штутгарта просит сообщать об извержениях вулканов, энтомологи просят выслать образцы насекомых. Рисаль старается удовлетворить эти просьбы, причем не всегда удачно — доктор Геллерт, энтомолог из Дрездена, шлет Рисалю возмущенное письмо: бабочки наколоты не по правилам и прибыли поврежденными, спирт оказался негодным, и гусеницы загублены. Доктор Геллерт никак не ожидал такого от своего ученого коллеги и просит впредь быть аккуратнее.

По просьбе испанских медиков Рисаль составляет описание знахарского «лечения околдованных». Здесь Рисаль, сам будучи врачом, говорит с полным знанием дела. Так называемое колдовство для него — внушение или самовнушение, и лечить его следует контрвнушением, психотерапией. В этом Рисаль далеко опережает поклонников так называемого филиппинского «лечения верой», приобретшего необычайную популярность в 70-х годах уже нашего столетия. Увлечись этой темой, Рисаль старается найти рациональное объяснение древних филиппинских обычаев, таких, например, как «испытание водой»: подозреваемых погружали в воду, виновным считался тот, кто выныривал первым. «Физиологическое объяснение, — пишет Рисаль, — сводится к тому, что у того, кто боится, сердце бьется чаще и сильнее, большему числу ударов соответствует большее потребление кислорода, значит, долго под водой не выдержишься».

Увлечение наукой сопровождается и пробуждением музыки Рисаля. Три года она не посещала его. Три года назад он распрощался с ней, оставив,

однако, за собой право вернуться к ней:

*Но ты придешь, святое вдохновенье,
чтоб разбудить фантазию мою;
когда клинок сломается в бою...*

«Клинок сломался» в июле 1892 года, со ссылкой Рисаля, и он вышел из борьбы. В поэтических строках дапитанского периода он изливает свою скорбь, разочарование. Господствует тема безысходной тоски, отчаяния и даже обреченности.

Наиболее ярко Рисаль-лирик выражает свое «я» в стихотворении «Мой приют», посвященном матери поэта. Он работает над ним два года, бросает, потом вновь возвращается. Только в октябре 1895 года он пишет матери: «Посылаю вам поэму, которую обещал. Прошло много месяцев, а я все не мог исправить ее из-за моих многочисленных обязанностей. А кроме того, я следую совету Горация — дать рукописи «поспать» долгое время, чтобы потом лучше отшлифовать ее».

Он начинает поэму с описания места, где он построил «хижину» (напомним, что на деле Рисаль построил три дома), и изображает ее совсем в духе Вергилия:

*Ей служит кровлей нипа,
тростник — прохладным полом,
столбы и брусья грубы, и стенам грош цена,
но я в ней обитаю счастливым новоселом,
могучая вершина парит над тихим долом,
поет и днем и ночью широкая волна.*

Вслушаемся в четырнадцатисложные и двенадцатисложные кинтильи (испанские пятистишия): их очень точно передает переводчик. На филиппинский слух этот размер, как пишет один современный литературовед, напоминает «бег потока, журчащего по гальке и камням и стремящегося к покою моря». Вспомним слова Рисаля: «Из моего дома слышно журчанье кристально чистого ручья — он бежит со скал». Конечно, уподобление стихотворных размеров природным шумам (наиболее распространенный пример: многие усматривают источник греческого гекзаметра в шуме накатывающихся на берег волн) всегда

страдает субъективностью, но все же в какой-то мере свидетельствует о представлении, возникающем в сознании филиппинского слушателя. Для него оно необычайно ново и свежо, ибо до Рисаля такого в филиппинской поэзии не было.

В поэме Рисаль воспевает прелести уединения, отрешенности от мира. Эта тема достаточно традиционна в поэзии как Запада, так и Востока: уход от житейских бурь считается завидной долей. В китайской поэзии бегство от людей и опрощение рассматривались как желанные для поэта; в испанской поэзии еще Лопе да Вега писал: «При всех житейских треволнениях у меня есть достояние *недоступное завистливому взору* две книги, три картины, четыре цветка». А «бедную хижину» воспевал в «Буколиках» еще Вергилий. Словом, тема отшельничества, опрощения имеет давнюю традицию в мировой литературе.

Но дело в том, что филиппинской литературе эта тема вовсе несвойственна. До Рисаля мы не находим ее вообще, после него она тоже не появляется (единственное исключение — два-три стихотворения, созданные во время второй мировой войны, когда сельская жизнь воспевалась как убежище от военных невзгод, да и то ненадежное). Сознание филиппинцев, ориентированное на тесную связь со своим кланом, исключает тему отшельничества — вспомним, что и сам Рисаль становится отшельником не по своей воле и тяжело переживает одиночество. Стихотворение «Мой приют» единственное в своем роде, оно и сейчас представляется филиппинцам как нечто уникальное, неповторимое не только по стиховой организации, но и по теме; для многих из них это лучшее его поэтическое произведение.

Образная система этого стихотворения, как всегда у Рисаля, разнообразна и неоднородна. В «морских строфах» он пользуется филиппинским культурным кодом, употребляет филиппинские реалии: птица калау, пальма нипа и т. п. Но вот уподобление цветущей поры жизни апрелю — явный переход на испанский код: именно в Испании апрель — пора цветения, тогда как на Филиппинах апрель — «мертвый месяц», месяц засухи перед сезоном дождей. При анализе поэзии Рисаля все время приходится помнить, что перед нами филиппинский поэт, воспитанный на испанской культуре, и смешение (далеко не всегда органичное) разных культурных кодов — характернейшая черта его поэзии.

Обращает на себя внимание слияние поэтического «я» с природой, в чем можно усмотреть проявление традиционного филиппинского мировоззрения, основанного на нераздельности человека и природы, которая в этом стихотворении является не просто фоном, а как бы

продолжением человека: волнение в природе (буря) немедленно воспроизводится в душе лирического героя, и наоборот: душевное волнение вызывает бушевание стихий; человек и природа, в сущности, одно. Видимо, именно это слияние делает все стихотворение столь созвучным филиппинской душе: она узнает здесь свое, родное, которое прорывается сквозь завесу чужого языка и непривычного «отшельнического» пафоса.

Впрочем, одических стихотворений в период дапитанской ссылки Рисаль практически и не создает. Только однажды в нем просыпается прежний певец, выразитель веры в светлое будущее. Предстоит праздник — традиционная фиеста в местечке Талисай, где расположено поместье Рисаля, на таких праздниках всегда важную роль играют поэтические состязания. Рисаль пишет «Гимн Талисаю», который исполняют во время торжеств его ученики. Вторая строфа гимна в буквальном переводе звучит так: «Мы дети, мы недавно родились, *наша душа расцветает*. А завтра мы будем сильными мужчинами, *которые будут знать, как защищать свои семьи*, мы дети, которых ничто не испугает, *ни волны, ни буря, ни гром*, сильной рукой со спокойным лицом *мы будем знать, как бороться в минуту опасности*». Впоследствии именно в этих строках судьи усмотрят призыв к восстанию, «пристегнув» к ним еще три строки: «*Наши руки владеют ножом, пером и мотыгой, / этими друзьями могучего разума*». «Владеют ножом». Это для чего же? Ясно, для того, чтобы перерезать глотки испанцам.

Но «Гимн Талисаю» — исключение. Преобладают скорбные, элегические мотивы. Они находят дальнейшее развитие в «Песне странника», написанной в 1896 году, когда Рисаль собирается покинуть Филиппины и предвидит новые годы скитаний, а потому возвращается к теме странничества.

Здесь Рисаль уподобляет себя «оторванному листку» — вечный образ мировой поэзии. Странник ищет счастья, но ему не дано найти его, скорее всего «в могиле безвестной / он навеки покой обретет», в его душе — пустота, не заполненная любовью. Страннику некуда идти, дома он найдет только «снег и руины» (здесь Рисаль опять смешивает два культурных кода: само слово «снег» ничего не говорит филиппинцам). Надо просто идти, неизвестно куда, и «пусть другие поют о любви». Тема странничества — вообще тема дороги — столь же несвойственна филиппинской поэзии, как и тема отшельничества. Укорененность в роду, в клане, в общине — вот высшая ценность, достойная быть воспетой; «уходить и уединяться» — не филиппинский идеал, а если это и происходит, то всегда не по доброй воле;

это — несчастье, удар судьбы, а не свободный выбор, и завидовать тут нечему. Но скитаться на чужбине филиппинцам, в том числе и филиппинским поэтам, приходилось довольно часто, поэтому тема скитаний все же встречается в филиппинской поэзии.

Тема отрешенности, проходящая через всю поэзию дапитанского периода, не означает, что изгнанник безропотно принимает свою судьбу. Такой вывод можно сделать из стихов, но не из конкретных действий Рисаля; как это не раз бывало в мировой литературе, поэзия следует своим законам, а жизнь — своим. Поэт воспевает место изгнания и в то же время делает все возможное, чтобы покинуть его. Через три года он начинает осаждать власти просьбами облегчить его участь.

К этому его толкают и личные обстоятельства. В 1893 году умирает Леонор Ривера — весть об этом быстро доходит до Рисаля. На это событие он глухо откликается в «Моем приюте»:

*Звучат святые клятвы, и я благоговейю,
я вижу двор, веранду и тихую аллею...
Безмолвье, вздохи, трепет —
я снова рядом с ней!*

Личная жизнь не удалась — в этом Рисаль уверен твердо. Недаром же он Лаонг Лаан — обреченный. Но в феврале 1895 года в его жизнь входит двадцатилетняя Хосефина — так на испанский лад именуется ее Рисаль, на английском же она Джозефина Бракен. Она приезжает в Дапитан со слепым приемным отцом, Джорджем Тауфером, американцем по происхождению. Отец Хосефины, ирландец Джеймс Бракен, был капралом 28-го пехотного полка, квартировавшего в Гонконге. Он был человеком нестрогих правил, и от связи с китайкой у него родилась дочь — Хосефина. Жена Джеймса умерла через несколько дней после ее рождения, и находчивый капрал зарегистрировал ребенка как законную дочь Джеймса и Элизабет Бракен. Но в церковных книгах (Бракен как ирландец был правоверным католиком) она значилась как католичка-евразийка. Как это нередко бывает при смешанных связях, в ней явно возобладали черты одного из родителей — отца. На вид она несколько не напоминает китайку, и только малый рост (чуть более полутора метров — обстоятельство немаловажное для Рисаля) выдает ее смешанное происхождение. Впрочем, жители Гонконга наметанным глазом определяют в ней китайскую кровь, а в те времена, в условиях жесткого расового деления, это чревато серьезными

последствиями. Поэтому Хосефина тщательно скрывает тайну своего рождения.

Джеймс Бракен не очень пекся о дочери — он пристроил ее к своему знакомому, Тауферу, и скоро навсегда покинул Гонконг вместе со своим полком. Тауфер удочерил Хосефину, и она росла в его доме вместе с его родной дочерью Сарой. Тауфер не блистал образованием, не дал он его и своим дочерям. Он являл собой тип авантюриста середины прошлого века, который наконец успокоился, сколотив кое-какое состояние. Но в 1891 году его постигает одно несчастье за другим. Умирает его вторая жена, его капитал, вложенный в дома, быстро обесценивается: на Гонконг обрушивается чума, жители в панике бегут в Макао, цены на дома резко падают. И в довершение всего он слепнет. В Гонконге он жил чуть выше Реднаксела-тэрас — той самой, где обитал Рисаль. Он слышал о глазном враче-чудотворце и теперь, четыре года спустя, решает отправиться к нему на Филиппины. С огромным убытком он продает свою собственность и в сопровождении дочерей едет на Филиппины.

Человек грубый, он остро переживает свое бессилие, отчего его деспотизм только усиливается. Родная дочь по дороге скрывается, приемная — Хосефина — сопровождает его до Дапитана. Она тоже не против обрести самостоятельность, но она связана по рукам и ногам. Дело в том, что Хосефина, как католичка, ходит к исповеди к доминиканцам — у них обширные владения в Гонконге. Узнав, что Хосефина с приемным отцом собирается к Рисалю, они шлют сообщение отделению своего ордена в Маниле. Там решают, что эту возможность надо использовать для засылки к Рисалю соглядатаев. Монахи сначала туманно говорят Хосефине о том, что к богу ведут разные пути, что ему можно служить по-всякому. А потом прямо предлагают: Хосефина должна взять сопровождающую в Маниле и дальше следовать с ней к Рисалю. Больше от нее ничего не требуется, это же так просто. Ну а за это святые отцы готовы подчистить запись в церковной книге о рождении Хосефины от матери-китаянки. Тогда в церковной книге запись будет такая же, как в гражданской. А можно ведь сделать и наоборот: привести запись в гражданской книге в соответствие с церковной, и тогда жить Хосефине на уровне моря, на самом социальном дне.

Бедная девушка, не очень разбирающаяся в жизни, соглашается. Она не платный агент монахов, она всего лишь инструмент в их руках. Пятно незаконнорожденности будет смыто — для нее это главное. Она согласна. Она действует строго по инструкции: в Маниле встречается с Мануэлой Орлак, доверенным лицом и любовницей каноника манильского собора,

который, как и многие другие монахи, не соблюдает седьмую заповедь («не прелюбодействуй»). Мануэла присоединяется к путешественникам, и все трое следуют дальше, в Дапитан.

В жизнь Рисаля, томящегося в изгнании, Хосефина входит как олицетворение женского обаяния: красивая, с чувственными губами, с пышными каштановыми волосами, с изящной фигурой — и главное — подходящего роста. (Современники, правда, отмечают, что есть в ней и «чрезмерная смелость», некоторые пишут и о вульгарности.) Рисаль влюбляется в нее в первые же часы, может быть, даже минуты. В его любви есть и доля сострадания, он знает о ее тяжелой жизни. Правда, он, рафинированный иллюстратор, человек высокой культуры, сразу ощущает пробелы в ее образовании и воспитании, но сострадание и жалость вкупе с физической привлекательностью Хосефины берут верх. Ведь эти недостатки так объяснимы, а сама она так молода, что все это кажется вполне поправимым.

С особой обостренностью чувств, присущей слепым, Тауфер быстро улавливает, что между врачом и его приемной дочерью возникла симпатия. Происходит тяжелейшая сцена: как-то раз, после осмотра Тауфера в доме для приезжих больных, Рисаль задерживается с Хосефиной в соседней комнате. Пациент совершает утренний туалет: бреется после осмотра врача. И вдруг слышит голоса в комнате рядом. Он врывается к ним с бритвой в руках и требует, чтобы ему сказали правду. Да, они любят друг друга. Да, они собираются пожениться. Тауфер заносит бритву и клянется, что тут же перережет себе горло, если они не откажутся от своего замысла, обрекающего его на гибель. Рисаль бросается к слепому и после короткой борьбы вырывает бритву из его рук. Но Тауфер кричит, что все равно покончит с собой и они будут виноваты.

Хосефина не выдерживает сцены и обещает, что отправится с Тауфером в Гонконг. Но между собой Рисаль и Хосефина решают, что, когда старик остынет, она вернется к нему. Во всяком случае, ей не следует ехать дальше Манилы. Он дает ей письма к матери и сестрам. «Податель сего письма, — пишет он донье Теодоре, — сеньорита Хосефина Леопольдина Тауфер, на которой я чуть было не женился, при условии, конечно, что вы дали бы мне согласие. Наши отношения пока прерваны по ее предложению, ибо возникло слишком много трудностей. Она почти одинока в этом мире... Поскольку она мне небезразлична и, возможно, позже решит соединиться со мной и поскольку она может остаться одна, покинутая всеми, умоляю вас оказать ей гостеприимство и обращаться с ней как с дочерью. Обращайтесь с сеньоритой Хосефиной как с человеком,

которого я чрезвычайно ценю и который не должен остаться без защиты».

Семья считает своим долгом предупредить Рисаля. Сестры пишут ему откровенно: и что Хосефина ему не пара, и что он попался в ловушку, и что вообще он ведет себя не вполне достойно. На такие обвинения надо отвечать. Родителям, Пасиано и старшим сестрам он не может ответить прямо, как младший, он не имеет права поучать старших. Но зато Тринидад (она больше других общается с Хосефиной, ибо говорит по-английски) он может сказать все, что думает, и поручает ей передать ответ семье: «Скажи всем, чтобы они больше доверяли мне и не считали меня ребенком, которого во всем надо поучать. Уж если даже моя семья не доверяет мне и обращается со мной как с младенцем, то чего мне ждать от других? Я в руках бога, и пока нет оснований говорить, что он оставил меня... Не будем торопливы в суждениях, не будем думать плохо о людях».

Месяцем позже он пишет все той же Тринидад: «Сеньорита Х. куда лучше, чем ее репутация, а поскольку она со мной, ее недостатки постепенно исправляются. Она послушна, не упряма, кроме того, у нее доброе сердце. Нам не хватает только уплатить кюре, я хочу сказать — это нам ни к чему. Мы ни разу не ссорились, мы всегда веселы, шутим. Можно, конечно, сказать, что это скандал, собственно, так оно и есть. Скандально жить счастливее, чем многие в законном браке. Мы работаем, и мы довольны».

Не сразу понятная фраза «нам не хватает только уплатить кюре» означает, что Рисаль, хоть он и говорит, что церковный брак им «ни к чему», все же пытается узаконить свои отношения с Хосефиной. Делает он это, несомненно, для того, чтобы примирить с нею семью, не подвергать испытанию религиозные чувства родственников. И Хосефины тоже: хотя она согласна жить с «Джо» на любых условиях, все же она правоверная католичка и предпочитает церковный брак. Тем более, признается она, у них скоро будет ребенок.

Радость Рисаля не знает пределов. Для филиппинцев дети — смысл жизни, человек только тогда считается человеком, когда он оставит потомков; бездетность для них есть явный признак проклятия высших сил. А теперь у него будет ребенок, может быть, сын, тогда он назовет его Франсиско, в честь деда... Конечно, он сделает все, что хочет Хосефина, он обратится к иезуитам с просьбой обвенчать их.

Иезуиты к тому времени уже сняли планомерную осаду с Рисаля — уехал Санчес, отступился сам Пастельс. Но церковный надзор остается, иезуиты многотерпеливы, вдруг подвернется подходящий случай... Приходский священник Обач и его коллега Балагер (тот самый, который

заставил дапитанских дам снять чулки) внимательно следят за каждым шагом Рисаля. Тот их не выносит, считает недостойными служителями в целом чтимого им ордена. Но обратиться он может только к ним и скрепя сердце отправляется к Обачу. Пронырливый иезуит тут же хватается за представившуюся возможность: похвально, весьма похвально. Конечно, он готов обвенчать их. Но вот маленькая загвоздка: Пепе считают еретиком. Видимо, это не так, раз он просит совершить над ними таинство бракосочетания. Но все филиппинцы и многие испанцы полагают, что он безбожник. Рассеем это пагубное заблуждение — пусть Лепе напишет отречение от своих взглядов, и тогда он со слезой умиления обвенчает их.

Рисаль чувствует, что ему расставляют сеть. Нельзя ли обойтись без отречения? Никак нельзя. А каков текст отречения? Ну, сказать, что отказывается от прежних взглядов и возвращается в лоно церкви. Обач готов продиктовать текст. Рисаль записывает несколько вариантов, но все еще сомневается. Что ж, если Пепе сомневается, запросим епископа Себу — тот подтвердит, что без отречения невозможно. Несколько недель кряду Рисаль чуть ли не ежедневно наносит визиты Обачу. Да, тот послал запрос епископу — вот-вот придет ответ. Ответ действительно приходит: епископ целиком поддерживает иезуита и категорически запрещает венчание без отречения. «Ах так, — решает Рисаль, — значит, его хотят взять измором, играют на святых чувствах. Никакого отречения не будет!» — «Но ведь на Филиппинах нет гражданского брака?» — вкрадчиво замечает Обач. «Нет — и не надо. Все равно он будет жить с Хосефиной как с женой!» — «Но ребенок, ребенок! Как же он — ведь он будет незаконнорожденным, кто его будет крестить?!» Это уже явный шантаж. Вспылив, Рисаль заявляет, что такое поведение недостойно служителя церкви. Он и его ребенок обойдутся и без нее.

В конце года у Хосефины выкидыш. Несчастье происходит ночью в пустом доме, сам Рисаль ночует в другом месте, у учеников. С Хосефиной только малолетний племянник Рисаля. Перепуганный мальчик бежит через страшно шелестящие заросли и громко зовет «дядю Пепе». Рисаль бросается к любимой женщине. Ребенок — мальчик! — рождается мертвым. Рисаль оказывает срочную помощь роженице. Дав ей успокоительное и убедившись, что она засыпает, он заворачивает мертвого младенца в циновку и идет с ним вверх по ручью, который он столько раз описывал и в стихах и в письмах. И где-то выше по течению он выкапывает могилку, опускает в нее тельце и тщательно, так, чтобы нельзя было найти место, разравнивает землю. Потом долго стоит, подняв глаза к звездам.

Это тяжелейший удар. Он, рационалист и скептик, не верящий ни в

католического бога, ни в филиппинских духов, все же верит в провидение, верит, что происходящие на земле события имеют сокровенный смысл, верит, что они полны символического значения. И. считая себя пророком, способным провидеть будущее, полагает, что этот тайный смысл открыт ему. Вся его жизнь, вся его деятельность бесплодны, ее результаты мертворожденны — вот подтверждение! Он давно обречен, он отмечен знамением. Ему суждено только приносить несчастья всем, прежде всего самым близким и дорогим ему людям. Значит, надо оставить их, надо принять удары судьбы на себя, пощадить дорогих ему людей. Надо во что бы то ни стало покинуть Филиппины.

Он не собирается вернуться к прежним делам, но обращается к властям с просьбой облегчить его участь. Собственно, хлопотать об этом он начал еще за год до встречи с Хосефиной, в феврале 1894 года. Он отправляет два письма преемнику Деспухоля — Рамону Бланко.

В ноябре 1894 года Бланко сам приезжает в Дапитан и встречается с Рисалем. Он обещает перевести ссыльного на остров Лусон, о чем Рисаль сообщает Блюментритту уже в 1895 году: «Прошло пять месяцев с тех пор, как генерал-губернатор обещал перевести меня в Северный Илокос (провинция на острове Лусон. — *И. П.*), но до сих пор его обещание не выполнено». Оно так и останется невыполненным. Бланко вовсе не хочет видеть Рисаля в самом центре беспокойного района. Он предпочитает вообще избавиться от ссыльного, доставляющего ему столько хлопот, и предлагает ему уехать в Испанию. Но и этого обещания он не выполняет, несмотря на неоднократные напоминания Рисаля.

24 февраля на Кубе вновь вспыхивает революция. Во главе ее стоит Хосе Марти — тоже писатель, как и Рисаль, но одновременно революционный вождь, не знающий в отличие от Рисаля никаких сомнений относительно необходимости прибегнуть к оружию. На подавление революции посылают Вейлера, старого недруга Рисаля. Не кто иной, как Блюментритт, предлагает Рисалю отправиться волонтером в испанскую армию, действующую на Кубе. Письмо Блюментритта с этим посланием не сохранилось, но 20 ноября 1895 года Рисаль пишет ему: «Что до твоего предложения отправиться на Кубу в качестве хирурга, то мне оно кажется превосходным, и я собираюсь сейчас же подать прошение генерал-губернатору. Климат там почти такой же, как и здесь, и умирать что здесь, что там — все равно, как захочет бог. Я стал немного фаталистом». Заметим, что незадолго до отъезда из Европы вопрос о том, где умирать, был далеко не безразличен для Рисаля — он прямо заявлял, что нельзя упускать возможность умереть на родине и за родину. Одно это показывает,

какой сдвиг произошел в сознании Рисаля.

Блюментритту он обещает подать прошение сейчас же, однако не торопится с ним. И только семейное несчастье убеждает его, что надо уезжать немедленно. Сразу после похорон мертворожденного сына он направляет Бланко прошение следующего содержания:

«Сеньор Хосе Рисаль Меркадо и Алонсо, лицензиат медицины и хирургии университета Сан Карлос в Мадриде, 34 лет от роду, с почтением обращается к вашему высокопревосходительству.

Узнав о нехватке медицинского персонала на Кубе и об издании королевских указов о предоставлении лицам не старше 45 лет вакансий, нижеподписавшийся, обладая данными, требуемыми упомянутыми указами, нижайше просит ваше высокопревосходительство принять его просьбу о заполнении вакансии временного хирурга на острове Куба на время кампании.

Не сомневаюсь в милости вашего высокопревосходительства, да продлит господь бог ваши дни.

Дапитан, 17 декабря 1895 г.

Хосе Рисаль».

Как ни горько это сознавать, Хосе Рисаль, этот борец против колониального гнета, просится волонтером в армию, железом и кровью подавляющую восстание против колонизаторов. Правда, он ищет вакансии врача, значит, стрелять в повстанцев (а среди них наверняка много его друзей по Мадриду) ему не придется. И все же... Общая интонация его писем и разговоров в это время, его психологической настрой свидетельствуют, что для него главное сейчас — покинуть Филиппины любой ценой. Неважно куда, неважно с какой целью.

Рамон Бланко — осторожная лиса и большой лицемер — пересылает прошение министру заморских территорий, тот — военному министру, тот, в свою очередь, Бейлеру. Генерал, занятый планами предстоящей кампании, пожимает плечами и налагает резолюцию «Не возражаю», — что ему за дело до индио, который доставил столько хлопот в бытность его генерал-губернатором Филиппин? Ответ идет в Мадрид, оттуда в Манилу, где 1 июля 1896 года Рамон Бланко сочиняет ответное послание Рисалю:

«Любезный сеньор!

Я передал правительству вашу просьбу, и оно не имеет возражений против вашей поездки на Кубу для службы в армии в качестве хирурга в медицинском корпусе. В соответствии с этим, если вы все еще желаете осуществить ваш замысел, команданте вашего района выдаст вам пропуск

для проезда в столицу (колонии. — *И. П.*), где я, в свою очередь, выправлю вам паспорт для поездки на полуостров (в Испанию. — *И. П.*), где военный министр оформит вам назначение в действующую армию на Кубе для службы в медицинском корпусе.

Одновременно я посылаю команданте соответствующие инструкции, так что вы можете отплыть немедленно.

Возможность доставить вам удовольствие была честью для вашего покорного слуги, который целует вашу руку.

Рамон Бланко».

Еще месяц уходит на то, чтобы это послание дошло до Дапитана. Рисаль уже устал ждать и потерял надежду на получение ответа. Когда команданте вызывает его к себе и вручает письмо генерал-губернатора, он ощущает, по его собственным словам, «кисло-сладкий вкус» во рту, словно «мне предложили холодное мясо после десерта».

Поначалу он хочет задержаться до следующего парохода: надо продать имущество, взыскать долги. Но Хосефина и гостящая у него в это время Нарсиса «плачут и прыгают от радости», и он решает отплыть на другой же день. У него тоже есть основания поторапливаться, хотя он не говорит об этом ни Хосефине, ни сестре. За месяц до получения ответа от Рамона Бланко у него побывал странный посетитель.

Сменявшие друг друга команданте бдительно следили за своим подопечным и не раз высылали «подозрительных людей», задерживали и перлюстрировали корреспонденцию. Но трудно выявить эмиссаров в потоке больных, приезжающих к знаменитому врачу. О многом Рисаль узнает раньше, чем его надзиратели. Глухие раскаты, предвещающие грозные события, доносят до него многие люди. И самое недвусмысленное свидетельство надвигающейся грозы приносит ему человек по имени Пио Валенсуэла. Он приезжает 21 июня 1896 года как сопровождающий слепого. На другой день он просит Рисаля о конфиденциальной встрече. Рисаль привык к подобным просьбам и приглашает гостя пройти к скамье под деревом — там их никто не услышит.

Гость сообщает Рисалю удивительные вещи. Катипунан, тайный союз, созданный в день объявления о ссылке Рисаля, превратился в массовую революционную организацию и имеет отделения по всей стране. Все члены Катипунана подразделяются на три ранга по ступеням посвящения: рядовые члены, которые опознают друг друга по паролю «сын страны», так называемые «солдаты» с паролем «Гомбурса» (по именам мучеников 1872 года Гомеса, Бургоса и Саморы) и, наконец, «патриоты», у которых паролем

служит слово «Рисаль». В этом находит общее для всех революционеров отношение к Рисалю — для них он вождь всего народа. Так считает и руководитель Катипунана Андрес Бонифасио. 1 мая 1896 года штаб Катипунана (в помещении штаба висит портрет Рисаля, сам он избран почетным президентом) решает направить к Рисалю эмиссара. И вот сейчас этот эмиссар имеет честь беседовать с почетным президентом Катипунана.

Содержание их беседы остается предметом многочисленных контроверз для историков. Сам Рисаль так скажет об этом на суде: «О том, что замышляется восстание, я не знал до 1 или 2 июля, когда Пио Валенсуэла прибыл ко мне (ошибка Рисаля — Валенсуэла прибыл 21 июня. — *И. П.*) и рассказал о готовящемся восстании. Я ответил ему, что это абсурдно и т. д. и т. д., но он сказал, что они уже не в силах справиться с ситуацией. Я посоветовал им иметь терпение и т. д. и т. д. Он добавил, что они послали его ко мне, потому что боялись за мою жизнь и что они (испанцы. — *И. П.*) припишут его (восстание. — *И. П.*) мне. Я ответил, что буду осторожен, а если они (испанцы. — *И. П.*) что-нибудь предпримут против меня, я докажу свою невиновность. Что касается всего остального, то я добавил: «Не думайте обо мне, подумайте о стране, которой придется страдать». И снова я объяснил ему, насколько бессмысленно все движение».

Пио Валенсуэла дает несколько иную картину, но надо иметь в виду, что мемуары он напишет через несколько десятков лет, кроме того, он сдастся испанским властям через неделю после начала революции и даст показания, на которых в значительной мере будет строиться все обвинение против Рисаля. После сдачи ему надо спасти жизнь, при написании мемуаров — репутацию, так что его свидетельство следует принимать с осторожностью. По его словам, Рисаль, подробно расспросив о деятельности Катипунана, произносит: «Итак, брошенное семя проросло. Решения Катипунана правильны, патриотичны, а главное — своевременны, ибо сейчас Испания ослаблена революцией на Кубе». Затем, по словам Валенсуэлы, он сообщает Рисалю, что в Катипунане 30 тысяч членов и что руководители не в силах предотвратить начало восстания — оно может вспыхнуть в любой момент. Рисаль якобы отвечает, что это ему представляется опасным, ибо нет оружия, нет поддержки иностранных держав, а филиппинская принсипалия тоже не поддерживает идею восстания. По последнему пункту, утверждает Валенсуэла. Рисаль якобы говорит: «Нет другого пути, кроме как привлечь в вашу организацию всех богатых и влиятельных лиц в Маниле и в провинциях. Вы могли бы воспользоваться услугами Антонио Луны — он умен и вхож во многие

дома в Маниле. Кроме того, он мог бы руководить военными действиями, если вспыхнет вооруженная борьба». Далее, говорит Валенсуэла, он предлагает Рисалю возглавить революцию и тот якобы отвечает, что он «готов».

Свидетельству Валенсуэлы противоречит многое — и показания Рисаля, и его поступки. Но кое-что в рассказе Валенсуэлы, видимо, соответствует действительности. В частности, Рисаль скорее всего в самом деле рекомендует Антонио Луну: генерал революции Алехандрино пишет в своих мемуарах, что именно через него руководители Катипунана пытались установить контакты с Луной «по рекомендации Рисаля», но Луна категорически отказался участвовать в их действиях, по тем же мотивам, что и Рисаль; щелкнув себя по зубам, он спросил: «А чем воевать? Этим, что ли?» Не исключено, что Рисаль говорил и о Японии, и о необходимости привлечь приписалию, но скорее не в контексте руководящих указаний, а возражая против вооруженного выступления.

По возвращении Пио Валенсуэла излагает Андресу Бонифасио суть своих бесед с Рисалем. Тот ошарашен: не этого он ждет от кумира. Сначала он просто не верит своему посланцу, но тот стоит на своем. Тогда (по словам Валенсуэлы) Бонифасио приходит в ярость и кричит: «Да где, когда революция начиналась при условиях, которых он требует? Никогда революционеры не имели перевеса с самого начала». С трудом успокоившись, Бонифасио категорически запрещает дону Пио говорить кому бы то ни было об истинном отношении Рисаля к вооруженному выступлению. Они обойдутся без него. Но и отречься от него они тоже не могут — слишком многое в Катипунане ориентировано на Рисаля. Бонифасио все же пытается следовать советам изгнанника. Его посланцы обращаются к известным манильским богачам, но получают отказ и даже угрозы сообщить обо всем испанцам. Богатейший из них, дон Франсиско Рохас, восклицает: «Что за глупость! Я не дам вам ни сентаво. А если вы не откажетесь от вашей дурацкой затеи, я выдам Катипунан и его членов властям».

И тогда Бонифасио следует другой рекомендации Рисаля, изложенной в романе «Мятеж» — настольной книге вождя Катипунана. Там Симон пытается столкнуть местную приписалию с властями, не останавливаясь перед провокацией: с помощью китайца Кирогги он подбрасывает ружья в дома богачей, чтобы потом сообщить о складах оружия властям. Вызывая власти на репрессии, компрометируя местную верхушку, он тем самым толкает ее в лагерь повстанцев. И Бонифасио решает воспользоваться подсказанным Рисалем способом. Когда до властей начинают доходить

слухи о существовании подпольной организации, Бонифасио фабрикует письма, из которых явствует, что видные представители принсипалии активно участвуют в ней, и делает так, что письма попадают в руки властей. Следуют аресты и пытки, в числе арестованных оказываются многие друзья и соратники Рисаля, которые начинают давать показания. Позднее многие, и том числе и дон Франсиско Рохас, не пожертвовавший ни сентаво Катипунану, будут казнены.

Но это еще впереди, Пока же Рисаль смутно осознает надвигающуюся угрозу и решает как можно скорее покинуть Дапитан и Филиппины. К этому толкает его и реакция сестры и Хосефины. Он уедет завтра же, тем же пароходом, что привез весть о даровании разрешения на выезд. Благодарные дапитеньос приходят проститься со своим гостем, так много сделавшим для города. Рисаль поручает продать — пусть в убыток — свою земельную собственность. Ученикам он раздает вещи — кому кресло, кому картину, кому книгу.

Он подходит к окну и видит сотни людей. Пришел весь город, нет только монахов, которые демонстративно игнорируют это событие. Городской оркестр, гордость Дапитана, разместился на скале у самой воды. Хосефина и Нарсиса уже в лодке. Пора и ему. Рисаль медленно спускается по ступеням и, сопровождаемый плачущими дапитеньос, идет к берегу. Потом вдруг останавливается, просит всех оставаться на месте и возвращается к небольшому деревянному домику, служившему ему для научных занятий. Постояв несколько секунд, он чиркает спичкой и поджигает строение. Сухое дерево сразу занимается. Рисаль круто поворачивается и не оглядываясь идет к лодке. Он садится, и гребцы опускают весла на воду. Оркестр заиграл «Похоронный марш» Шопена. Печальные звуки плывут над водой, лодка скользит по заливу. Похоронным маршем дапитеньос выражают свою скорбь, навеянную расставанием с Рисалем. Для него он — предзнаменование грядущего конца.

Начинается страшный бег наперегонки со смертью.

«ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАЙ»

*Прощай, мой дом желанный
и солнце в ясной дали,
жемчужина Востока,
потерянный наш рай.
Пусть жизнь моя прервется,
умру я без печали.
И если б сотни жизней
мне в будущем сияли —
я с радостью бы отдал
их за тебя, мой край!*

Хосе Рисаль. Последнее прощай

Девять человек — сам Рисаль, Хосефина, Нарсиса с дочерью, три племянника и слуги — занимают единственную каюту первого класса. Но это первый класс испанского судна, а потому в каюте шесть коек. Тесновато, но главное, считает Рисаль, он в пути. А раз в пути, неизбежен дневник. И запись от 31 июля 1896 года (первый день путешествия) гласит: «Я пробыл в этом районе четыре года, тринадцать дней и несколько часов». Это верное свидетельство того, что Рисаль тяготился изгнанием и считал дни и даже часы.

Почтовое судно с громким названием «Эспанья» («Испания») и скверным обслуживанием спешит в Манилу, чтобы успеть до отплытия в Испанию парохода «Исла де Лусон», но все же останавливается по пути — иногда на несколько часов, а иногда и на сутки. Основная причина задержек — сам Рисаль. Он вынужден делать на стоянках сложные операции, его слава врача-чудотворца опережает судно, и многие больные — а среди них есть люди влиятельные — требуют не отправлять пароход, пока Рисаль не примет всех больных. В городе Думагете он оперирует капитана гражданской гвардии, в Себу, отмечает он, «многие прибыли на корабль из любопытства и для лечения», здесь ему приходится сделать четыре сложнейшие операции. И дает десятки консультаций «богатым празднующимся».

Дневник выдержан в спокойных тонах, в нем даже сквозит радость. Появляются описания излюбленных Рисалем морских видов, есть в нем и

необычайно яркие зарисовки филиппинской действительности. «Мы видели, — записывает он, — отряд рекрутов. Они маршировали со связанными руками, и за ними шел и играл оркестр!» В одной этой сценке, как в капле воды, отражена вся жизнь колониальных Филиппин.

Шестого августа на рассвете «Эспанья» входит в Манильскую бухту. Но парохода «Исла де Лусон» там нет — он отплыл в Испанию накануне. До следующего парохода — месяц, и за этот месяц произойдут события, которые предрешат судьбу Рисаля. Первый этап гонки со смертью проигран.

Судно еще не успевает дойти до якорной стоянки, как к нему подваливает катер. На нем лейтенант гражданской гвардии в сопровождении рядовых гвардейцев. Лейтенант сообщает сеньору Рисалю, что тому приказано не покидать корабль — вечером его примет сам генерал-губернатор. Он, лейтенант, прислан «составить сеньору Рисалю компанию». Все пассажиры, в том числе Нарсиса и Хосефина, сходят на берег. Рисаль остается один, но ненадолго: на катере пребывают донья Теодора, сестры Люсия, Тринидад и Мария, племянники и племянницы. Чуть позже вновь появляются Нарсиса и Хосефина — они только успели переодеться и вновь спешат на корабль: Нарсиса — к обожаемому Пепе, Хосефина — к любимому Джо. День проходит в беседах, воспоминаниях. О будущем говорить избегают: всем ясно, что что-то неладно, ведь недаром же его не пускают на берег.

Вечером лейтенант вежливо, но твердо просит родственников покинуть судно. Рисаль опять остается один, опять ждет. Чего? Пока неизвестно. Только после десяти вечера на судно прибывает еще один офицер. «Его высокопревосходительство изволили переменить решение и не примут сеньора Рисаля. Его высокопревосходительство приказали доставить сеньора Рисаля на крейсер «Кастилия» — он стоит в нескольких милях отсюда, напротив города Кавите. Соблаговолите следовать за мной».

Канонерка доставляет Рисаля на борт крейсера. Там его встречает командир и приглашает к себе в каюту, «простую, но удобную и со вкусом обставленную. Он просит меня сесть и сообщает, что по приказу капитан-генерала я задержан, но не являюсь арестованным на борту крейсера, чтобы избежать осложнений — как со стороны друзей, так и со стороны врагов. Я отвечаю, что рад такой мере, ибо она избавит меня от многих неудобств, и что я сожалею-только о том, что крейсер стоит далеко от Манилы и я не смогу увидеть родителей». Рисаля помещают в каюту без иллюминатора, приставляют к нему вестового, он же и охранник. Начинается месячное «сидение» Рисаля на крейсере.

Фактически он отрезан от мира, но все же его посещают мать и сестры. Мужчины у него не бывают: дон Франсиско ссылается на недуги, что до брата, то Пасиано еще со времен Гонконга не желает видеть Пепе. Он не одобрил его возвращения на Филиппины и считает, что Пепе совсем перестал думать о семье.

На берегу между тем назревает семейная драма. Хосефину по требованию Рисаля принимают в семью, но все разговаривают с нею чрезвычайно холодно. В ней видят чуть ли не главную причину всех несчастий. И только Нарсиса, последние несколько месяцев прожившая бок о бок с Хосефиной, сочувствует ей. Рисаль просит ее прислать ему одежду — она по ошибке посылает фрак. Зачем ему фрак на крейсере? Он мягко упрекает ее, сестры же бросают ей в лицо: такой пустяк не может сделать как следует. Хосефина шлет горькие письма на борт крейсера: «О любимый мой, я так страдаю здесь в Тросо (район Манилы, где живет семья Рисаля. — *И. П.*); может быть, они и впрямь должны стыдиться меня, потому что я не жена тебе, но ведь они об этом говорят открыто, в присутствии сеньоры Нарсисы, детей. Так что не удивляйся, если вдруг услышишь, что я больше не появляюсь в Тросо». И в конце письма: «Если ты поедешь в Испанию, постарайся разыскать какую-нибудь свою прежнюю любовь и женись на ней — это лучше, чем жить как мы с тобой. Я не стыжусь того, что было, пусть люди знают, что я жила с тобой, но раз твои обожаемые сестры стыдятся меня, тебе лучше жениться на ком-нибудь другом. Твоя сестра Нарсиса и твой отец — они очень хорошие и добры ко мне».

Бедная Хосефина пытается попасть на прием к генерал-губернатору, но адъютант не пропускает ее: кто она такая, чтобы докучать его высокопревосходительству? Даже не жена Рисалю.

Но все это не самое серьезное. Смутные слухи о существовании разветвленной тайной организации, ставящей целью вооруженное восстание, циркулируют все упорнее. Вообще удивительно, как в течение четырех лет испанские власти не смогли раскрыть существование громадной организации, насчитывавшей до 30 тысяч членов. Их подводит собственное высокомерие: они не считают туземцев за людей. Вот те из них, кто имеет кое-какое образование, — те могут причинить неприятности: юристы, бизнесмены, вообще все масоны. А невежественные низы — ну на что они способны? Только на то, чтобы быть игрушкой в руках масонов. И всякий раз, когда осведомители сообщают, что в низах идет брожение, что они вроде бы создали тайную организацию, полицейские чины, презрительно поморщившись, откладывают донесения в долгий ящик, наложив резолюцию:

«Рассмотрено (это означает: «мер не принимать»)). Следить за иллюстрадос». Два-три монаха тоже передают сведения, почерпнутые из исповедей прихожан: кое-кто участвует в тайных сборищах. Запрос властей: «А иллюстрадос участвуют в этих сборищах?» — «Таких сведений нет». — «Ну и прекрасно». И опять никаких мер.

Пятого июля некий лейтенант гражданской гвардии шлет донесение: «Члены какого-то общества вербуют людей для неизвестных целей, заставляют их кровью подписывать клятву». Резолюция: «Рассмотрено». 13 августа аналогичное донесение получают от одного священника. Наконец, 19 августа двое катипунерос основательно повздорили между собой, и один из них, Теодоро Патиньо, в сердцах грозит выдать все секреты организации. Он сообщает обо всем сестре, монахине, та — своей настоятельнице, та, в свою очередь, убеждает Патиньо действительно рассказать обо всем приходскому священнику Мариано Хилью. Полученная информация производит на Хилья большое впечатление. Но он знает, что Малаканьянг с недоверием относится к такого рода сообщениям, и требует от Патиньо конкретных доказательств. Пожалуйста: в типографии, где работает Патиньо, печатают бланки расписок о получении членских взносов. Хиль с несколькими гражданскими гвардейцами отправляется в типографию. Патиньо показывает литографский камень, с которого печатают бланки расписок. Гражданские гвардейцы наугад (или по указанию Патиньо) взламывают сундучок, где хранятся вещи и инструменты одного из рабочих, и находят: устав Катипунана, протоколы заседаний отделения, расписки и кинжал.

Полученные доказательства нельзя игнорировать: начинаются аресты. Бонифасио и еще нескольких человек из его ближайшего окружения успевают предупредить. В тот же день он фабрикует письма, компрометирующие принципалию, и передает по цепочке приказ: всем катипунерос собраться 24 августа в местечке Балинтавак. Аресты начинаются уже 19 августа, 21 августа Бланко телеграфируют в Мадрид о раскрытии «обширной тайной организации с антинациональными тенденциями» и об аресте 22 человек — по подложным письмам Бонифасно. Сам Бонифасио 21 августа прибывает в местечко Пугад Лавин, не сумев добраться до Балинтавака, и здесь 23 августа призывает к восстанию. В знак согласия все присутствующие разрывают свои налоговые карточки (они же — удостоверения личности) и тем отрезают себе путь к отступлению^[34]. Так начинается первая в Азии национально-освободительная революция.

Первое столкновение происходит на окраинах Манилы: Бонифасио и

тут действует по рецепту Симона, героя «Мятежа», который тоже наносил удар из провинции по столице. Но здесь повстанцы терпят поражение и вынуждены отступить. Однако в другом месте, в городе Кавите, напротив которого стоит крейсер «Кастилия», молодой алькальд, член Катипунана Эмилио Агинальдо неожиданно одерживает победу: узнав, что его собираются арестовать, он поднимает местных катипунерос и скоро захватывает город и почти всю провинцию. Только арсенал и порт остаются в руках испанцев по той причине, что их прикрывают огнем с военных кораблей, чей флагман «Кастилия», на борту которой томится Рисаль. Гром орудийных залпов сразу говорит ему обо всем: «Началось!» Он то звал к восстанию, то предостерегал против него. И вот оно началось — без него, но вдохновленное им. Ночью ему разрешают подняться на капитанский мостик. «Да не допустит господь столкновений этой ночью, — записывает он в дневнике. — Несчастные соотечественники обезумели и идут на верную гибель. Говорят, что совершено нападение на Имус».

Его отношение к начавшемуся восстанию определяется сразу же: «Это не мое дело, я этого не хотел». У него нерушимое алиби: весь месяц он находился под строжайшим надзором на борту крейсера. Конечно же, его ни в чем не могут обвинить, и он испытывает даже некоторое облегчение, которое сквозит в письме Блюментритту: «Генерал-губернатор отправил меня на крейсер «Кастилия», где я был отрезан от всех и встречался только с семьей. Как раз в это время в Маниле произошли беспорядки, о чем я сожалею, но как раз они показывают, что я вопреки их предположениям не тот, к кому сходятся все нити. Моя полная невиновность доказана».

Непричастность Рисаля к происшедшим событиям ясна и властям, о чем свидетельствует письмо Бланко Рисалю, отправленное 30 августа. Из общей интонации письма следует, что Бланко как бы приглашает Рисаля посмотреть со стороны на происходящее, в котором тот, с его точки зрения, не замешан. Есть в нем даже и похвальба собственной предусмотрительностью: он изолировал Рисаля, и все обернулось к лучшему, теперь он вне подозрений. Одновременно генерал-губернатор Бланко передает Рисалю два идентичных письма: военному министру и министру заморских территорий. В них он пишет: «С глубокой симпатией рекомендую вам доктора Хосе Рисаля, который отбывает на полуостров (в Испанию. — *И. П.*) в распоряжение правительства, желая предложить свои услуги в качестве хирурга в действующей армии на Кубе. Его поведение в течение четырех лет ссылки в Дапитане было безупречным, и, по моему мнению, он тем более заслуживает прощения и благосклонности, что никоим образом не замешан ни в химерической попытке, которая стоит нам

столько крови, ни в каком бы то ни было заговоре или тайной организации». Это полное оправдание Рисаля верховной колониальной властью. Казалось бы, второй этап гонки со смертью начинается при благоприятных для Рисаля обстоятельствах.

2 сентября Рисаль переходит на борт парохода «Исла де Панай», который на следующий день отплывает в Испанию. Он вроде бы свободен: каюта с иллюминатором, охраны нет. Он даже обедает за капитанским столом. С началом нового путешествия начинается и дневник. Первые записи вполне спокойные, даже умиротворенные. Он отмечает только скверный сервис: столовую посуду моют в одном тазу, и Рисаль, всегда чрезвычайно требовательный по части гигиены, сам моет свой прибор. Но уже через день тон дневника меняется: появляются тревожные нотки, его заботит уже не санитария, а отношение к нему самому. На борту «Исла де Панай» два иезуита, один из которых тяжело болен, фактически при смерти: от него отказывается судовой врач. Рисаль, движимый природным человеколюбием и убеждением, что врач должен бороться за жизнь больного до конца, не отходит от койки умирающего. В знак признательности другой иезуит посвящает Рисаля во все слухи и толки, циркулирующие на пароходе. Рисаль, столь общительный, уже заметил, что пассажиры сторонятся его. Рисаль записывает со слов иезуита: «Меня избегают, потому что верят, будто я — причина беспорядков в Маниле. Мне остается только смеяться над наивностью и невинностью этих индивидов».

Но смеяться, собственно, нечему. 8 сентября «Исла де Панай» прибывает в Сингапур. Из местных газет становится известным, что положение осложнилось: повстанцы одерживают верх во многих местах, власти шлют подкрепления, но Испания далеко, и они еще в пути. Попутчик Рисаля на пароходе — Педро Рохас, брат того Франсиско Рохаса, который арестован и уже расстрелян в Маниле. Узнав о происшедшем, Педро вместе с сыном сходит на берег и не возвращается на корабль. На борт парохода поднимаются филиппинцы, живущие в Сингапуре, и умоляют Рисаля последовать примеру дона Педро. «Стать беглецом — никогда! — отвечает Рисаль. — Я дал слово генералу Бланко, что отправлюсь на Кубу служить в испанской армии. В любом случае Бланко позаботится обо мне». Позаботится, но не так, как думает Рисаль.

Тогда филиппинцы предлагают срочно возбудить дело в сингапурском суде о нарушении habeas corpus, закона о неприкосновенности личности: в сингапурских водах, то есть на английской территории, незаконно задержан человек. Суд может задержать выход судна в море. И от этого Рисаль категорически отказывается: ведь он не пленник, не арестованный и,

главное, верит «слову кабальеро», данному Бланко.

Проходят девять тревожных дней. Судно подходит к Адену. Запись в дневнике: «Среди пассажиров ходят слухи, будто я, уж не знаю где, провозгласил тост: «Самым прекрасным для Филиппин будет день, когда мы сможем пить вино из черепов испанцев» (!!!) И этому верят!» Неделю спустя, на подходе к Мальте, они встречают пароход «Исла де Лусон» — тот самый, на который Рисаль опоздал за два месяца до того. Пароход набит солдатами — на Филиппины срочно перебрасывают подкрепления. Умирает опекаемый Рисалем иезуит, тело его предают морю. Для Рисаля это тоже дурное предзнаменование. А на подходе к Мальте он получает предписание капитана — не покидать каюты во время стоянки. Рисаль письменно отвечает, что выполнит распоряжение, но хотел бы знать причину столь необоснованного приказа. Капитан отвечает, что этого требуют пассажиры, — они опасаются, что Рисаль сойдет на берег и не вернется на судно. Он, капитан, верит слову Рисаля, но нет вреда и в мерах предосторожности.

Через благожелательно настроенного к нему иезуита Рисаль узнает, что его намерены заточить в крепость Сеута в испанском Марокко напротив Гибралтара. Но как же слово Бланко? «Если эти дурные вести верны, мне остается только усомниться во всем». А Блюментритту он пишет, что Бланко поступает, как последний бандит с большой дороги и даже хуже — это единственное место во всех дневниках Рисаля, где он употребляет нецензурное выражение. «Я не виновен, а теперь в награду они заточают меня в тюрьму!!! Это позор, но если это правда...»

Это правда. Что же произошло за время путешествия, что превратило Рисаля, свободного человека, 2 сентября взошедшего на борт «Исла де Панай», в арестованного, 3 октября прибывшего в Барселону? Весь этот месяц шел интенсивный обмен телеграммами между Манилой и Мадридом. Первая телеграмма отправлена Бланко 2 сентября, в день отплытия парохода из Манилы, и адресована министру заморских территорий. В ней Бланко сообщает, что Рисаль следует в Испанию, а оттуда намерен отправиться на Кубу: «Он готов выполнить свой долг. Заверения в этом вполне искренни, не по форме, а по существу, что доказывается тем, что он не замешан в недавно раскрытом движении, о котором я сообщал вашему высокопревосходительству». В ответ министр шлет телеграмму Бланко: «Прошу ваше высокопревосходительство уточнить, следует ли Рисаль в Испанию как ссыльный, каково место его назначения, тщательно ли его охраняют». Из текста телеграммы опытный служака Бланко делает вывод: он дал промашку, в Мадриде Рисаля считают

опасным преступником. Карьера — дело важное, куда важнее, чем слово, данное Рисалю. В тот же день, 7 сентября, он шлет зашифрованный ответ: «Подтверждаю: Рисаль ссыльный, под охраной капитана «Исла де Панай». Не удовлетворившись этим, он посылает еще одну телеграмму, чтобы отречься от прежних своих отзывов, благоприятных для Рисаля: «Хотя Рисаль кажется не замешанным (в беспорядках. — *И. П.*) и несмотря на его хорошее поведение... ничего не можем гарантировать. Поступайте, как считаете нужным, решайте его судьбу там».

Министр докладывает кабинету, что Рисаль должен прибыть в Барселону и поступить в распоряжение местного начальника гарнизона, — соответствующий приказ уже послан. Начальник гарнизона в Барселоне не кто иной, как Эулохио Деспухоль, он же граф Каспе, за четыре года до того сославший Рисаля в Дапитан. Получив предписание заключить Рисаля в замок Монтхуич, он запрашивает у военного министра подтверждение этому распоряжению. Тот шлет короткое «да», но сам, в свою очередь, обращается к премьеру, ибо сам военный министр только что получил иное распоряжение, а именно заточить Рисаля в замок Алусемас в Сеуте. Премьер подтверждает это последнее распоряжение. Телеграмма от необходимости строгого наблюдения за Рисалем и о предстоящем заключении в Сеуте идет на Мальту на имя капитана «Исла де Панай», ее содержание — через иезуита — становится известным Рисалю.

Но Деспухоль пока ничего не знает об этом — у него приказ заточить Рисаля в Монтхуич. Три дня Рисаль проводит на борту судна. Только 6 октября его будят среди ночи, грубо велят одеться и собрать вещи. На берегу ждут два конных стражника. Небо над Барселоной светлеет — пять часов утра. Стражники, не слезая с седел, принимают арестованного — так они именуют Рисаля — и говорят, что тот сам должен нести свои чемоданы в замок, вверх по склону. Тяжело? Там книги? Тогда пусть бросает чемоданы, им наплевать. Мимо идет случайный прохожий, какой-то бедняк спешит пораньше в порт в надежде заработать. За два песо он соглашается донести чемоданы.

В замке Рисаля помещают в камере номер 11. Ему ничего не объясняют, а вскоре после полудня снова велят собраться — теперь его отправят назад, в порт. Зачем? Что все это значит? Офицер грубо кричит на Рисаля. Он опять сам несет свои чемоданы до выхода из замка и опять нанимает какого-то бедняка. В порту происходит задержка: Рисаля требует к себе генерал-лейтенант Деспухоль, только что наблюдавший за посадкой на суда войск, отправляемых на Филиппины. «Генерал был в парадном мундире, при орденской ленте, — записывает Рисаль. — Пожалуй, он

похудел. Он принял меня несколько минут стоя и объяснил мне мое положение. Он только что получил телеграмму из Мадрида — ему приказано поместить меня на борт парохода как заключенного. Он уже заказал каюту второго класса. Я могу ходить по кораблю, но не имею права сходить на берег. С четверть часа мы говорили о разных важных вещах, затем я покинул его».

Итак, встреча холодная и короткая — генерал даже не предлагает Рисалю сесть. Рисалю отправляют на пароход «Колумб», отплывающий в Манилу. За день до того произошел еще один поворот событий, поворот, трагический для Рисалю. Военный министр запросил Бланко: «Телеграфируйте ответственность Рисалю восстанию, ваше личное мнение, как ним обращаться». На этот вопрос Бланко, тотчас уловивший недовольство начальства, шлет ответ, предрешивший судьбу Рисалю: «После отъезда Рисалю получены серьезные доказательства его причастности к восстанию. Следователь требует вернуть Рисалю в его распоряжение». Этот следователь — полковник Франсиско Оливе, в свое время сжегший Каламбу, давний недруг Рисалю.

Бланко все же получает выговор за «непоследовательность»: сначала он высказывался в пользу Рисалю, теперь требует вернуть его на Филиппины. Эта его просьба удовлетворяется: военный министр шлет телеграмму Деспухолу, который и зачитал ее Рисалю. Итак, не Сеута, а Манила. Гонка со смертью проиграна окончательно.

Корабль «Колумб» тоже везет подкрепления на Филиппины. Рисаль находится под неусыпным надзором: у дверей его каюты дежурят двое часовых; каждые полчаса, даже ночью, в каюту заглядывает офицер, грубо кричит, требует, чтобы Рисаль не закрывал дверь, чтобы днем сидел, а ночью не покрывался одеялом, срывает его с него, дергает за ноги. Грубияна сменяет другой офицер, более воспитанный. «Он, — пишет Рисаль, — сказал мне, что многие мадридские газеты считают меня ответственным за беспорядки на Филиппинах, и все верят этому. Боже мой! Значит, общественное мнение против меня! Однако я, с помощью божьей, надеюсь доказать свою невиновность. Я не отчаиваюсь — лишь бы суд был справедлив!»

Надежда на справедливый суд призрачна, это сознает и сам Рисаль, о чем свидетельствует запись, сделанная в тот же день. Рисаль возвращается к отвергнутой было идее: надо умирать в своей стране и за свою страну. Но звучат здесь и нотки обреченности, фатализма. Рисаль все чаще призывает бога (раньше ему это не было свойственно), хотя по-прежнему понимает его по-своему, а не по-католически. Он чувствует приближение смерти, к

которой готовился еще в 1892 году, возвращаясь на Филиппины. Но все же его не покидает надежда на правый суд: он намерен бороться, но то будет борьба не за дело филиппинцев, а за личную невиновность. Он принимает решение, и это вносит некоторое успокоение в его мятущуюся душу. Но все же вряд ли он «счастлив», как пытается уверить самого себя.

Рисаль с насмешкой отзывается о строгих мерах, предпринятых в отношении его персоны: «Если бы они знали, что я меньше всего стремлюсь спастись, что больше всего я хочу, чтобы свершилась судьба!» Следующий страж требует, чтобы Рисаль вытягивался по стойке «смирно» при его появлении и называл свое имя. Издевательств нет конца. «Но, — записывает Рисаль, — не укажу имя грубияна, я предпочитаю забыть его». У него отнимают дневник и возвращают его только в Манильской бухте.

В Сингапуре друзья делают последнюю отчаянную попытку спасти его. На сей раз, не спрашивая его согласия (да его и спросить невозможно — на судно никого не пускают, самого Рисаля за 16 часов до прибытия в Сингапур запирают в каюте и заколачивают иллюминатор), они нанимают адвоката, и тот обращается в суд: на английской территории содержат под стражей невинного человека, у которого есть доказательства невиновности (имеются в виду письма Бланко — друзья о них знают). Заключение суда гласит: «Колумб» перевозит войска, следовательно, должен рассматриваться как военное судно, следовательно, оно представляет собой испанскую территорию, а не английскую, следовательно, в возбуждении дела надо отказать.

«Колумб» без всяких помех снимается с якоря и 3 ноября 1896 года прибывает в Манильский порт. Корабль встречают ликующие испанцы — они приветствуют прибывшие подкрепления. Рисаля под строжайшей охраной препровождают в форт Сантьяго, в ту самую камеру, где он находился в 1892 году перед отправкой в Дапитан. Связь с внешним миром полностью перерезана, на первых порах родственникам не разрешают встречаться с ним. Изоляция настолько герметична, что у Рисаля сначала складывается впечатление, что восстание подавлено, но, как только начинаются вызовы на допросы, он по характеру вопросов убеждается, что это не так.

Предстоящий суд никак не может быть правым в той атмосфере, которая царит среди испанцев. Лучше всего ее передает речь, с которой один из них обращается к подкреплениям, прибывшим на «Колумбе». «Вы прибыли вовремя, — гремит он, — лесные каннибалы еще не успокоились, дикий зверь еще прячется в своем логове! (Возгласы: «Браво!») Пришел час расправиться с дикарями, дикий зверь должен быть уничтожен, корни

должны быть вырваны! (Бурные аплодисменты.) Цель войны — разрушение, ее благодетельная сила действует как каленое железо, выжигающее заразу... Не давайте пощады! (Возгласы: «Браво! Браво!») Уничтожайте! Убивайте! Не щадите никого! Право пощады принадлежит монарху, не армии!»

Вплоть до наших дней рисалеvedы пишут о том трудном положении, в котором якобы оказались испанские власти, как нелегко им было доказать виновность Рисаля. Внимательное прочтение протоколов следствия и суда не дает никаких оснований для такого вывода: ни следователь, ни судья не испытывали ни малейших сомнений относительно виновности Рисаля, в их словах нельзя найти и следа колебаний. Им ясно: Рисаль виновен, исход слушания дела предрешен с самого начала.

Семнадцать дней Рисаль проводит в томительной неизвестности, и только 20 ноября полковник Франсиско Оливе, палач Каламбы, а ныне главный следователь по делу о «мятеже», вызывает его на первый допрос. Оливе уже с августа ведет следствие, кое-кого уже расстрелял, кое-кого пытками вынудил сознаться. Все, кто прошел через его руки, так или иначе ссылались на Рисаля. Кроме одного. Но этот один — брат Рисаля Пасиано. Он был арестован и доставлен в казематы форта сразу после водворения в нем Рисаля, но ни один из братьев не знает, что они находятся рядом. Пока Рисаль томится в неизвестности, Оливе обрабатывает Пасиано. Старший брат давно недоволен младшим, не одобряет его поступков (особенно возвращения на Филиппины), но ведь это он 25 лет назад отвозил испуганного Пепе на учебу в Биньян, он был его опорой все эти годы. И он не может предать брата, тем более оговорить его, ведь Пасиано отлично знает, что Катипунан не Лига и что Пепе здесь ни при чем.

Оливе не намерен церемониться с «индейцем». Правда, его показания не так уж и нужны, хватает других. Тут главное — проучить брата Рисаля, показать всем индейцам, как опасно быть связанным с ним. Молчит — заставим говорить. Для начала Пасиано загоняют булавки под ногти. Он кричит от боли, но о брате не говорит ничего. Между пальцами рук вкладывают железные полосы и сдавливают их. Все равно ничего не знает о брате. Тогда его избивают ротанговой плетью — Пасиано теряет сознание. Его обливают водой, выламывают руки за спиной и подвешивают за кисти на блоке. Потом поднимают на полметра над землей и снова задают вопросы, перемежая их ударами. Время от времени палачи отпускают веревку, и Пасиано падает. Господа испанские офицеры так увлекаются этим занятием, что не сразу замечают — Пасиано давно лишился чувств. Ну и черт с ним, решает Оливе. Не так уж он нужен для

дела. Пусть уберут это отродье.

Пасиано на тачке отвозят домой, сваливают почти безжизненное тело у ворот. Плач и стенания женщин: один брат еле жив, другому грозит казнь. Оливе нет никакого дела до горя «индейцев»: пусть знают, что ждет всякого, кто осмелится поднять руку на испанца.

Он теперь спокойно займется следствием: ему не хватало только зачинщика, и вот главный организатор восстания в его руках. Значит, скоро конец делу, конец мятежу. Строго говоря, и подследственный его не очень интересует. По положению следователь обязан сообщить о предъявленных обвинениях — что ж, он сообщит. Их два: создание незаконных организаций («Филиппинская лига», она же для Оливе Катипунан) и ряд уголовно наказуемых деяний, приведших к нынешнему мятежу. Оливе доволен собой, он хорошо потрудился, у него есть 28 доказательств вины вот этого «индейца», из-за которого сейчас льется благородная испанская кровь.

Что же это за доказательства? 15 из них представляют собой письма, документы, даже два стихотворения «подрывного содержания», 13 — показания против Рисаля лиц, которых полковник допрашивал ранее. Некоторые из них уже расстреляны, некоторые — за нужные сведения — помилованы. Среди вещественных доказательств письмо Антонио Луны от 1882 года в Мадрид, где он дает понять, что Рисаль — главная фигура среди эмигрантов (а кто в этом сомневался?); письма самого Рисаля: к семье от 1890 года, где он пишет, что несправедливости властей приучают людей ненавидеть тиранию (десятки раз Рисаль писал об этом в открытой печати); к одному из пропагандистов от 1892 года, где он пишет, что не понимает причин нападков на него газеты «Ла Солидаридад» (как это может быть инкриминировано Рисалю — совсем непонятно); к друзьям, где он пишет, что надо вести патриотическую работу. Есть и еще письма: Марсело дель Пилара от 1889 года о том, что Рисаль хочет привязать газету к филиппинской колонии; и еще одно, где дель Пилар говорит, что Филиппинская лига вне и помимо масонства служит «филиппинскому делу». Есть письмо об арестах в 1893 году, подписанное «Рисаль Второй» (видимо, кто-то хотел показать, что со ссылкой Рисаля его дело не умерло, но при чем здесь сам Рисаль?). Есть и анонимные письма: о склоках среди эмигрантов, о ссылке Рисаля.

Особого внимания заслуживают два доноса осведомителей, присутствовавших на одном и том же собрании Катипунана. Первый донос содержит выдержку из речи идеолога Катипунана Эмилио Хасинто, произнесенной 23 июля 1893 года (когда Рисаль был в ссылке под

неусыпным наблюдением). Речь эту Хасинто закончил словами: «А пока же вдохновим наши сердца кличем: «Да здравствуют Филиппины! Да здравствует свобода! Да здравствует доктор Рисаль!» Второй документ составлен другим осведомителем и датирован тем же числом, там здравица другого капитунеро звучит несколько по-иному: «Да здравствует великий доктор Рисаль!», а далее следует призыв: «Долой угнетателей!» Здесь есть и подпись: «Манила, Санта-Крус, 23 июля 1893 г. Тик-тик». («Тик-тик» по-тагальски значит «подглядывать», так что осведомитель подписался своей кличкой Соглядатай.)

Наконец, к вещественным доказательствам отнесены и два стихотворения. Первое из них — «Гимн Талисаю», о котором уже говорилось: там Рисаль пишет, что «наши руки владеют ножом, пером и мотыгой». «Ножом», по мнению Оливе, — это явный призыв к резне испанцев. Второе стихотворение более «криминально», там есть такие строки:

*Я верю: моего народа имя,
который жалкую судьбу влачит,
как равное однажды меж другими,
как прежде, громко в мире прозвучит.
Для этого прольем мы реки крови
и примем бой, последний страшный бой,
мы до конца исполним долг сыновий,
земля моих отцов, перед тобой.*

Но дело в том, что стихотворение это не принадлежит Рисалю. Он так и говорит об этом Оливе, обращая его внимание и на то, что под стихотворением стоит дата: «Манила, 12 сентября 1891 г.». В этот день, как нетрудно установить, Рисаль находился в Бельгии, в Генте. Такая несообразность не смущает следователя: что там дата! Главное — в стихотворении мятежный дух, дух Рисаля. Он не литературовед, для него этого достаточно для атрибуции стихотворения подследственному, в литературные тонкости он вдаваться не намерен. Скорее всего «индеец» просто пытается выкрутиться.

Но его ничто не спасет: судить его будет военный суд, следствие ведет военный, обвинитель будет военный, и защитника ему дадут из военных. А военным все ясно. Для них вопрос состоит не в том, устанавливаются ли доказательства вину Рисаля в конкретно наказуемых деяниях, а в другом:

является ли он «душой восстания»? Термин не очень юридический, но военные и не вникают в такие тонкости. За стенами Манилы идут бои — это для них непреложный факт. И те, кто стреляет в испанцев, считают Рисаля своим вождем — это тоже непреложный факт. А считает ли он сам себя вождем — это уже не суть важно.

Помимо 15 «вещественных доказательств», у Оливе есть 13 письменных показаний, полученных им с августа по ноябрь. Не хватает показаний брата подследственного, они быгодились, пожалуй, ну да ничего, материала достаточно, можно обойтись без них. Рисалю показывают только часть показаний — ту, которая, по мнению следователя, доказывает его вину. Это заявления разных лиц о том, что Рисаль — глава организации, цель которой «убить всех испанцев, провозгласить независимость и назначить Рисаля вождем», что Рисаль — масон, что он основал тайную организацию (не указано какую: Лигу или Катипунан) на собрании в доме Онхунго в 1892 году, что некий Тимотео Паэс готовил побег Рисаля из ссылки.

Собственно, это и все. Но Оливе больше и не нужно. Он рассуждает по-солдатски: повстанцы считают его вождем — значит, его надо уничтожить. Это поможет восстановить власть Испании, честь испанского оружия, несколько замаранную проигранными «босоному сброду» сражениями.

Рисалю зачитывают обвинение, по которому он привлечен к суду, и все 28 доказательств его вины. Он пытается возразить, но полковник прерывает его: после, на суде, если угодно, сеньор Рисаль выскажется. Сейчас перейдем к допросу. Нет, лиц, давших показания против Рисаля, вызывать на очную ставку не будут (да и как их вызвать, если некоторые уже расстреляны).

В комнате трое — следователь, подследственный, писарь. Полковник утомлен, часто делает паузы, чтобы дать время писарю, в паузах или курит сигару, или отдыхает, прикрыв глаза. Писарь скрипит пером:

«Ноября двадцатого дня тысяча восемьсот девяносто шестого года лицо, чье имя указано на полях, предстало перед его честью в присутствии писаря, чья подпись следует ниже, и, будучи предупрежденным его честью о необходимости говорить правду, сказал: его зовут Хосе Рисаль-Меркадо-и-Алонсо, уроженец Каламбы, провинция Лагуна, правоспособного возраста, холост, врач по профессии, ранее не судим.

Будучи спрошенным, знает ли он Пио Валенсуэлу, является ли тот его родственником, другом или врагом, считает ли он его подозрительной личностью.

Ответствовал: Что в Дапитане познакомился с медиком по имени Пио, который привез к нему больного, что ранее он не был знаком с упомянутым лицом и не встречался с ним позже, что считает его скорее другом, чем врагом, так как тот помогал его родственникам во время путешествия и подарил ему (Рисалю. — *И. П.*) медицинский саквояж.

Будучи спрошенным, знает ли он Мартина Константино Лосано^[35], является ли тот его родственником, другом или врагом, считает ли он его подозрительной личностью.

«Будучи спрошенным, знает ли он Агедо дель Росарио^[36]...

Ответствовал: Что не знает никого с таким именем, но, может быть, узнает его, если увидит».

Далее писарь переходит на сокращенные формулы:

«Будучи спрошенным, знает ли он Хосе Рейеса Толентино...

Ответствовал: Что не знает».

Несколько дней Рисалю спрашивали о лицах, которые давали показания, а также о руководителях Катипунана. Из первых он не знает большинство, из вторых — вообще никого, в том числе и руководителя Катипунана Андреса Бонифасио («Ответствовал: Что не знает этого имени, что впервые слышит его, что не знает его по виду, но что Бонифасио мог быть на встрече в доме Онхунго, где ему представили многих лиц, чьи имена он не упомнит»).

Затем «его честь» полковник Оливе переходит от вопросов о лицах к вопросам о деяниях. Оливе зачитывает ему резюме его высказываний на этой встрече, составленное одним из осведомителей (оно заканчивается словами: «Филиппинцы, добившись процветания и единства, обретут не только личную свободу, но и национальную независимость»), и спрашивает, верно ли оно. Рисаль отвечает, что за давностью не помнит текстуально свое выступление, но что мысли, изложенные в резюме, он высказывал неоднократно, хотя и не уверен, что излагал их на встрече.

Оливе требует объяснить, почему портрет Рисалю неизменно украшает все собрания Катипунана. «Ответствовал, что поскольку он сделал обычную фотографию в Мадриде, они могли достать копию портрета, что же до использования его имени как боевого клича, то он не имеет понятия, почему они так делают, что сам он не давал им никакого повода и что они злоупотребляют его именем».

Эти бесконечные «будучи спрошенным» и «ответствовал» оставляют впечатление, будто следствие идет мерно и даже монотонно. Но в ответах Рисалю, особенно в части, касающейся не лиц, а деяний, чувствуется

напряженная работа мысли. Он понимает, куда клонит следователь, и в ответах иногда говорит больше, чем требует вопрос. Эта «избыточная» информация обычно показывает всю нелепость вопроса. Лихорадочное биение мысли явно ощущается за суконным языком протокола. Рисаль мужественно защищается на следствии, будет защищаться и на суде. Но надо сказать, что это не мужество борца за «филиппинское дело», а мужество невинной жертвы: он доказывает свою невиновность, а не правоту филиппинцев.

Следователя же интересуют как раз действия филиппинцев, а не отношение к ним подследственного. Они воюют, и их знамя — Рисаль, их боевой клич — Рисаль. О какой личной невиновности может идти речь? А впрочем, сеньор Рисаль имеет право на защиту. Обвиняемый — всего лишь туземец, ему положен защитник в чине не старше лейтенанта. Вот список, извольте выбрать сами. Рисаль бегло просматривает 106 фамилий. Вот что-то знакомое — Тавиель де Андраде. Ведь это он был приставлен к Рисалю в Каламбе в 1887 году? Нет, это его брат, не Хосе, а Луис Тавиель де Андраде, артиллерийский офицер. Ну, пусть будет он — брат его достойный человек, значит, он из хорошей семьи. Выбор сделан.

После шести дней допросов Оливе посылает все протоколы генерал-лейтенанту Бланко. Тот поручает капитану Рафаэлю Домингесу сделать «беспристрастное заключение». Бравый капитан не утруждает себя тщательным изучением документов: он и так знает, кто такой Рисаль и что он значит для повстанцев. Его боевые товарищи сражаются с последователями этого флибустьера и, стыдно сказать, нередко терпят поражение. Капитан тут же налагает резолюцию: «Из представленного следует, что подследственный, Хосе Рисаль и Меркадо, есть главный организатор и живая душа (опять этот неопределенный термин!) восстания на Филиппинах, основатель обществ и газет, автор книг, цель которых — бунты и мятежи в городах, главный руководитель флибустьерства в этой стране». Не очень грамотно, но зато недвусмысленно.

Теперь документы поступают к военному прокурору Николасу де ла Пенья. Пенья делает вывод: дело готово к слушанию, и просит воздержаться от представления дальнейших доказательств: их более чем достаточно.

В ходе процесса наступает пауза. Рисаль связывается со своим защитником. Лейтенант-артиллерист попадает в довольно сложное положение. С одной стороны, он, как и все испанцы, готов на все, чтобы сокрушить повстанцев, сломить их дух. С другой, как человек добросовестный, он все же внимательно прочитывает дело и обнаруживает,

что никаких доказательств вины Рисаля, в сущности, нет: письма третьих лиц чуть ли не десятилетней давности, высказывания самого Рисаля, которые тот излагал и в открытой печати, показания лиц, которые явно пристрастны к его подзащитному, ибо сами обвиняются в причастности к тому же восстанию и, строго говоря, должны быть отведены как свидетели. В общем все это крайне неубедительно. Именно на этом Андраде, с согласия Рисаля, и решает построить защиту: доказательства сомнительны, хотя, конечно, само восстание — большая «гнусность» со стороны туземцев. Хорошо бы было, если бы его подзащитный тоже отмежевался от бунта.

Это можно, Рисаль с самого начала вооруженной борьбы филиппинцев против испанцев решил, что это восстание — не его дело. 10 декабря он обращается к Николасу де ла Пенья с прошением: нельзя ли ему каким-либо приемлемым для властей способом показать, что он «осуждает подобные преступные методы и никогда не позволял использовать свое имя»? Пенья не возражает — пусть Рисаль напишет обращение к повстанцам.

На другой день, 11 декабря, Оливе вызывает подследственного и в присутствии защитника и писаря объявляет ему, что следствие закончено, дело передается в суд. На следующий день, 12 декабря, Рисаль пишет своему защитнику подробный меморандум, озаглавленный «Данные для моей защиты».

Особенно резко он возражает против обвинений в антииспанской деятельности. Он считает себя принадлежащим к испанской культуре: «С детства я впитал в себя великие примеры из испанской истории... позднее, в Испании, моими профессорами были великие мыслители, великие патриоты».

В полном соответствии со своими убеждениями он отказывается признать себя виновником «мятежа»: не он, а испанцы, которых «Юпитер лишил разума», повинны в восстании, бушующем вокруг Манилы, — на него ежедневно ссылаются и обвинители и обвиняемый. Рисаль же всегда, даже в самых радикальных своих высказываниях, оговаривал желательность мирного разрешения филиппинского вопроса.

Заканчивает Рисаль словами: «Я прошу моего защитника иметь благородство поверить: я не стремлюсь обмануть его... а также прошу его навещать меня всякий раз, когда он бывает в форте или когда не считает визит слишком обременительным и имеет свободную минуту — мне многое нужно сказать ему».

И артиллерист Луис Тавиель де Андраде, надо отдать ему

справедливость, заходит к Рисалю, ведет с ним длинные беседы. А дело идет своим чередом. 13 декабря оно оказывается на столе генерал-губернатора. Но за столом уже не генерал-лейтенант Рамен Бланко, а генерал-лейтенант Камило де Полавьеха, который как раз в этот день приступает к исполнению своих обязанностей, и дело Рисаля — это его первая филиппинская проблема.

История замены Бланко Полавьехой в самый, казалось бы, неподходящий момент довольно типична для колониальной политики Испании на Филиппинах. И тут решающую роль сыграли монахи. Архиепископу Манилы, доминиканцу Носаледе, Бланко давно кажется слишком мягким. Правда, с началом восстания Бланко ввел военное положение в восьми провинциях, кое-кого посадил в тюрьму, кое-кого расстрелял. А результаты? Их нет, во многих местах правительственные войска терпят позорные поражения. Мало того, Бланко вдруг надумал объявить амнистию всем, кто сложит оружие к определенному дню (да как он смеет обещать пощаду дикарям?!), прекращает военные действия в провинции Кавите до прибытия подкреплений. И наконец, подозрительно долго возится с главным флибустьером — Рисалем.

Носаледа приглашает к себе провинциалов всех орденов, и церковники единодушно решают послать в Мадрид телеграмму следующего содержания: «Положение ухудшается. Мятеж ширится. Бездействие Бланко необъяснимо. Чтобы избежать опасности, нужно новое назначение». Монахи в Мадриде начинают суетиться, находят ходы к королеве-регентше Марии Кристине, и та назначает заместителем Бланко «христианского генерала» Камило де Полавьеху.

Второго декабря он прибывает в Манилу, а восьмого Бланко получает назначение в Испанию и двенадцатого вечером сдает дела Полавьехе.

Полавьеха — человек того же склада, что и «мясник» Бейлер. Он должен оправдать свою репутацию решительного военного, сторонника политики железа и крови. Но поскольку с «железом» пока неважно (подкреплений все еще недостаточно, тут его предшественник прав), проще всего это сделать «кровью» — ускорением процесса над Рисалем. Генерал отдает соответствующее распоряжение.

Но все же какое-то время на завершение процесса необходимо. А пока действуют распоряжения, отданные при Бланко: этот сторонник политики кнута и пряника благосклонно встретил просьбу Рисаля обратиться с манифестом к бунтовщикам.

Рисаль, как мы уже говорили, не считает вспыхнувшую борьбу своей. В этом оказывается его классовая ограниченность, и не только его, но и

всех иллюстрадоc в целом. В сущности, они думают о низах примерно так же, как испанцы, — тут мы имеем яркий пример единообразия классового мышления, не знающего национальных и расовых границ. Для иллюстрадоc, как и для испанцев, существование Катипунана оказывается полной неожиданностью, ни о чем подобном они не могли и помыслить. В самом деле, в мадридских кафе они строили планы включения Филиппин в испанский мир, некоторые из них — прежде всего те, кто признает авторитет Рисалья, — допускают возможность вооруженного столкновения, которое, как им представляется, именно они должны подготовить и возглавить в удобный (с точки зрения международного и внутреннего положения) момент. И вдруг народные массы, в которых они видят лишь инструмент осуществления своих планов, не спросив их и не пригласив в руководители, создают организацию, поднимаются на борьбу с колонизаторами.

Рисаль обращается с увещеваниями к повстанцам. 15 декабря 1896 года он представляет «Манифест к некоторым филиппинцам», в котором пишет:

«Соотечественники! По возвращении из Испании я узнал, что мое имя служит боевым кличем для тех, кто восстал с оружием в руках...

Соотечественники! Я дал доказательства того, что больше всего я жажду свободы для нашей страны... Но в качестве предварительного условия я выдвигаю требование: просвещение нашего народа, чтобы через образование и труд наш народ обрел бы свое собственное лицо и стал достойным этих свобод. В своих трудах я рекомендовал учебу, гражданские добродетели, без которых не может быть освобождения. Я писал и повторял неоднократно, что реформы, если им суждено быть благотворительными, должны идти *сверху*, идущие же *снизу* (курсив Рисалья. — *И. П.*) ненадежны, непоследовательны и непрочны. Будучи воспитанным на этих идеях, я не могу не осудить — и я решительно осуждаю — это нелепое, дикое восстание, подготовленное за моей спиной, позорящее нас, филиппинцев, и отталкивающее тех, кто мог бы помочь нам. Я ужасаюсь его преступным методам и отказываюсь от участия в нем в любой форме, я до глубины души сожалею о тех, кто позволил обмануть себя. Итак, возвращайтесь к вашим домам и да простит бог тех, кто действовал по дурному умыслу.

Хосе Рисаль

Королевский форт Сантьяго, 15 декабря 1896 г.».

Таков этот документ, скажем прямо, никак не служащий к нести

Рисаля. Но документ этот существует и требует оценки. Не пытаюсь обелить Рисаля, укажем еще раз на его классовую ограниченность, на неспособность иллюстративно понять страдания народа, наконец, даже на ужас перед стихией народного гнева («преступные методы»). Сказывается в «Манифесте» и ущемленное самолюбие («восстание, подготовленное за моей спиной»). Ничто не свидетельствует о том, что, вызвавшись написать «Манифест», Рисаль уступает нажиму — он ведет себя мужественно до конца. Но он уже не вождь филиппинцев: он перестал им быть в июле 1892 года, в момент ссылки в Дашатан. На основании «Манифеста» многие вообще отлучают Рисаля от революции. Понимая чувства, которые ими движут, все же следует сказать следующее.

Советская наука справедливо оценивает филиппинскую революцию 1896–1898 годов как национально-освободительную. И именно Рисаль сыграл колоссальную роль в создании национального единства, чувства национальной общности. В этом смысле революция, безусловно, была и его революцией. Эта его заслуга неоспорима, и не случайно восставшие использовали его имя как боевой клич. Эту заслугу никто не может отнять у Рисаля, даже он сам. В отношении Рисаля к революции есть элемент трагизма. Своими трудами он идейно подготовил революцию, и он же ее отвергает. Прибегая к сравнению, которое лишь на первый взгляд может показаться натянутым, позволительно сказать, что дилемма, которая встает перед Рисалем, — это дилемма, которая могла бы встать перед французским просветителем, доживи он до французской революции. Его трудно представить среди штурмовавших Бастилию, но люди, шедшие на штурм, были вдохновлены его идеями. Рисаль же видит, как его идеи, овладев массами, становятся материальной силой — и осуждает и массы, и их действия. Однако это не меняет хода истории.

Укажем также, что филиппинские повстанцы так никогда и не узнают о «Манифесте», ибо он не дойдет до них. Пенья дает такой отзыв о нем: «Ваше высокопревосходительство! Прилагаемое увещевание, с которым доктор Рисаль намерен обратиться к своим соотечественникам, не содержит патриотического возмущения против сепаратистских движений и тенденций, которое должно быть присуще всякому верному сыну Испании. В соответствии со своими опубликованными ранее взглядами д-р Рисаль ограничивается критикой нынешнего повстанческого движения как преждевременного... Сей манифест может быть суммирован в следующих словах: «В связи с предстоящим неизбежным поражением сложите оружие, соотечественники, а после я сам поведу вас в землю обетованную». Послание такого рода не только не принесет успокоения, но, напротив,

будет способствовать подъему духа восстания, а посему публикация манифеста представляется нежелательной...» Генерал-губернатор соглашается с мнением Пеньи, и «Манифест» сдают в архив, откуда его извлекут только в 1906 году.

Полавьеха торопит подчиненных. Лейтенант Энрике де Алькосер готовит обвинительную речь, заканчивает ее 21 декабря и на следующий день представляет ее защитнику. Тот скоро докладывает, что и у него все готово. 24 декабря, в сочельник, Полавьеха приказывает начальнику манильского гарнизона назначить состав суда, и в день рождества список судей зачитывают Рисалю. Он не дает ни одного отвода. Председатель суда — подполковник-кавалерист, члены суда — сплошь капитаны: два пехотинца, кавалерист, артиллерист, сапер и интендант. Обвинитель и защитник — лейтенанты. Суд, объявляют Рисалю, состоится завтра. Весь день рождества Рисаль лихорадочно пишет «Дополнения к моей защите» — он не намерен идти на заклание без борьбы.

В 10 часов утра 26 декабря 1896 года Рисалья вводят в зал, украшенный испанскими флагами. За длинным столом сидят семь офицеров, одетых в парадную форму своих родов войск. Справа стол обвинителя. Рисалья усаживают за маленький столик напротив стола членов суда. Рядом с ним его защитник, лейтенант Луис Тавиель де Андраде. Они оба только что прошли через двор, где собралась толпа испанцев. «Расстрелять его!» — неслось со всех сторон. Собравшиеся грозили сами расправиться с бунтовщиком. Даже в зале суда Рисалю не развязывают рук: суд военный, никаких поблажек обвиняемому.

Председатель кратко излагает суть дела и представляет слово обвинителю. Энрике де Алькосер начинает речь. Он говорит, что материал, собранный против Рисалья, неопровержимо доказывает его вину. Мало того, в нем можно проследить «истоки и ход бунта, который и сейчас орошает кровью филиппинскую землю. Туземцы этой страны, на которую Испания излила неисчислимыя блага своей цивилизации и тем превратила ее в самую процветающую страну Востока, забыли свои обязанности испанских подданных настолько, что дерзко осмелились поднять знамя мятежа против родины, предательски воспользовавшись моментом, когда их братья заняты тем, что гасят пламя другой братоубийственной распри далеко отсюда (революция на Кубе. — *И. П.*). Но они просчитались, они не учли, что у Испании, как это было уже неоднократно доказано, достаточно сил и энергии, чтобы высоко держать свой стяг, который всегда будет развеиваться над всеми землями, открытыми и покоренными отвагой и храбростью наших предков». Это, между прочим, говорится в то время,

когда от испанской колониальной империи уже мало что осталось.

Судят не революционера, не повстанца: судят поэта, писателя и ученого. Ему инкриминируют все его творчество — в этом состоит первый пункт обвинения. Лейтенант Алькосер начинает с юношеского стихотворения «К Филиппинской молодежи», «где уже можно распознать его взгляды на колониальный вопрос. И с этих пор он не переставал трудиться с целью ниспровержения испанского суверенитета над Филиппинами». Затем обвинитель напоминает судьям о романе «Злокачественная опухоль», который «дышит злобой против отечества. В нем он награждает испанцев самыми гнусными эпитетами, издевается над католической религией, тщится доказать, что филиппинцы никогда не станут цивилизованными, пока они управляются презренными и развратными, как он их называет, испанцами». Далее Алькосер переходит к «Мятежу», который полон угроз, адресованных испанцам, и посвящен трем казненным священникам, которых «он окружает ореолом мучеников».

Разумеется, Рисалю, инкриминируют и сотрудничество в «Ла Солидаридад» — сепаратистской газете... страницы которой он использовал для распространения антииспанских, антирелигиозных взглядов и ими он отравил эту страну. Не забыты и научные работы, в частности издание Морги с аннотациями, в которых «этот заблудший доктор тщится доказать, что до прихода испанцев в этой стране существовала столь высокая духовная и материальная культура, что испанцы лишь немного добавили к ней... Из этой ложной и пагубной доктрины, проповедуемой Рисалем при всяком удобном случае, были сделаны ложные выводы, опасные для испанского суверенитета».

И. лишь покончив с писательской деятельностью Рисаля («которая неопровержимо свидетельствует о том, что человек, судимый, сегодня, одержим всепоглощающей ненавистью к Испании»), обвинитель переходит к собственно политическим обвинениям: принадлежность к нелегальным организации, создание таковых, причастность к мятежу. Главное тут для Алькосера — масонская деятельность Рисаля, которой он никогда не занимался активно и с которой порвал окончательно в 1892 году. Это масоны, утверждает Алькосер, изменили характер индейцев, «до того столь послушных, столь преданных, столь почтительных к испанцам с полуострова», и превратили их в лютых врагов Испании.

Говоря о Филиппинской лиге, обвинитель исходит из совершенно ложной посылки, будто Лига и Катипунан одно и то же: эту организацию создал Рисаль, он ее бессменный глава, и руководство он осуществлял с «макиавеллевской хитростью» даже из ссылки, о чем свидетельствует

визит Пио Валенсуэлы. Впрочем, утверждает Алькосер, это не столь важно, ибо «в преступлениях такого рода основная вина падает на того, кто пробуждает дремлющую ненависть и надежды на будущее». А уж в этом Рисаль виновен как никто другой: «Уважаемые судьи! В Рисале мы видим самую душу восстания. Его соотечественники, впечатлительные дети, служат ему, как вассалы сеньору, смотрят на него как на высшее существо, чьи приказы выполняются беспрекословно. Человеческое тщеславие, которое и у более цивилизованных народов считается пороком — а тем более является таковым у азиатов, — заставило этого человека отказаться от предназначенного ему природой скромного положения и без колебаний встать во главе революционного заговора». Обвинитель требует смертного приговора — как по сути слушаемого дела, так и от имени «павших на полях сражений, от имени испанских вдов и ойрот».

Реакция офицеров — членов суда — на речь обвинителя самая благожелательная. Они и сами думают так же. Лейтенант Алькосер, пусть несколько длинновато, изложил их мысли. Конечно же, обвиняемый заслуживает смерти. Но послушаем, что скажет защитник. Впрочем, что он может сказать? Он ведь тоже испанский офицер.

И все же лейтенант Луис Тавиель де Андраде имеет мужество отметить, что весь процесс проходит в атмосфере «предубеждения, на нем сказывается сложившееся общее мнение, которое, разумеется, имеет свои основания, но которое в то же время явно задает тон и сбивает процесс с правильного пути, а потому даже самые беспристрастные люди не могут игнорировать эту атмосферу, не могут отказаться от предубеждений». Для Андраде сложившаяся атмосфера «имеет свои основания» — он тоже испанец, тоже офицер. Но все-таки, вопрошает он членов суда: где и когда Рисаль заявлял, что он готов «идти войной» на испанскую родину? Таких свидетельств нет. Его книги? Да, в них он показывает «меньшее, чем следовало бы, уважение к испанскому имени», но ведь цель этих книг можно истолковать и как попытку ускорить предоставление Филиппинам реформ как раз для упрочения испанского суверенитета над этими островами. Да, за свои писания он уже был наказан — ссылка в Дапитан. Он — глава восстания? Но ведь в момент его начала он находился на испанском крейсере и не мог ничем и никем руководить. Лига? Но ее цель — содействовать развитию торговли и промышленности, к тому же обвиняемый не связан с нею с 1892 года. Итак, нет вещественных доказательств, нет признания обвиняемого, нет достойных доверия свидетелей (они явно выгораживают себя). Так на каком, спрашивается, основании выносить столь суровый приговор, которого требует

обвинитель?

Андраде просит суд выслушать Рисаля и просит офицеров не считать себя мстителями за павших, за вдов и сирот, о которых говорил Алькосер, а быть только справедливыми.

Во время речи члены суда многозначительно переглядываются: лейтенант говорит красиво, ничего не скажешь, но для них не очень убедительно. Впрочем, такой его долг. А концовка вообще никуда не годится — ну, просил бы о смягчении приговора, а тут — «не виновен». С этим господа испанские офицеры никак не могут согласиться. Каждый из них внутренне уже принял решение. Впрочем, послушать флибустьера еще раз — это можно.

Рисаль встает со связанными руками и просит суд рассмотреть следующие обстоятельства. Он на память излагает «Дополнения к моей защите», над которыми трудился накануне. «Дополнения» состоят из 13 пунктов. Первые пять касаются восстания. Рисаль еще раз заявляет: с 6 июля 1892 года он не занимался никакой политической деятельностью, что подтверждается и приездом к нему Пио Валенсуэлы: «Это доказывает, что я не состоял в переписке с ними». Он не может нести ответственности за то, что повстанцы использовали его имя. Невинность его доказывается и тем, что он не пытался бежать — ни из Дапитана, ни по пути в Испанию. Он никак не является главой мятежа. «Что это за вождь, которому ничего не говорят о планах?.. Что это за вождь, которому, когда он говорит «нет», последователи отвечают «да»?

Четыре следующих пункта касаются Лиги. Да, он написал программу и устав, но Лига, в сущности, организация экономическая, к тому же она прекратила существование после учредительного собрания. Это доказывается и тем, что мятежникам пришлось создавать новую организацию, Катипунан, а «новая организация не создается, если действует прежняя». Десятый пункт касается писем. Возможно, признает Рисаль, «в них есть желчная критика, но ведь они написаны в пору, когда семья лишилась имущества, когда родственников отправили в изгнание». Одиннадцатый пункт: в ссылке в Дапитане он вел себя примерно, это могут подтвердить сменявшие друг друга команданте, дапитеньос и даже бывшие там иезуиты, хотя с некоторыми из них он был в ссоре. Двенадцатый пункт гласит, что все вышеизложенное, по мнению Рисаля, полностью опровергает все обвинения как беспочвенные: он не причастен к мятежу.

Но суд решает иначе. Его процедура упрощена до предела: речь обвинителя, речь защитника, речь Рисаля. Это все. Ни допроса свидетелей, ни перекрестных допросов, ни оценки предъявленных доказательств не

будет. Собственно, судоговорение уже кончилось.

Дело снова поступает к Пенье — он должен дать общее заключение относительно обоснованности приговора. Пенья еще раз суммирует дело. Он начинает с того, что признает блестящие способности Рисаля, потом на этой же странице, не смущаясь противоречиями, заявляет, что ничего примечательного Рисаль не создал, но тем не менее «стал воплощением революции, самым значительным вождем сепаратистского движения, короче, идеалом невежественного сброда... который видел в этом профессиональном возмутителе сверхчеловеческое существо». Вина его, утверждает Пенья, вполне доказана, приговор оправдан, все требования закона соблюдены. Свой отзыв Пенья 28 декабря отправляет генерал-губернатору, и Камило де Полавьеха тут же налагает резолюцию: «Утверждаю вынесенный военным судом по данному делу приговор, согласно которому арестованный Хосе Рисаль приговаривается к смертной казни. Приговор привести в исполнение через расстреляние в 7 часов утра 30-го числа сего месяца на Багумбянском поле с соблюдением всех требований закона».

Слух о приговоре моментально облетает Манилу. Принимаются меры предосторожности: усиленные наряды патрулируют улицы, испанцы, по словам одного из корреспондентов мадридской газеты, «ждут, что семья Рисаля спровоцирует беспорядки, чтобы не допустить приведения приговора в исполнение». Ничто не может быть дальше от действительности. Дон Франсиско (ему уже 79 лет) совсем одряхлел, Пасиано только что оправился от пыток, а донья Теодора с дочерьми отправляется к нотариусу и там диктует прошение на имя генерал-губернатора, в котором говорит, что обвинение не доказано «ни по совести, ни по юридическим основаниям» и взывает к милосердию. С этим письмом донья Теодора бредет во дворец, но ее не принимают.

Рано утром 29 декабря пронырливый мадридский корреспондент Сантьяго Матэ из газеты «Эль Эральдо де Мадрид» в обход всех правил получает разрешение посетить Рисаля. Судя по отчету, обреченный встречает его крайне любезно: принимает у него шляпу, предлагает кресло, а на просьбу не беспокоиться отвечает: «Нет, сеньор, иначе я не могу. Вы гость, а я у себя дома и обязан соблюдать правила гостеприимства». Рисаль непринужденно ведет светскую беседу, пересыпая ее остроумными замечаниями (так, во всяком случае, излагает дело Матэ). Когда гость напоминает, что нельзя же отрицать, что Рисаль стоял во главе разных организаций (и «академиков» в Атенео, и ассоциации филиппинистов), хозяин возражает с улыбкой: «О нет, никогда я не был председателем чего

бы то ни было — только секретарем. Для этого я недостаточно велик (Рисаль шутливо обыгрывает свой малый рост. — *И. П.*)». Вообще же, продолжает он, «я никогда не был столь крупной фигурой, какой рисуют меня враги. Вблизи я очень мал, меня всегда легко было обмануть, и этим беззастенчиво пользовались все извозчики и лодочники». Вряд ли Рисаль так весел, как рисует Матэ, но журналисту надо чем-то поразить воображение читателей.

В семь часов утра в камере появляется капитан Домингес — тот самый, который вынес «беспристрастное заключение» о следствии, и с ним судейский писарь. Они приходят для оглашения приговора. Рисалю приказывают встать, писарь громко зачитывает текст приговора и резолюцию генерал-губернатора. Приговоренному сообщают, что он будет расстрелян через 24 часа. А теперь он должен подписать бумагу, гласящую, что он ознакомлен с приговором. Рисаль протестует: во-первых, он не виновен, а во-вторых — почему в тексте сказано, что он «китайский метис»? Он чистокровный тагал, его предки по отцу 200 лет жили на Филиппинах и смешались с тагала-ми, что до матери, то тут и вопросов нет. Домингес холодно заявляет, что никакие изменения в тексте недопустимы. Тогда Рисаль пишет: «Ознакомлен, но не согласен, ибо я не виновен».

В это самое время в верхах католической иерархии идет бурная деятельность. Церковники отлично понимают, что через несколько часов к уже неоспоримой славе Рисаля как национального героя добавится ореол мученика. Если бы он, безжалостно высмеявший их в глазах всего света, перед смертью отрекся бы от «заблуждений», церковь и весь колониальный режим получили бы сильнейший козырь. Архиепископ, доминиканец Носаледа, вновь созывает провинциалов всех орденов. Принимается решение: поручить отцам-иезуитам заставить Рисаля отречься от своих взглядов. Провинциал иезуитов Пио Пи (к тому времени сменивший Пабло Пастельса) соглашается: чего не сделаешь к вящей славе господней! На он отлично понимает, что в решении архиепископа есть немалая доля хитрости: в случае провала вина падет на иезуитов, которые вечно конфликтуют с доминиканцами. А в случае успеха слава достанется всей церкви, прежде всего архиепископу. Но вопрос, считает Пи, слишком серьезен, чтобы сейчас отвлекаться на распри. Пока же благочестивый архиепископ приказывает молиться во всех церквях за успех благого дела.

Начинается массивная психологическая атака на Рисаля. Восемь иезуитов, сменяя друг друга, практически не оставляют его одного. Но характерно: среди них нет тех, к кому Рисаль относится с заведомым

уважением, прежде всего нет Франсиско де Паулы Санчеса, который еще в Дапитане пытался разубедить Рисаля. И напротив, среди взявших на себя миссию «обращения» мы видим его старых недругов: Вилаклару, еще в годы учебы позволившего себе «гадкие слова» в адрес Рисаля, Висенте Балагера, с которым Рисаль окончательно разругался еще в Дапитане (в том числе и по вопросу о женских чулках).

Уже в 7.30 первая пара иезуитов входит к Рисалю и начинает с того, что предъявляет ему изображение святого сердца Христова, сделанное Рисалем во время учебы в Атенео (его иезуиты предъявляли своему ученику во время его первого визита на Филиппины). «Оно ждет тебя двадцать лет!» — патетически восклицает иезуит Мигель Садерра. Рисаль пожимает плечами: он ведь уже говорил о своем отношении к этим реликвиям еще в 1887 году, ему нечего добавить. И вообще нельзя ли оставить его в покое? Он должен написать письма. Воздевая руки к небу при виде такого упорства, иезуиты на время отступают, но из камеры не уходят.

Рисаль садится за стол и пишет первое письмо — семье:

«Мои дороги родители, брат и сестры! Прежде чем я умру, я хочу увидеть кого-нибудь из вас, хотя это будет мучительно. Пусть придут самые храбрые. Мне надо сказать вам нечто важное. Ваш сын и брат, который искренне любит вас. Хосе Рисаль».

Второе письмо — Блюментритту:

«Мой любимый брат! Когда ты получишь это письмо, я уже буду мертв. Меня расстреляют завтра в 7 утра. Но я не виновен в восстании. Я умираю с чистой совестью. Прощай мой лучший, мой самый дорогой друг, и не думай обо мне плохо. Форт Сантьяго, 29 декабря 1896 г.». (По получении этого письма Блюментритт лишится чувств.)

Третье письмо — Пасиано. Отношения между братьями сложные, Пасиано считает, что Пепе сам во многом виноват, избегал встреч с ним (а возможности для них были во время ссылки в Дапитан). Рисаль пишет:

«Мой любимый брат! Мы не виделись четыре с половиной года, не писали друг другу. Думаю, это не от недостатка любви с твоей или моей стороны — мы так хорошо понимаем друг друга, что слова не нужны. Я должен умереть, и обращаюсь с последними словами к тебе: я глубоко скорблю, что оставляю тебя одного в жизни, возлагаю на тебя бремя заботы о родителях и семье! Я все вспоминаю, как много ты помог мне в жизни. Поверь мне: я старался не жить впустую. Брат мой, если плоды оказались горькими, то это не моя вина, но вина обстоятельств. Я знаю, тебе пришлось страдать из-за меня, я искренне сожалею. Заверяю тебя, брат

мой, что я не виновен в восстании. Возможно, мои предыдущие писания способствовали ему — этого я не могу отрицать вполне, — но я полагал, что искупил это своей ссылкой. Твой брат Хосе Рисаль».

Письма тут же отсылаются с нарочным: Блюментритту — на почту, родственникам — непосредственно адресатам. Иезуиты вновь подступают к Рисалю. Он вежливо, но твердо стоит на своем: нет, ему не нужны слова утешения, он не намерен исповедоваться и, уж конечно, не намерен отречься. Первая пара иезуитов уходит в 9 часов утра, ее сменяет иезуит Росельс, чьи попытки тоже не имеют успеха, и в 10 часов в камеру входит еще одна зловецкая пара: Вилаклара и Балагер. Им удается втянуть Рисаля в религиозный спор.

Его суть дошла до нас в изложении Балагера, который много пишет о себе. На деле он весьма посредственный ум, и не ему преуспеть там, где потерпел неудачу такой блестящий полемист, как Пабло Пастельс.

Из-под завесы балагеровских самовосхвалений достаточно отчетливо вырисовывается твердая позиция Рисаля: он стоит на своем, он верит в разум и признает бога лишь постольку, поскольку этого требует разум. Такой бог — не католический бог. В полдень Балагер оставляет осужденного (Вилаклара остается на месте) и спешит во дворец архиепископа с докладом. Тот сокрушается: дьявольскую силу, овладевшую Рисалем, одолеть нелегко. Приказано бить в колокола всех манильских церквей, молиться за обращение обреченного, кое-где на алтари возлагают святые дары — все это призвано помочь сломить упорство грешника.

Другие иезуиты сменяют Вилаклару, но продолжить религиозную беседу не удастся: к Рисалю приходят сестры, племянница и племянник. Поодиночке сестер вводят к нему, каждой он говорит несколько слов в присутствии охраны, просит не забывать о нем, передает последние подарки: кому книгу, кому булавку... Последней вводят Тринидад, лучше всего владеющую английским языком.

— Мне жаль, Трининг, — говорит он, — я уже все роздал, тебе ничего не осталось. Но я попрошу, чтобы тебе передали мою спиртовку. Там есть кое-что внутри, — вдруг быстро произносит он по-английски. — И еще посмотрите в моих башмаках.

Тринидад не совсем понимает слова брата, но запоминает их. Женщин уводят. За дело снова принимаются иезуиты. Около камеры крутится все тот же Матэ, расспрашивает шныряющих взад и вперед иезуитов, солдат и офицеров охраны. В полночь он шлет телеграмму в свою газету: «Меня заверили, что Рисаль отречется от своих заблуждений». И еще: «У Рисаля произошла странная реакция. Он потребовал бумагу, перо и чернила и

начал писать стихи».

Тем временем донья Теодора с дочерьми и на сей раз с Хосефиной снова дежурит у ворот дворца генерал-губернатора. Ее снова не принимают, но она не уходит, она ждет, когда появится Полавьеха. Поздно вечером генерал, только что получивший очередное сообщение о крупных потерях испанцев, выходит из дворца. Женщины, рыдая, падают ему в ноги и молят о милосердии. Натягивая перчатки, генерал говорит обычные слова, которые произносили и будут произносить люди, в чьих руках власть: суровая необходимость и тяжелая обязанность не позволяют ему проявить милосердие, к которому сам он склоняется в своем сердце. Долг есть долг. «Христианский генерал» садится в поданную карету и уезжает. Последняя надежда рушится.

В форте, в камере Рисаля, об этом ничего не знают. Он кончил писать стихи и, воспользовавшись несколькими минутами, когда его оставляют одного, прячет написанное в спиртовку. Вернувшийся Балагер вкупе с двумя другими иезуитами продолжает психологическую атаку: конец близок, должен же он поддаться слабости. Но их старания напрасны. Рисаль отходит ко сну.

Встает он рано и в 5.30 завтракает с дежурным офицером. Потом, узнав, что у него есть еще несколько минут, пишет последнее письмо семье: «Умоляю вас, простите мне то горе, которое я причинил вам, но рано или поздно мне все равно придется умереть, так лучше уж умереть сегодня, в расцвете сил. Дорогие родители, брат, сестры, возблагодарите бога, который даровал мне спокойствие духа перед смертью. Я умираю отрешенным и надеюсь, что с моей смертью они оставят вас в покое.

О, лучше умереть, чем жить, страдая! Пусть это вас утешит...

Похороните меня в земле, положите камень, поставьте крест. Мое имя, год рождения и смерти — больше ничего. Если захотите, соорудите потом ограду. Но никаких годовщин! Я предпочитаю Паанг Бундок (кладбище на севере Манилы. — *И. П.*). Пожалейте бедную Хосефину».

Под письмом нет ни даты, ни подписи.

В 6.15 появляется защитник Рисаля лейтенант де Андраде — он должен сопровождать подзащитного на место казни. Рисаль просит его передать слова прощания семье, а главное — не забыть отдать его спиртовку сестре. Лейтенант дает слово выполнить последнюю просьбу обреченного. Потом приходит мать в сопровождении двух дочерей. Рисаль обнимает их, передает только что написанные послания. Вновь появляются иезуиты: Балагер, Марч, Вилаклара. Балагер тут же уходит: по его словам, он не может сдержать слез, его сердце разрывается, Два других иезуита

будут с Рисалем до конца.

Начальник охраны вызывает еще двух солдат, и они связывают Рисалю руки за спиной, локоть к локтю. Выстраивается процессия: впереди трубач и барабанщик, потом Рисаль с двумя иезуитами по бокам, за ними Андраде. Конвой из солдат-артиллеристов окружает процессию. Начальник охраны дает команду, процессия трогается в путь. Безупречно одетый, в котелке, белом жилете и галстуке, Рисаль спокойно идет на Голгофу. Они сворачивают направо, выходят из форта и следуют вдоль крепостной стены на Багумбаянское поле. Несмотря на ранний час, вдоль дороги толпы народа. Рисаль всматривается в лица — знакомых нет. Так всматривался во враждебную толпу герой «Злокачественной опухоли» Ибарра. Но на этот раз спасения не будет.

— Какое прекрасное утро! — обращается Рисаль к Андраде. — Сколько счастливых минут я провел здесь! А вон и Атенео! Там я учился семь лет.

Крепостная стена кончается, открывается Багумбаянское поле. Там выстроено незамкнутое каре солдат: с трех сторон они окружают место казни, четвертая, обращенная на запад, в сторону моря, открыта.

Рисаль ускоряет шаг. Его встречает офицер, назначенный для приведения приговора в исполнение. Рисаль пожимает руку Андраде, прощается с иезуитами.

— Если хотите, можете стать на колени, — предлагает офицер.

— Нет.

— Надеть вам повязку на глаза?

— Нет.

— Тогда станьте вот здесь, спиной к солдатам.

Я хочу стать лицом к ним.

— У меня приказ.

— Но ведь я не предатель, я не предал ни мою страну, ни Испанию!

— У меня приказ, — повторяет офицер, — и я обязан выполнить его.

— Как хотите. Но тогда можно стрелять не в голову, а в спину?

Офицер пожимает плечами — об этом в приказе ничего не сказано, так что он не возражает. Он подходит к солдатам и отдает команду. Воспользовавшись паузой, один из двух врачей, которые должны засвидетельствовать смерть, подходит к Рисалю и щупает пульс.

— У вас совершенно нормальный пульс! — с удивлением говорит он.

Один из иезуитов тоже решает воспользоваться заминкой: он торопливо подбегает к Рисалю и протягивает ему крест для поцелуя. Рисаль молча отворачивается.

Офицер отдает команду, солдаты вскидывают ружья, гремит барабан. Иезуит бегом бросается за линию солдат.

— Конец! — говорит Рисаль.

— Пли! — командует офицер.

Раздается залп из устаревших «ремингтонов» образца 1870 года. Какую-то долю секунды Рисаль еще стоит, потом в предсмертном усилии поворачивается лицом к восходящему солнцу и падает на спину. Залп прогремел в 7 часов 03 минуты 30 декабря 1896 года. Трижды звучит «Да здравствует Испания!». Оркестр играет «Кадисский марш». Филиппины потеряли своего величайшего сына. Испания навсегда потеряла Филиппины.

*

Оба медика удостоверились, что Рисаль мертв. Тело окружили солдаты. Подъехала телега, на нее положили труп, и телега уехала в неизвестном направлении. Семья Рисаля все утро провела в молитвах, донья Теодора с дочерьми вернулась домой. Когда стало известно, что все кончено, Нарсиса на катафалке (она одна сохранила присутствие духа и еще накануне заказала гроб и катафалк) отправилась к месту казни. Толпа уже расходилась. Тела брата не было. Нарсиса бросалась от одного человека к другому, — задавала один и тот же вопрос. Никто ничего не знал. Тогда Нарсиса отпустила катафалк и принялась обходить все манильские кладбища. Ближе к вечеру, уже совсем отчаявшись, она на всякий случай зашла на кладбище Пако. Здесь хоронили нечасто — кладбище считалось запущенным. Оно представляет собой две расположенные кольцами стены, одна внутри другой. Тела здесь не погребали, гробы замуровывали в нишах стены.

У ворот стоял наряд гражданской гвардии. Это было необычным, и Нарсиса решила заглянуть вовнутрь. Гвардейцы пропустили женщину в трауре. Нарсиса внимательно осмотрела внутреннюю стену. Никаких следов свежих захоронений. На всякий случай она решила пройти между внутренней и внешней стеной. И там, слева от входа, она увидела еще один наряд гражданских гвардейцев, расположившихся на траве. Могильного холмика не было, но в одном месте земля была вскопана на длину человеческого тела. Нарсиса не подавая вида прошла мимо гвардейцев и направилась в сторону кладбищенской сторожки. Вручив изрядную сумму сторожу, она попросила его изготовить небольшую табличку с буквами RPJ

(инициалы брата в обратном порядке) и отметить могилу. Через несколько дней, как только гражданские гвардейцы ушли, сторож сделал все, о чем его просили. Он установил крест, на перекладине которого высечена дата: 30 декабря 1896 года, у основания — табличку с инициалами RPJ. Этот крест стоит на кладбище Пако и сейчас.

В августе 1898 года Манила была оккупирована американцами. Нарсиса сразу же вернулась из провинции и обратилась к властям за разрешением эксгумировать тело брата. Разрешение было дано, и в присутствии многочисленных свидетелей была произведена эксгумация.

Выяснилось, что Рисаля захоронили без гроба, его тело даже не завернули в циновку, как это обычно делается при погребении бедняков. Несколько лет прах Рисаля хранился в урне в доме Нарсисы.

В 1912 году прах был предан земле в основании памятника, сооруженного на месте расстрела. Этот памятник считается центром филиппинской земли.

*

Рассказ о жизни Рисаля будет неполным, если умолчать еще о двух вещах. Первая касается так называемого «отречения» Рисаля, вторая связана с вопросом: что же было в спиртовке, которую получила Тринидад.

Напомним, что в последний день жизни Рисаля при нем почти неотлучно находились восемь иезуитов, самым активным из которых был Балагер, рассорившийся с Рисалем еще в Дапитане. Человек недалекий, но ревностный служитель ордена и церкви, он не мог смириться с мыслью, что Рисаль одержал верх над ними. И Балагер пошел на сознательный подлог, заявив, что Рисаль отрекся от заблуждений и умер как верный сын католической церкви.

По его утверждению, вечером 29 декабря на Рисаля снизошла благодать, и в 11.30 он подписал отречение (напомним, что в полночь Матэ послал телеграмму, в которой говорит об отречении Рисаля в будущем времени: «Меня заверили, что Рисаль отречется...»). Текст отречения, представленный Балагером церковным властям, гласит: «Я объявляю себя католиком, в этой религии я рожден и воспитан, в ней же хочу жить и умереть. От всего сердца отрекаюсь от всех моих слов, писаний, публикаций и поступков, противоречащих моему положению сына церкви. Я верю и исповедую все, чему она учит, подчиняюсь всем ее требованиям. Я ненавижу масонство как врага церкви, как общество, запрещенное ею.

Первый прелат архиепископства в качестве высшей церковной власти может опубликовать это мое искреннее заявление, чтобы восполнить ущерб, который причинили мои действия, и да простит меня бог и люди». В тексте, который Балагер передал своему начальнику, провинциалу Пио Пи, подписи не было, потом якобы был доставлен другой экземпляр (или тот же самый) уже с подписью.

Вокруг этого документа страсти кипят и сегодня. Церковники утверждают, что он подлинный, все передовые люди Филиппин — что он подложный. На эту тему написаны сотни книг и статей. Здесь нет ни возможности, ни необходимости подробно разбирать доводы той и другой стороны. Укажем лишь, что текст «отречения» был представлен только 18 мая 1935 года — до того он считался утерянным и лишь сорок лет спустя был «случайно обнаружен» в архивах архиепископства уже с полной подписью.

Существуют веские свидетельства, говорящие о подложности отречения. Сомнительно тут все повествование Балагера. Он утверждает, что в ночь перед казнью Рисаль проснулся после короткого сна и они вместе провели остаток ночи в молитвах, рыданиях и лобзаниях. Это очень непохоже на Рисаля и не соответствует его поведению в утро казни. Он утверждает далее, что утром, до прихода матери, обвенчал его с Хосефиной, чего никак не могло быть^[37]. Сомнителен и рассказ Балагера о том, что он не сопровождал Рисаля в последний путь под влиянием нахлынувших на него чувств (Рисаль, по его словам, будто бы сам сказал ему: «Вы слишком расстроены, падре, вам нельзя идти»). Это время Балагер использовал для того, чтобы доложить Пио Пи об успехе «отречения». Тот, в свою очередь, сообщил архиепископу Носаледе, и Носаледа в тот же день объявил: «Свершилось, грешник раскаялся». А когда было объявлено, уже никто из церковников не мог подвергнуть сообщение сомнениям, ибо это означало бы дискредитацию верховной церковной власти на Филиппинах, да еще в условиях мятежа.

Переданный Балагером Пио Пи текст «отречения» мог быть только текстом, написанным еще в Дапитане, но не подписанным Рисалем (не случайно и церковники призывают, что вначале к ним поступил текст без подписи). Вспомним, что в Дапитане был и Балагер, и еще там он старался склонить Рисаля к отречению. О том, что текст написан в Дапитане, свидетельствуют слова: «в ней же (католической религии. — *И. П.*) хочу жить и умереть». Слово «жить» могло быть употреблено только в Дапитане, но никак не накануне казни, когда Ри-саль уже знал, что жить ему осталось семь с половиной часов.

Главными являются доказательства, вытекающие из поведения и Рисаля, и других лиц. Мы приведем только три из них, убедительно, на наш взгляд, свидетельствующих о подложности отречения.

Первое, Утром 30 декабря при кратковременном свидании с матерью Рисаль ни слова не сказал о своем возвращении в лоно церкви. Между тем это, несомненно, утешило бы убитую горем женщину — ведь она была искренне верующей и всегда осуждала вольнодумство сына. Рисаль горячо любил и даже обожал свою мать, так что умолчание о раскаянии было бы с его стороны необъяснимой жестокостью.

Второе. Если бы Рисаль действительно отрекся, ему бы не отказали в христианском погребении — иезуиты не могли упустить случая нажать на этом капитал. Между тем Рисаль был похоронен без гроба, вне той части кладбища, где хоронили по католическому обряду, на неосвященной земле («А может быть, земля была освящена на этот случай», — возражают церковники, но довод этот слаб). В кладбищенской книге отмечено шесть погребений от 30 декабря 1896 года: на одной странице трое исповедовавшихся и причастившихся перед смертью, на другой — самоубийца, Рисаль и человек, погибший при пожаре, чья конфессиональная принадлежность не могла быть установлена. Иезуиты в принципе готовы на все. но к богу они относятся вполне серьезно и не осмелились дать христианское погребение отступнику.

Третье. Когда в газетах появился текст отречения, в них же сообщалось, что на девятый день иезуиты отслужат мессу по покойному. Вся семья Рисаля прибыла рано утром, чтобы присутствовать при богослужении. Им несколько раз говорили, что месса вот-вот начнется, и лишь к вечеру сказали, что месса была отслужена еще до их прихода. Причина отказа от мессы может быть только одна — иезуиты не могли служить ее по «еретику».

Подложность отречения Рисаля можно считать доказанной.

Нам остается только проследить, что же стало со спиртовкой Рисаля^[38]. Луис Тавиель де Андраде сдержал слово: уже 30 декабря, когда Нарсиса обходила все кладбища Манилы, спиртовку доставили Тринидад. Она была вместе с другой сестрой Рисаля, Марией. Поначалу женщины решили, что спиртовка пуста, но потом все же догадались заглянуть вовнутрь. Там была какая-то свернутая пополам бумага, которую Тринидад и извлекла с помощью заколки для волос. Это был исписанный с двух сторон лист размером девять сантиметров на пятнадцать. Текст — стихотворение Рисаля, записанное им в ночь перед казнью. Мы говорим «записанное», а не «написанное», потому что стихотворение в 14 кинтилий,

70 строк не могло быть написанным за те несколько минут, когда Рисаль был наедине с собой, — остальное время его осаждали иезуиты. В тексте нет ни одной поправки, ни одного исправления. Видимо, Рисаль держал стихотворение в памяти (а она у него была превосходной) и доверил его бумаге только за несколько часов до смерти.

Называется оно «Последнее прощай» (собственно, так его назвали позднее, оригинал не содержит названия) и считается лучшим произведением Рисаля и всей филиппинской литературы. Она известна за пределами Филиппин прежде всего по этой «лебединой песне» великого филиппинца, переведенной на десятки языков. Существуют три русских перевода.

В «Последнем прощай» довольно отчетливо выделяются два авторских голоса: голос сына родины, прощающегося с отчизной, и голос сына, брата и возлюбленного, прощающегося с родными людьми.

Первая строфа — прощание с родиной — приведена в эпиграфе к этой главе. Вторая строфа — обращение к повстанцам, которых здесь Рисаль уже не призывает сложить оружие:

*На грозном поле брани, без страха и без пеней
приемлют смерть герои, поднав отчизны флаг.*

Повстанцы — герои, они умирают за родину на поле битвы, тогда как сам Рисаль принимает смерть за родину на эшафоте, и «место не имеет значения», главное — умереть за родину. Здесь звучит апология — апология не тех, кто умирает в открытом бою (их героизм очевиден), а самого себя, умирающего не на полях сражений. Тем, кто слишком поспешно отлучает Рисаля от революции, ссылаясь на пресловутый «Манифест», следовало бы обратиться к этим строкам.

Далее Рисаль пишет:

*И если ты увидишь неяркий над могилой
простой цветок, то это — моя душа взошла.
Ты поцелуй соцветье, согрей улыбкой милой,
и станет мне спокойней стократ в земле унылой
от нежности нежданной и чистого тепла.*

И в конце:

*Родные Филиппины, я вас зову проститься,
вы боль моя и мука, душа моя и плоть.
Я ухожу, оставив любовь, родные лица,
туда, где над рабами палач не поглумится,
где честь не есть проклятье,
а правит лишь господь.*

И здесь — косвенное проклятие католицизма, который убивает за веру и не ведает подлинного бога. Это еще одно доказательство подложности отречения: примиришь Рисаль с католицизмом, он непременно изменил бы этот стих.

Последняя строфа — снова голос сына, брата, друга и возлюбленного, прощание с родными:

*Родителям и братьям и ставшей мне родною
прекрасной чужеземке, подруге дорогой,
я шлю поклон прощальный. Порадуйтесь со мною,
кто отдохнул в разлуке с сумятицей земною.
Любимые, прощайте! Смерть — истинный покой!*

Два последних слова стихотворения в оригинале звучат как «умереть — уснуть». Это слова Гамлета, дважды повторенные им в знаменитом монологе «Быть или не быть».

Таково лучшее стихотворение Рисаля, вершина его поэтического мастерства. Сила чувств в нем достигает апогея, оно не оставляет равнодушным ни одного филиппинца, ни одного читателя сколько-нибудь добросовестного перевода. Как и раньше, Рисаль пользуется двумя культурными кодами, филиппинским и испанским. О наличии первого свидетельствуют общая философская направленность стихотворения (слияние с природой), филиппинские образы, реалии. О наличии второго — испанская поэтическая символика (птица на могиле поэта, забвение). По словам Рисаля, неважно, что именно увенчает борца: лавр, кипарис или ирис. Тут надо помнить, что лавр — символ победы с античных времен, кипарис — кладбищенское дерево в Испании и Италии, а ирис — цветок утешения при поражении, причем ни лавр, ни кипарис, ни ирис на Филиппинах не растут. И филиппинцу без европейского образования трудно догадаться, что выстроенный Рисалем ряд означает «победа,

поражение или смерть».

Но любовь к родине здесь выражена так глубоко, что задевает самые сокровенные струны человеческой души вообще, а филиппинской в особенности. Причем любовь согласно введенной Рисалем традиции — это не сыновняя любовь, а любовь к прекрасной невесте. Не «родина-мать», не «отчизна» (земля отцов), а именно «родина-возлюбленная», «родина-невеста» — вот образ, обязательный после Рисаля для всех филиппинских поэтов и вообще всех филиппинцев. На Филиппинах же, в силу особенностей их исторического развития, до Рисаля не существовало этого общего для всех жителей архипелага понятия — Родина. Он создал его и вложил в него свое содержание, принятое всеми филиппинцами. Конечно, складывание этого понятия и вообще филиппинского патриотизма было подготовлено всем ходом исторического развития страны. Но Рисаль первым «сказал слово», и в этом его величайшая заслуга перед филиппинцами, которых он поднял на борьбу, и перед человечеством, которому он представил филиппинцев.

...Пролетали годы. Все яснее становилось значение Рисаля, так много сделавшего для Филиппин, для национально-освободительного движения на Востоке, для всего человечества. Он был идейным вдохновителем первой в Азии национально-освободительной революции, возвестившей начало крушения колониализма, этого позора человечества.

В памяти соотечественников он остался как «первый филиппинец», «отец филиппинской нации». На каждом историческом повороте возникает вопрос о наследии и наследниках Рисаля. Нет, не было и не будет на Филиппинах классов, партий, организаций, которые не высказали бы свое отношение к Рисалю. Ему воздвигнуто больше монументов, чем любому другому человеку, жившему в XIX веке, — они есть в каждом филиппинском городе, почти в каждой деревне. Все чаще филиппинцы предлагают изменить название своей страны, напоминающее о колониальном прошлом., на «Рисалины» и именовать себя «рисалинцами». Поклонение Рисалю не знает пределов. Его идеи пытаются использовать правые круги, его взгляды нередко извращаются. Но для прогрессивно мыслящих филиппинцев, для прогрессивных сил мира он остается великим писателем, ученым, гуманистом, входящим в плеяду лучших сынов человечества.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОСЕ РИСАЛЯ

- 1861, 19 июня — В г. Каламбе родился Хосе Рисаль.
- 1869 — Пишет первое стихотворение «Моим сверстникам».
- 1872, июнь — Поступает в колледж иезуитов Атенео де Манила. 1877, лето — Поступает в университет святого Фомы.
- 1879 — Получает первый приз за стихотворение «К Филиппинской молодежи».
- 1882, 3 мая — Отправляется в Испанию.
- 20 августа — В газете «Диафионг Тагалог» публикуется первая статья Рисаля «Любовь к родине».
- Сентябрь — Поступает в Центральный университет в Мадриде.
- 1884, 25 июня — Произносит речь в честь филиппинских художников.
- Лето — заканчивает учебу в университете.
- 1885, октябрь — Выезжает в Париж.
- 1886, февраль — Переезжает в Германию.
- Апрель — Пишет стихотворение «Цветам Гейдельберга».
- 1887, март — В Берлине опубликован роман «Не прикасайся ко мне».
- 15 мая — Встречается с Блюментриттом в Лейтмерице.
- 5 августа — Возвращается на Филиппины.
- 1888, 3 февраля — Спешно покидает Филиппины.
- Март — апрель — Пребывание в Японии.
- 25 мая — Поселяется в Лондоне.
- 1889, 15 февраля — Выходит первый номер газеты «Ла Солидаридад».
- Март — Переезжает в Париж.
- Лето — Выходит в свет комментированное издание труда Морги.
- 1890, август — Переезжает в Мадрид.
- 31 декабря — Раскол в руководстве «Ла Солидаридад».
- 1891, июль — В Генте (Бельгия) выходит роман «Флибустьеры». Лето — Карательная экспедиция в Каламбу.
- 19 ноября — Прибывает в Гонконг.
- 1892, март — Поездка в Сандакан.
- 26 июня — Возвращается в Манилу.

7 июля — Ссылается в Дапитан на остров Минданао.
1896, 6 августа — Заключается под стражу на крейсере «Кастилия».
23 августа — Начало антииспанской революции на Филиппинах.
2 сентября — Отплывает в Испанию.
6 октября — Депортируется на Филиппины.
3 ноября — Заключается под стражу в форте Сантьяго.
20 ноября — Начинается следствие по делу Рисаля.
26 декабря — Суд выносит смертный приговор.
29 декабря — Пишет стихотворение «Последнее прощай».
30 декабря — Расстрелян на Багумбаянском поле в Маниле.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Памятник Лапу-Лапу на острове Мактан.



Донья Теодора Алонсо Реалондо.



Дон Франсиско Меркадо Рисаль.



Дом Рисалей в Каламбе.



Хосе Рисалю 13 лет.



Олимпия, сестра Рисаля.



Сатурнина, сестра Рисаля.



Автопортрет 15-летнего Рисаля.



Манильский Атенео (коллегия иезуитов).



Леонор Ривера

(рисунок карандашом Рисаля).



Рисаль в форме ученика Атенео.



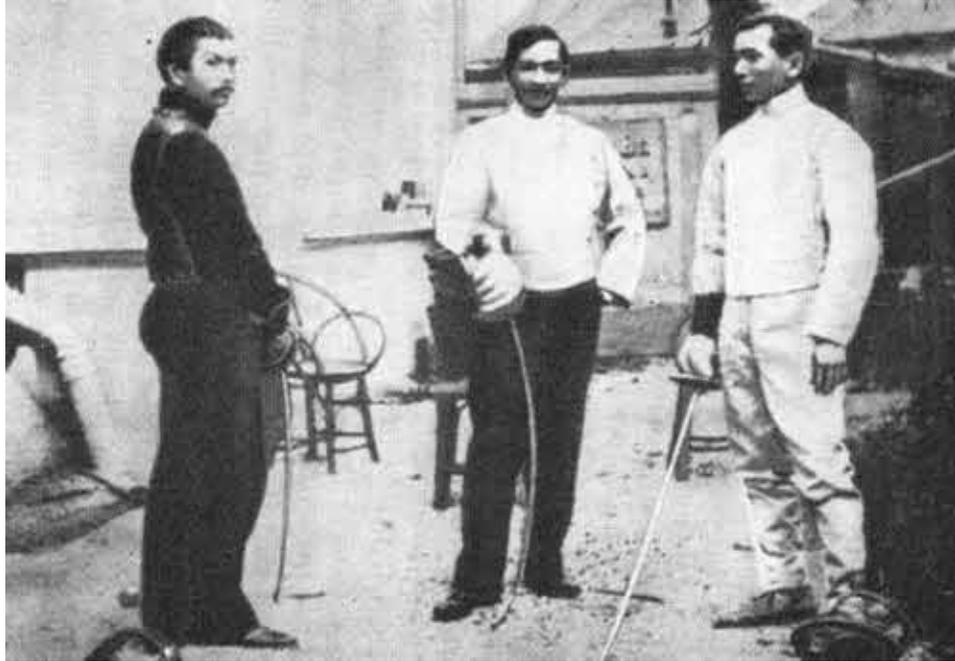
Хуан Луна.



Хосе Рисаль (в центре, сидит) в семье Хуана Луны.



Рисаль по приезде в Мадрид.



Хуан Луна, Хосе Рисаль и Валентин Вентура в студии Луны.



Автопортрет Рисаля, посланный им Фердинанду Блюментритту.



Обложка романа «Злокачественная опухоль».



«Победа науки над смертью». Статуэтка работы Рисаля.



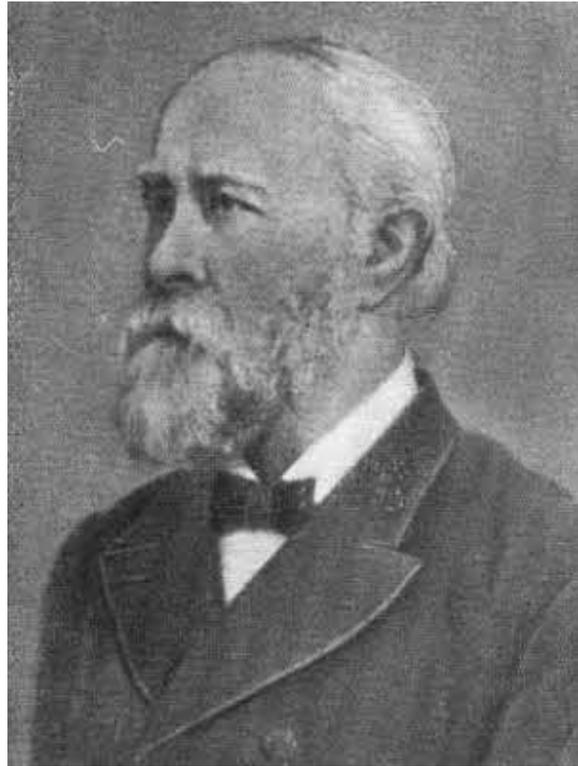
«Прикованный Прометей». Скульптурная работа Рисаля.



Фердинанд Блюментритт.



Хосе Рисаль, Марсело дель Пилар и Мариано Понсе.



Рейнольд Рост.



Хосе Рисаль (второй справа) на Всемирной парижской выставке 1889 г.



Хосефина Бракен.



«Восьмиугольный» дом Рисаля в Дапитане.



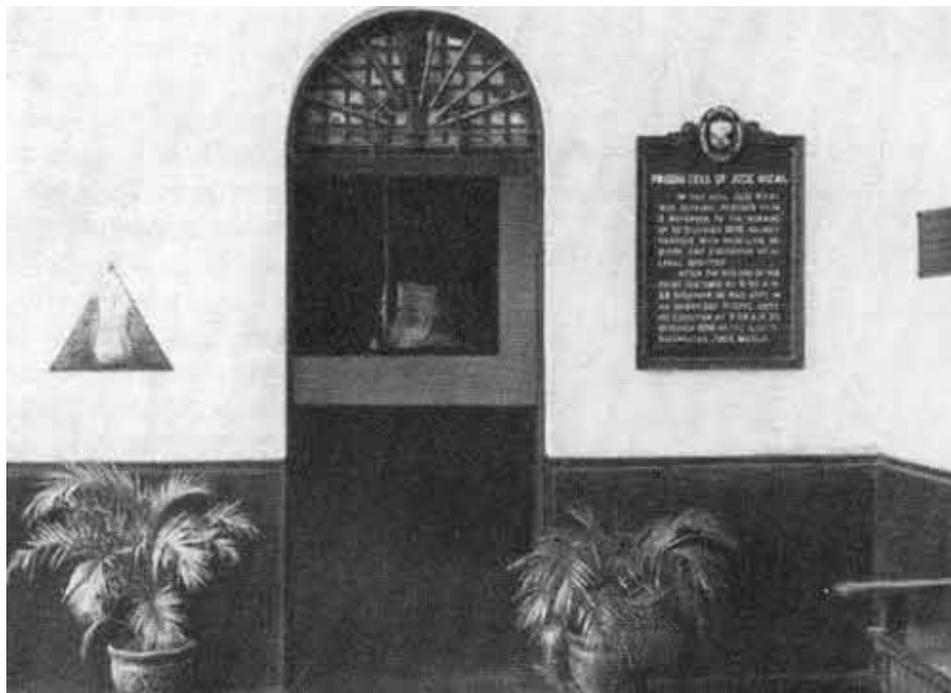
Андрес Бонифасио.

Constante repitiendo la escusa de mi fe.
Mi patria dolida, dolor de mis dolores.
Quiero Filipinas, ay el pobre adios.
Adios dego todo, mis padres, mis amores.
Voy donde no hay esclavos, verdugo ni opresion,
Donde la fe no mata, donde el que reyna es Dios.
Adios, padres y hermanos tiernos del alma mia
Amigos de la infancia en el perdido hogar,
Dad gracias que descanso del fatigoso dia.
Adios dulce infancia, mi amigo, mi alegria,
Adios, queridos seres morir es descansar

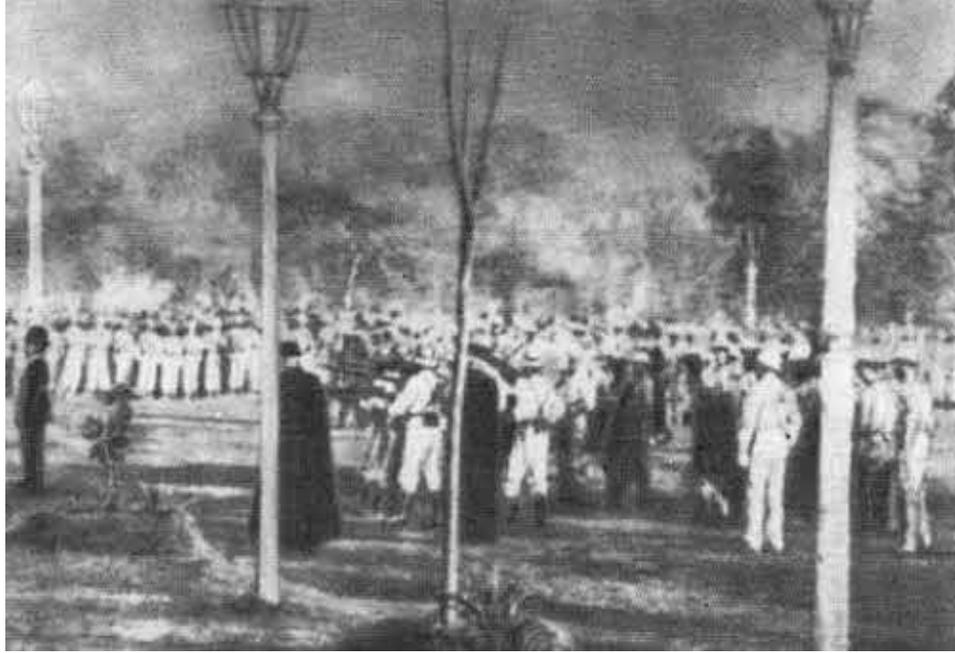
Автограф последней строфы «Последнего прощай».



Спиртовка, в которой Рисаль спрятал стихотворение «Последнее прощай».



Вход в камеру, где содержался Хосе Рисаль накануне казни.



Казнь Хосе Рисаля.



Хосе Рисаль



Памятник Хосе Рисалю в Маниле.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Произведения Хосе Рисаля

Рисаль Х. Избранное. М., Издательство восточной литературы, 1961.

Рисаль Х. Не прикасайся ко мне. М., «Художественная литература», 1963.

Рисаль Х. Флибустьеры. М., «Художественная литература», 1965.

Современная филиппинская поэзия. «Прогресс», 1974. Бамбуковая флейта. М., «Наука», 1977.

Литература о Хосе Рисале

Губер А., Рыковская О. Хосе Рисаль. М., 1937.

Alip E. M. Jose Rizal, the Educator. Manila, 1957.

Coates A. Rizal. Philippine Nationalist and Martyr. Oх., 1969.

Gagelonia P. Rizal's Moments of Truth. Mandaluyong, 1973.

Guerrero L. M. The First Filipino. Manila, 1974.

Jose Rizal on his Centenary. Quezon City, 1963.

Laubach F. Rizal: Man and Martyr. Manila, 1936.

Ocampo E. A. Rizal's Socio — Political Concepts. Manila, 1961.

Orosa S. Jose Rizal. Manila, 1958.

Quirino C. The Great Malayan Manila, 1958.

Rizal in Retrospect. Manila, 1961.

Rodriguez B. A. Rizal ante Historia Madrid, 1955

Yabes L. Y. Jose Rizal: Sage, Teacher and Benefactor of Humanity, Quezon City, 1961.

INFO

Подберезский И. В.
П44 Хосе Рисаль. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 319 с., ил. —
(Жизнь замечет, людей. Сер. биогр. Вып. 3 (654)).

В пер.: 1 р. 40 к. 150 000 экз.

П 4702010200—113/078(02)—85 152-85

ББК 63.3(5Ф)
9(М)32

ИБ № 4330

Игорь Витальевич Подберезский
ХОСЕ РИСАЛЬ

Редактор *Г. Сальникова*
Серийная обложка *Ю. Арндта*
Художественный редактор *А. Степанова*
Технический редактор *Г. Варыханова*
Корректоры *И. Тарасова, В. Авдеева, В. Назарова*

Сдано в набор 22.11.84. Подписано в печать 13.03.85.
А00686. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л.
16,84+0.94 вкл. Усл. кр. — отг. 19, 73. Уч. — изд. л. 19,0. Тираж
150 000 экз. (1-й завод 75 000 экз.). Цена 1 р. 40 к. Заказ 1652.

Типография ордена Трудового Красного Знамени
издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства
и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцевская. 21.

Примечания

1

Маркс К, Энгельс Ф. Собр, соч., т. 10, изд. 2-е, с. 431.

Все стихотворные переводы принадлежат П. Грушко, кроме тех, что на стр. (25) Г. Плисецкому, (91) М. Самаеву, (41) Г. Ярославцеву.

В отличие от испанских колоний в Латинской Америке, где население перешло на испанский язык, филиппинцы так и не усвоили языка колонизаторов. Монахи всячески препятствовали изучению испанского языка «индейцами», опасаясь, что знание языка метрополии приведет к появлению крамолы, а кроме того, позволит светским властям общаться с туземцами без их посредничества и сделает их ненужными. Филиппинские прогрессивные деятели, напротив, неизменно выдвигали требование распространения испанского языка.

Филиппинцы считают, что лучше всего родиться «посередине». иметь старших и младших братьев и сестер, ибо это гарантирует нормальное, с их точки зрения, становление личности. И сейчас еще, когда филиппинцы рассказывают или пишут свою биографию, они непременно указывают, каким по счету ребенком был в семье. Считается, что хуже всего приходится первому и последнему. Первый не получает полную меру любви и заботы, ибо у него нет старших братьев и сестер, но зато сам мог проявить их, и у него обостренное чувство ответственности. Последний, напротив, получил все это с избытком, зато сам не имел возможности проявить любовь и заботу, поэтому филиппинцы склонны считать самого младшего избалованным и даже эгоистичным.

Филиппинские языки даже не различают такие пары понятий, как «муж» и «жена», «сын» и «дочь», «брат» и «сестра», — они обозначаются одним словом, то есть для носителя филиппинской культуры главное степень родства, а не пол.

Франсиско де Паула Санчес, которому и позднее пришлось сыграть важную роль в жизни Рисаля, на тридцать лет пережил любимого ученика. До конца своих дней он оставался преподавателем и часто корил нерадивых учеников, ставя им в пример Рисаля: «Тебе далеко до Пепито».

Уже много лет спустя после смерти обоих братьев о существовании такого соглашения расскажет Нарсиса Лопес-Рисаль, любимая сестра Хосе, разделявшая убеждения братьев. Она поведала своей внучке, что братья якобы договорились: только один из них (Хосе) может жениться, а другой (Пасиано) должен целиком посвятить себя заботам о родителях.

«Братство девы Марии», куда входили лучшие ученики и выпускники Аteneo.

Академик В. В. Виноградов отмечает сходное различие в языке Пушкина слов «отечество» (в смысле «большая родина») и «родина» (в смысле «малая родина»). Совершенно парадоксально воспринимали соотношение Филиппин и Испании азиатские соседи Филиппин. По свидетельству такого авторитета, как Сунь Ятсен, китайские эмигранты называли Испанию словом «Лусон». На деле же Лусон — это один из островов архипелага Южных морей. Он наиболее близок к Китаю, и название его хорошо было известно китайцам, поскольку китайские мореплаватели постоянно посещали этот остров. Когда Лусон был захвачен испанцами, приезжавшие туда китайцы стали и их называть лусонцами... Когда же китайцы узнали, что у этих «лусонцев» есть родина, с которой они все прибыли, они стали именовать Испанию «Большим Лусоном», а остров — «Малым Лусоном».

Этот идеал сказался на филиппинской литературе, особенно на любовной лирике, в том числе и на лирике самого Рисаля. В конечном счете он восходит к испанскому варианту куртуазной рыцарской любви, культу служения даме, очищения возлюбленного страданием. Испанский вариант этого культа отличается — по сравнению, скажем, с провансальской поэзией — большей целомудренностью: если в провансальской поэзии достижению цели обычно мешает муж или другой любовник, то в испанской — родители возлюбленной, разница в статусах, обет уйти в монастырь и т. п. Отметим, что в реальной жизни любовные коллизии филиппинцев переживаются и разрешаются далеко не так, как это описывается в их любовной лирике. Идеал служения даме, ее культ проникли в филиппинскую литературу, но там и остались, в жизненную установку они не превратились, во всяком случае, в среде простого народа.

Тем же шифром сделана надпись на фотографии, посланной Леонор Рисалю в 1883 году. Открытым текстом написано: «Хосе от его преданной кузины», а шифром: «Моему незабвенному и самому дорогому возлюбленному от верной Леонор». Это единственное документальное свидетельство пылкости чувств Леонор.

Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 10, изд. 2-е, с. 433.

Табачная монополия была введена в 1782 году. Крестьянам ряда провинций вменялось в обязанность выращивать определенное количество табака и сдавать его властям по низким ценам. Продавая потом табак на мировом рынке по высоким ценам, казна получала немалый доход, на который содержалась колониальная администрация, а остаток сумм оседал в казначействе. Для экономики Филиппин последствия табачной монополии были катастрофическими: крестьянство разорялось, хронически ощущалась нехватка товарного риса, что приводило к голоду, широко процветали коррупция и взяточничество.

Рисалеведов не случайно привлекают параллели в их биографиях: оба были учениками иезуитов, оба стали яркими врагами церкви, обоим пришлось перенести побои (Вольтеру — от кавалера де Рогана, Рисалю — от лейтенанта гражданской гвардии), иезуиты утверждали, что оба перед смертью «отреклись от заблуждений».

15

За внешние проявления (*латин.*).

Саму по себе (*латин.*).

Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 1, с. 421.

Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 3, с. 473.

Карл Ульмер, на которого Рисаль произвел глубокое впечатление, собрал все вещи, оставленные гостем, — его письма, наброски, рисунки карандашом (в том числе портреты самого Карла Ульмера и его сына Фрица), даже пуговицы, — и завещал своим потомкам хранить их. Его внуки передали эти реликвии Филиппинской республике. В 1961 году, к столетию со дня рождения Рисаля, жители Вильгельмсфельда передали жителям Манилы фонтан, у которого часто сидел Рисаль, — ныне он установлен в парке Хосе Рисаля в Маниле.

Ныне город *Литомержице* в ЧССР. В городском музее имеются два стенда, посвященные *Рисалю* и *Блюментритту*.

Так филиппинцы, которых в Европе многие принимали за китайцев, в шутку называли себя.

В русском издании название переведено «Не прикасайся ко мне». Слова эти взяты из Евангелия от Иоанна — их сказал воскресший Христос Марии Магдалине: «Не прикасайся ко мне. ибо я еще не вошел к отцу моему». Однако они имеют и другую интерпретацию. Дело в том, что в медицине XIX века так обозначались любые злокачественные опухоли, причем это значение сохранилось и до сих пор. Совершенно очевидно, что Рисаль сознательно назвал роман «Злокачественная опухоль», каковой на Филиппинах являлись монашеские ордены. Вспомним, что к началу работы над романом Рисаль, будучи студентом-медиком, курировал палату больных раком и взял название из собственной медицинской практики. Не случайно все инсценировки романа Рисаля называются «Рак».

В 1905 году Андраде так напишет о своем бывшем поднадзорном: «Рисаль был человек утонченный, хорошо образованный, настоящий кабальеро. Он любил охоту, спорт, живопись, экскурсии, и хотя нашим отношениям не хватало интимности, между нами установилась настоящая дружба».

Надо сказать, что мелкие арендаторы платили принципалии часть урожая тоже без всяких расписок, так что и здесь возможны были и действительно практиковались злоупотребления. Но в целом между простыми крестьянами и принципалией господствовали патриархальные отношения взаимного доверия, и крестьяне пока не понимали эксплуататорской сущности этой прослойки.

По данным японских рисалеведов, в 30-х годах была предпринята попытка отыскать «Мадам Баттерфляй» Рисаля. Газета «Майнити Симбун» опубликовала приведенный выше отрывок из дневника Рисаля и обратилась к читателям с просьбой сообщить данные о Сеи-ко. Газета утверждает, что ей удалось установить личность О-сэй-сан Рисаля, которая заявила: «Я хочу, чтобы меня оставили в покое, и не желаю давать интервью». Соответствует ли это действительности, сказать трудно.

В этой связи можно упомянуть его исследование о Тавалиси — стране, управлявшейся королевой амазонок Урдухой, о которой писал арабский путешественник Ибн Баттута. в 1347 году посетивший Китай. Рисаль возводит топоним Тавалиси к Лусону, что неоправданно, и считает королеву амазонок филиппинкой. Против этого говорит многое: и то, что до прихода испанцев на Лусоне не было лошадей, и то, что само имя Урдуха не филиппинское, и то, что в Тавалиси в описании Ибн Баттуты никак не упоминает Лусон. Скорее всего Ибн Баттута посетил королевство Чампа в Индокитае — таково мнение современных исследователей. Но поскольку на Филиппинах действует правило: *Rizal dixit ergo ita est* — «Рисаль сказал, следовательно, так оно и есть», существование легендарной Урдухи не подвергается ни малейшему сомнению. Урдуха — популярное женское имя, распространенная торговая марка, есть опера «Урдуха», бесчисленное множество картин, изображающих могучую правительницу, и, наконец, в городе Аламинос провинции Пангасинан (где Рисаль помещает Тавалиси) воздвигнут монумент в честь этой никогда не существовавшей героини филиппинской истории. Все это — свидетельство любви и уважения, которым пользуется имя Рисаля, и перед ним бессильны все научные доводы.

К чести Венсеслао Ретаны (1862–1924) надо сказать, что он, выступавший вначале как реакционер-клерикал, нашел в себе мужество пересмотреть собственные взгляды после поражения Испании в войне с США в 1898 году. Порвав с церковниками, Ретана обратился к изучению биографии Рисаля. Он опубликовал многие документы, освещающие жизнь филиппинского национального героя, а в 1907 году издал монументальный труд «Жизнь и творчество Рисаля». Это одна из лучших биографий Рисаля — Ретана опирался на собственные воспоминания, опрашивал друзей и сподвижников Рисаля. Книга эта не утратила своей ценности и поныне, хотя Ретана возлагает всю вину за гибель Рисаля на монахов, обеляя колониальные власти.

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178.

Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 18, с. 461.

Названию второго романа Рисаля (как и названию первого) не повезло при переводе на русский язык. El Filibusterismo переведено как «флибустьеры», что по-русски прежде всего значит «морские разбойники», «пираты». Однако на Филиппинах, как точно указал сам Рисаль, словом «флибустьер» обозначали патриота, которому грозит расправа властей. Такое же определение дано и в самом романе. Говоря об одном из героев, Рисаль пишет: «В родном городке восхищались его способностями, и тамошний священник, встревоженный такой славой, уже величал его «флибустьером» — верный признак того, что юноша не был ни глупцом, ни тупицей».

В посвящении «трем мученикам» Рисаль неверно указывает и возраст казненных: он считает, что Бургос был казнен в 30 лет, а Самора — в 35, тогда как на деле Бургосу было 35 лет, а Саморе — 37. Забегая вперед, отметим, что Рисаля, как и Бургоса, казнят в 35 лет — еще одно подтверждение его «пророческого дара».

В Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР хранится архив М. М. Березовского, есть черновик письма, на обороте которого карандашом написано: «Jose Rizal», что позволяет абсолютно точно идентифицировать личность русского попутчика Рисаля. Если эта запись сделана рукой Рисаля, мы можем констатировать наличие первого известного автографа Рисаля, хранящегося в СССР. Учитывая, что М. М. Березовский был страстным фотографом и, как пишет Рисаль, часто при нем делал снимки, не исключено, что он мог сфотографировать и Рисаля, и что существуют неизвестные в рисалевской иконографии снимки филиппинского национального героя. В архиве Березовского фотографий поразительно мало, возможно, будущие разыскания окажутся не бесплодными.

В эти же годы (1887–1892) в медицинском колледже Гонконга учился Сунь Ятсен, получивший, как и Рисаль, диплом лиценциата. Предположения о том, что они встречались в Гонконге, высказывались неоднократно. В подтверждение этого взгляда приводился тот довод, что Маркеш читал курс судебной медицины в колледже, где учился Сунь Ятсен. Однако прямых доказательств их знакомства нет, а потому предположение это не выходит за рамки недоказанной гипотезы.

В истории Филиппин долгое время считалось, что это событие произошло 24 августа 1896 года в Балинтаваке, и призыв Бонифасио известен как «клич Балинтавака».

Лосано 2 сентября 1896 года дал показания против Рисаля, заявив, что «Рисаль — глава Катипунана», что его цель — «перерезать всех испанцев», что Рисаль «после смерти всех испанцев хотел установить свой штаб в столице». Вряд ли Рисаль знал его.

Переплетчик Агедо дель Росарио дал следующие показания: «Рисаль — почетный председатель Катипунана. Его портрет висит в зале Высшего Совета. Пио Валенсуэла сообщил Рисалю, что народ требует вооруженного восстания...» «Подследственный, гласит приписка на полях показаний (то есть Агедо), был назначен министром внутренних дел будущей республики».

Доказательство ложности этого сообщения обнаружил в 1964 году английский писатель Коутс. В гонконгских архивах он разыскал запись о браке Хосефины с филиппинцем Висенте Абадом от 1898 года. Хосефина там названа «Хосефина Бракен, дочь Джеймса Бракена». Будь она вдовой Рисаля, запись гласила бы: «Хосефина Рисаль, урожденная Бракен». И Хосефина, и ее муж были католиками, так что тут отклонений от церковной формулы и сокрытия брака быть не могло.

Что было в башмаках Рисаля, мы уже никогда не узнаем: когда эксгумировали его тело, оно настолько разложилось, что ничего обнаружить не удалось.